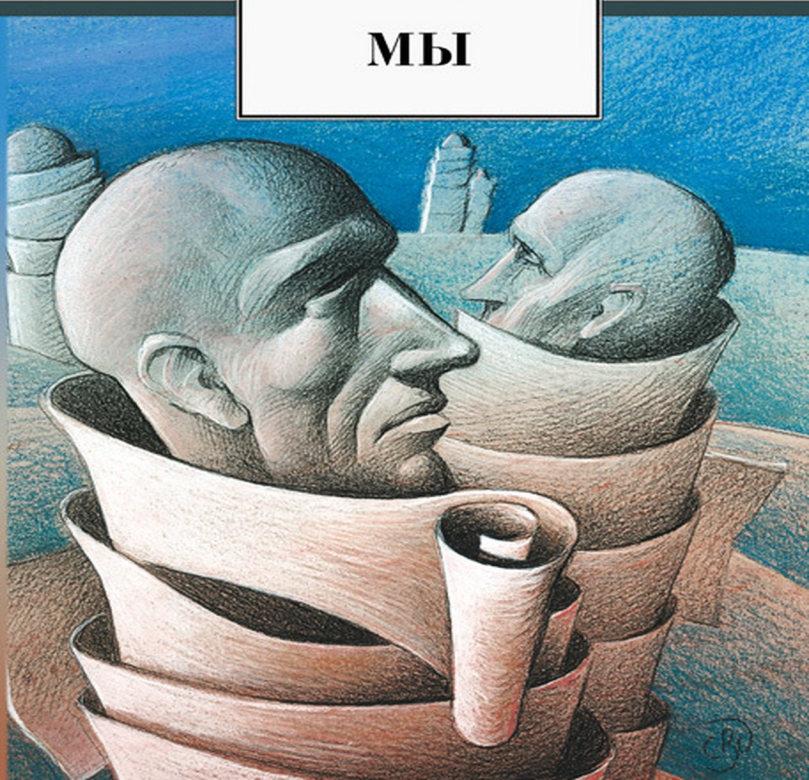
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

Евгений Замятин

МЫ



Мы (сборник)
Евгений Иванович Замятин

Аннотация
Евгений Иванович Замятин. Мы. Роман, повести, рассказы
Мифотворчество Евгения Замятина
Автобиография
Мы. Роман
Уездное. Повесть
Островитяне. Повесть
Рассказы
- Ловец человеков
- Дракон
- Мамай
- Пещера
- Русь
- Рассказ о самом главном

Аннотация

В книгу замечательного русского писателя Евгения Замятина вошли всемирно известный роман «Мы», повесть «Уездное», «английские» произведения «Островитяне» и «Ловец человеков», а также избранные рассказы.

Для старшего школьного возраста.

Евгений Иванович Замятин
Мы
Роман, повести, рассказы





1884–1937

Мифотворчество Евгения Замятина

Большинством современных читателей Е. Замятин воспринимается, пожалуй, как автор одного произведения — романа «Мы». Действительно, для самого писателя роман явился итогом многолетних художественных поисков, экспериментов, самым выстраданным и потому самым дорогим творением. Однако замятинское наследие настолько разнообразно по тематике, стилю, языку, что видеть в писателе исключительно автора знаменитой антиутопии было бы непростительным упрощением. В произведениях Замятина встретились и причудливым образом соединились традиции русской и европейской литературы, достижения искусства и науки. Творческая мысль писателя, кажется, питается противоречиями, подобно электрическому разряду, пробегающему между противоположно заряженными полюсами.

Писатель, заявивший о себе как о продолжателе традиций Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, тем не менее настойчиво призывал

своих коллег обратить взоры на Запад, научиться у европейских писателей строить динамичный, занимательный сюжет.

Математик и кораблестроитель по образованию, Е. Замятин пытается в своих теоретических работах выявить и обосновать законы, а может быть, даже вывести некую формулу современного искусства. «Математический» подход к искусству, безусловно, давал о себе знать не только в его литературоведческих, но и собственно литературных произведениях, в которых современники обнаруживали подчас излишнюю рассудочность, «выстроенность». Основания для подобных упреков, конечно, были. Замятин и своим творчеством, и самой манерой поведения поддерживал свою репутацию человека сдержанного, несколько педантичного. Не случайно А. Блок назвал Замятина московским англичанином, и это прозвище крепко срослось с писателем. Замятин великолепно владел английским, увлекался английской литературой, был горячим поклонником творчества Уэллса, кроме того, он некоторое время жил и работал в Англии. Однако вот что интересно: находясь в Англии, Замятин пишет о России, а по возвращении на родину создает произведения, в которых пытает-

ся обобщить свой зарубежный опыт. Более того, и в конце своей жизни, находясь в эмиграции, во Франции, он свои произведения пишет в основном на русском языке, оставаясь для европейцев русским, даже «слишком» русским писателем.

Может возникнуть ощущение, что Замятину доставляет удовольствие постоянно обманывать читательские ожидания, разрушая некие стереотипные представления о себе. Дело, думается, в другом. Замятин, как он признается в своей автобиографии, с детства привык идти по пути наибольшего сопротивления, ставить эксперименты над собой, действовать вопреки обстоятельствам.

Замятин — еретик и бунтарь, революционер по своей натуре, поэтому он борется с любыми проявлениями косности — и в общественной жизни, и в политике, и в науке, и в искусстве. Так, он сражается с самодержавием, пока оно прочно удерживает свои позиции, и вступает в другое сражение — с зарождающимся на его глазах советским строем. В двадцатые — тридцатые годы прошлого века, будучи для представителей советской литературной общественности ярым антисоветчиком, он воспринимается русской эмиграцией как последовательный марксист.

Для самого писателя в этом нет никакого противоречия: он признается, что навсегда отдал себя борьбе с консерватизмом, или, в терминах самого писателя, энтропией, где бы он ни столкнулся с ее проявлениями — в царской ли России, в Англии, в молодом ли Советском государстве. В своем письме Сталину Замятин называет себя «неудобным» писателем, понимая, что его идеи идут вразрез с господствующей идеологией.

«Неудобным» для власти Замятин оказался не только при жизни, но и на долгие годы после смерти, поскольку его творчество, и особенно роман «Мы», с течением времени не только не теряло, но и приобретало все большую актуальность — по мере того как сбывались самые мрачные пророчества писателя. Лишь в конце восьмидесятых годов XX века имя и творчество Замятина, хорошо известные на Западе, вернулись наконец в русскую литературу. Возвращение писателя состоялось в то время, когда отечественного читателя интересовали не столько художественные достоинства замятинской прозы, сколько ее идеологическая подоплека. Сейчас, освободившись от стереотипов и клише, мы видим в Замятине именно художника, непревзойденного мастера слова, блестящего стилиста, умеющего соединить

яркую образность с ясностью и «прозрачностью» текста, — поистине классика отечественной литературы, писателя с интересной и сложной судьбой.

Евгений Иванович Замятин родился в 1884 году в Лебедяни, маленьком городке недалеко от Тамбова, и первые восемнадцать лет своей жизни провел в русской провинции, том крае, о котором, по словам самого Замятина, писали Толстой и Тургенев. Любовь и восхищение родной природой, «крепчайшим русским языком Лебедяни», конскими ярмарками уживается в нем с критическим отношением к отсталой, косной, неподвижной российской глубинке. В первом крупном произведении Замятина — повести «Уездное» (1913) — изображена именно такая российская глубинка, некое неподвижное «темное царство». Эта повесть принесла Замятину известность и заставила говорить о нем как о крупном мастере слова. Его герой со странным именем Барыба стал воплощением бездуховности, алчности и животных инстинктов. Тема российской глубинки звучит и в других произведениях писателя — повестях «Алатырь», «На куличках», а также в так называемой малой прозе писателя — рассказах «Непутевый», «Чрево», «Старшина»,

«Кряжи» и других. Позже Замятин покинет провинциальную Русь, не только в жизни, но и в своем творчестве осваивая вместе со своими героями новые пространства — Петербург, Лондон, Джесмонд. Однако на новом витке своего литературного пути писатель вернется в эту знакомую ему с детства настоящую Русь — именно Русь, а не Россию, — с тем чтобы увидеть ее по-новому.

К моменту вступления в большую литературу Замятин имел за плечами значительный жизненный опыт. Получив по окончании Петербургского политехнического института профессию инженера-кораблестроителя, он преподает на кафедре корабельной архитектуры, помещает свои работы в специальных технических журналах. Много позже, в одном из интервью, он так оценит свои достижения: «Шесть томов прозы, шесть пьес и шесть ледоколов», а свою профессию определит как «еретичество». До 1917 года быть еретиком значило быть на стороне большевиков, и Замятин еще студентом участвовал в политических демонстрациях, в 1905 году проводил агитацию среди рабочих на Выборгской стороне. Он неоднократно находился под арестом, его высылали из Петербурга на родину, в Лебедянь. Не менее насыщенной была и творческая жизнь Замятина.

Он сблизился с литературной группой «Заветы», в которую входили А. М. Ремизов, М. М. Пришвин и другие известные писатели.

В 1916 году Замятин отправляется в Англию, где работает по специальности, — на судоверфях Глазго, Нью-Кастла, Саус-Шилдса он участвует в строительстве первых русских ледоколов. Англия поразила Замятина своей технической мощью, и все же, как это ни парадоксально, увиденная писателем страна чем-то неуловимо напоминала русскую провинцию. Сходство это проявлялось в боязни движения, свободы, стихии или, в терминах Замятина, в отсутствии «энергии». По сути, замятинская российская глубинка и замятинская Англия — это разные воплощения одного явления — неподвижности, энтропии, в конечном счете — смерти. Итогом пребывания Замятина в Англии стали его «английские» произведения — повесть «Островитяне» (1917) и рассказ «Ловец человеков» (1918). На смену живущему инстинктами русскому Барыбе пришел английский человек-автомат, человек-робот — это и мистер Дьюли, одержимый идеей принудительного спасения своих сограждан, и мистер Краггс, ханжески рассуждающий о добродетели и наживающийся на человеческих «пороках».

«Еретик» Замятин так же, как до этого отвергал в «Уездном» растительную жизнь, теперь обличает механизированную, бессмысленную жизнь так называемого цивилизованного человека. Подобно Гоголю, в свое время сопоставившему Коробочку со столичной дамой и сумевшему увидеть в крупном сановнике человека-кулака Собакевича, Замятин выявляет сходные черты в характерах внешне непохожих друг на друга людей. Свое внутреннее родство с Гоголем Замятин ощущал на протяжении всей своей жизни. Как и его великий предшественник, Замятин переезжает из подарившей ему индивидуальную манеру письма провинции в Петербург. Сказовую манеру письма, ориентированную на воссоздание языковых особенностей жителей провинциальной Руси, сменит иной стиль — своеобразная поэтическая, или орнаментальная, проза, как в свое время пасичник Рудый Панько из «Повестей на хуторе близ Диканьки» уступил место самому автору с его романтически приподнятой речью. Кроме того, следует отметить, что и у Гоголя, и у Замятина сказ и «поэтическая» проза тесно взаимодействуют между собой.

В своей ориентации на гоголевскую традицию Замятин не был одинок. Так, В. Катаев в свое-

образных художественных мемуарах — книге «Алмазный мой венец» — вспоминает, сколь популярной в 1920-е годы была идея гофманиады, или гротескного реализма, традиции, идущей в России от Гоголя, сумевшего в свое время перенести завоевания позднего немецкого романтизма, и прежде всего Э. Т. А. Гофмана, на русскую почву. Гоголевское начало без труда прочитывается в произведениях Булгакова, Ильфа и Петрова и многих других. Однако, пожалуй, именно Замятин довел до логического предела многие приемы классика XIX века. В произведениях Замятина гоголевские приемы — гипербола, алогизм, развернутая метафора, а также метонимический перенос, основанный на замещении человека деталью одежды или вещью, — выступают подчас нарочито, а по мнению многих современников писателя, едва ли не навязчиво.

Гоголевская манера письма в полной мере проявилась в «английских» произведениях Замятина. Герой рассказа «Ловец человеков» мистер Краггс — любитель крабов — сам напоминает краба, о чем свидетельствуют не только его «говорящая» фамилия, но и ряд портретных деталей, в частности его руки-клешни. Однако в то время, когда он преследует и шантажирует влюбленные

парочки, он уже похож, скорее, на крысу. А направляющийся в церковь, важно шествующий мистер Краггс превращается в некий чугунный монумент. Миссис Фиц-Джеральд, заботливая мать с выводком похожих друг на друга детей, напоминает индюшку. Конечно, подобный прием уподобления человека животному или вещи заставляет вспомнить гоголевскую галерею помещиков: Ноздрева с его псарней и с его шарманкой — символом непрестанного вранья, Манилова с его трубкой и горками золы, расставленными красивыми рядками на окне, Коробочку, попчьи хлопотливую, прячущую по мешочкам полтиннички и целковички. У Замятина, как и у Гоголя, сквозные, или, в терминах Замятина, «интегральные» образы-метафоры, «прошивающие» текст произведения, становятся важнейшим средством выражения авторской позиции.

К Гоголю, очевидно, восходит и замятинская «живопись» — своеобразная импрессионистская манера, основанная на использовании цветовой символики или цветовых определителей как персонажей, так и тем, мотивов. Пристрастие к цветописи свойственно многим писателям и поэтам XX века, однако, по мнению символиста Андрея Белого, лишь избранные владеют

«цветным» зрением, обостренным восприятием всех красок и оттенков жизни. Подобным талантом, как полагает Белый, из писателей XIX века обладали Гоголь и Толстой. Для Замятина цветовая символика — не частный прием, но подчас едва ли не основной «проводник» авторской идеи и даже средство прояснения конфликта. В романе «Мы» столкновение рационального и иррационального начал бытия подается как противостояние цветов — синего и желтого. В «английском» цикле персонаж часто подается как своеобразный сгусток, вспышка того или иного цвета: с некой леди-яблоко ассоциируется малиновый, с миссис Лори — нежно-розовый, с Диди из «Островитян» — сочетание розового и черного.

«Английские» произведения Замятина не стоят особняком в его творчестве, а позволяют «перекинуть мостик» к более поздним, так называемым петербургским рассказам и роману «Мы». Так в «Островитянах» и «Ловце человеков» явственно проступает скелет будущего романа, в котором отдельные места из дневника героя звучат как цитаты из рассуждений мистера Дьюли, мечтающего о машиноподобном человеке и обществе, живущем по законам машины. По сути, Единое

Государство, изображенное в романе, есть воплощенная мечта героя «Островитян». Люди стали машиноравными, и идеи регламентации, порядка восторжествовали. Даже любовь в этом мире оказалось прирученной, втиснутой в некое расписание. Однако истинная страсть не подчиняется никаким законам — и вспыхивает бунт. Тема бунта взаимодействует с темой любви в большинстве произведений писателя. В «Островитянах» показан бунт Кембла, в «Мы» — инженера Д-503. И в том, и в другом случае события описываются с точки зрения «правоверного» гражданина, который неожиданно перестал следовать принятым в обществе нормам, изменил своей привычной манере поведения. И Кембл, и Д-503, влюбившись, теряют рассудок, перестают управлять собственной судьбой. Заостряя тему неконтролируемой страсти, Замятин использует метафорический образ человека, потерявшего управление над кораблем. Так, Д-503 задается вопросом: «Что со мной? Я потерял руль. Мотор гудит вовсю, аэро дрожит и мчится, но руля нет, — и я не знаю, куда мчусь: вниз — и сейчас об земь, или вверх — и в солнце, в огонь…» А у Кембла, преодолевшего первую вспышку любовной страсти, по словам автора, «руль опять в руках, и он твердо правит к

маленькому домику с электрическим утюгом».

С темой любви-стихии соотнесены и метафорические образы огня, прожигающего оболочку холодной рассудочности, и прорвавшейся плотины. Следует отметить, что сам по себе образ стихии как воплощения иррациональных начал бытия является типично русским и со времен «Капитанской дочки» А. С. Пушкина связан с темами бунта, мятежа, смуты. Однако Замятин привносит нечто новое в понимание этой поистине философской категории, проводя параллель не только между природными и социальными явлениями, но и между макро– и микрокосмом — Вселенной и человеком. Именно поэтому в произведениях писателя бунт и любовь всегда рядом, и не случайно бунт и любовь составляют нерасторжимое единство в романах последователей Замятина — Дж. Оруэлла и О. Хаксли.

В 1917 году Евгений Замятин возвращается в Петербург. Он — уже признанный мастер слова — выступает с лекциями для начинающих писателей в литературной студии Дома искусств, читает курс новейшей литературы в Педагогическом институте им. Герцена. В это время он сближается с Максимом Горьким, работает в правлении Союза деятелей художественной

литературы, в правлении Всероссийского Союза писателей, в комитете Дома литераторов. Вместе с Горьким и другими известными писателями он замышляет грандиозный проект: познакомить нового читателя, советского человека, со всеми знаменитыми произведениями «всех времен и народов». Во время работы в редколлегии издательства «Всемирная литература» он пишет статьи, посвященные творчеству одного из самых своих любимых писателей — Герберта Уэллса, произведения которого, безусловно, оказали влияние на роман «Мы».

Жизнь первых послереволюционных лет отразилась в «петербургских» рассказах «Дракон» (1918), «Пещера» (1920), «Мамай» (1920), в которых Замятин продолжает оттачивать гоголевскую манеру письма. Более того, гоголевскую линию можно проследить не только в творчестве, но и в судьбе писателя. В эти годы Евгений Замятин попадает в призрачный, фантастический Петербург, город, колдовская атмосфера которого открывается прежде всего взору «чужака». Петербургу Замятин посвятит как свои художественные произведения, так и теоретические работы, в частности интереснейшее исследование «Москва — Петербург», в котором осмысливает историю

русской культуры в контексте своеобразного противостояния двух столиц. Писатель, естественно, смотрит на город сквозь призму литературной традиции — пушкинской и гоголевской, традиции Достоевского и Андрея Белого, однако не менее важны для него и собственные впечатления. Ведь призрачность, двойственность Петербурга-Петрограда после революции лишь усугубилась. Город, оставшись, казалось бы, прежним, превратился в свою противоположность. Петроград стал антитезой Петербургу, и не случайно многие современники Замятина — Осип Мандельштам, Анна Ахматова, Константин Вагинов — пишут о Петрограде как о мертвом городе, как о страшном зазеркалье.

По сути, замятинский рассказ «Пещера» и держится на этом противопоставлении Петербурга Петрограду. Петербург — это пространство духовности, культуры, прекрасной музыки, любви и счастья. Петроград — выморочный мир, в котором, чтобы выжить, человек должен обрасти шерстью, отрастить клыки, сбросить с себя все наслоения культуры. В этом мире выживает сильнейший, а прежняя система эстетических норм теряет свою значимость. В этом мире нет места утонченной, изысканной, теперь «бумаж-

ной», почти бестелесной Маше. Неизбежность ее сознательного ухода из жизни понимает и любящий ее человек.

Жестокая послереволюционная действительность показана и в небольшом рассказе «Дракон». Герой рассказа — дракон-красноармеец, безжалостно убивающий «врага» и жалеющий замерзшего воробушка, — в очередной раз заставляет задуматься над загадкой как русской души, так и революции, в которых непостижимым образом сочетаются жажда добра и жестокость, делающая из человека даже не животное, а некое мифическое чудовище, поистине дракона. Однако с драконом ассоциируется не только красноармеец, но и трамвай, в котором он едет. Летящий сквозь ледяное пространство города трамвай — это метафора самого времени, самой революционной эпохи. Образ дракона, причастного к стихиям огня и воды, как нельзя более точно отражает эту «двуприродную» сущность, двуполюсность человека революции и в то же время заставляет задуматься о времени, равнодушно избавляющемся от слабых.

Однако Замятин вовсе не так однозначен в своих оценках, как казалось многим его современникам, относившим писателя к врагам

молодого и неокрепшего государства, полагавшим, что писатель, склонный идеализировать прошлое, видит только негативные начала революции. Если в «Пещере» теме прошлого, упоения прекрасной стариной сопутствует лирическая интонация, то в «Мамае» слышится насмешливо-ироническая нота. «Маленький человек» — священная тема русской литературы XIX века — здесь предстает в своем гротескно-сниженном варианте. Рассказ выявляет трагикомическое несоответствие «маленького человека», поистине человечка, великому, переломному моменту истории. Собственно, это несоответствие высвечивается уже самой фамилией героя — Мамай, героя, который, в отличие от Мамая «1300 какого-то года», мог лишь завоевывать книги. Читатель на протяжении всего рассказа ждет от героя подвига, и тот его совершает — убивает мышь, уничтожившую деньги, которые герой копил на книгу. Несмотря на свои «высокие» духовные запросы, герой не вызывает сочувствия ни у автора, ни у читателя, раскрываясь как трусливое, жалкое, беспомощное существо, но главное — как человек, которому недоступна пьянящая радость неизвестности, которого пугают крутые виражи истории, и потому он ищет спасения в «безопас-

ной» книжной культуре.

Сам же Замятин способен видеть в революционной и послереволюционной действительности как негативные, так и позитивные начала: «Веселая, жуткая зима 17–18 года, когда все сдвинулось, поплыло в неизвестность». Тема стихии находит свое воплощение в метафорическом образе дома-корабля, присутствующего не в одном произведении писателя. Гоголевский прием развернутой метафоры (дом-корабль, дом-пещера, трамвай-дракон) дополняется в «петербургских» рассказах, как и в «английских» произведениях, цветовой символикой. Собственно, в основе рассказов часто лежит именно зрительный лейтмотив: так, в рассказе «Пещера» настойчиво акцентируется синий цвет как своеобразный цветовой определитель Петербурга.

Замятинские рассказы, в которых не были слышны дифирамбы революции, а была трезвая оценка ее последствий, смутили современников писателя. Отношения с литературной общественностью еще больше обострил роман «Мы» (1921), который при жизни автора не был опубликован в России, но о котором и который слышали многие современники писателя, поскольку Замятин неоднократно выступал с публичными чтениями

своего произведения.

Однако широкая читательская аудитория не имела возможности познакомиться с самим произведением, узнавала о нем из критических статей, а по сути пасквилей. До 1988 года роман был лучше известен на Западе, нежели у себя на родине. В 1920-е годы текст дошел до зарубежного читателя благодаря переводу: сначала на чешский, а потом и на английский и французский языки.

Тема бунта человека против тоталитарного режима звучит не только в романе «Мы», но и в пьесе «Огни святого Доминика», опубликованной в 1922 году, но так и не увидевшей свет рампы при жизни автора. Ни один театр не решился поставить пьесу, в которой автор проводит скрытую параллель между средневековой священной инквизицией и современным ему советским государством, претендующим на обладание абсолютной истиной. Между моделируемым в романе «Мы» образом государства будущего и жестоким миром Средневековья, показанным в пьесе, гораздо больше сходства, чем различий. Пьеса «Огни святого Доминика» выступает в творчестве писателя в роли своеобразного автокомментария к роману, что подтверждает введение к ней,

выражающее в открытой, незавуалированной форме основные идеи этих двух произведений, эксплуатирует те же темы, что и роман, — в частности темы искушения, предательства по идейным соображениям. В своих произведениях Замятин переносит в прошлое или будущее сюжеты настоящего и таким образом обнажает надвременную суть происходящего в современном ему мире. Пьеса привлекает внимание к центральному образу всей замятинской художественной вселенной — образу еретика, который для Замятина является глашатаем истины, еще не ставшей каноном, бунтарем, революционером. И для писателя таким бунтарем является не только Галилей, но и Христос. С образом еретика связана и тема художника, творца, звучащая в замятинской версии лесковского «Левши» — пьесе «Блоха» (1925), которая с успехом шла в Московском Художественном театре.

В 1930-е годы нападки на писателя со стороны литературной общественности, и особенно Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП), усилились, что вынудило Замятина обратиться с письмом к Сталину с просьбой о разрешении на выезд из Советской России. В 1931 году, благодаря ходатайству Максима Горького,

разрешение было получено, и в 1932 году Евгений Замятин уехал в Париж.

Эмигрантский период творчества писателя сложно назвать продуктивным: надежды на сотрудничество с кинематографом оказались несостоятельными, писатель вынужден был довольствоваться редкими заказами, эмигрантская среда видела в Замятине чужака, его силы подтачивали и болезнь, и тоска по родине. Тем не менее его незаконченный роман «Бич Божий», опубликованный лишь после смерти писателя — в 1938 году, представляет несомненный интерес своими художественными находками, которые можно было бы сопоставить с булгаковскими экспериментами в духе гротескного, или «магического», реализма.

Умер Евгений Замятин в 1937 году в Париже, за гробом писателя шли лишь самые близкие люди. Не только на родине, но и в эмигрантской среде смерть его прошла почти незамеченной.

Первое полное издание романа «Мы» на русском языке вышло в 1952 году в Нью-Йорке, а в нашей стране сборник избранных произведений писателя увидел свет лишь в 1988 году. Сегодня имя Замятина знакомо каждому образованному человеку, но по-прежнему для многих он лишь

основоположник жанра антиутопии, предшественник О. Хаксли, Дж. Оруэлла, Р. Брэдбери, К. Воннегута и других писателей, создающих произведения в жанре антиутопии и научной фантастики. Спору нет, Замятин — у истоков данной традиции, но его художественная палитра включает в себя разные краски, он открывается нам сегодня как писатель и мыслитель, а роман «Мы» сложно ограничить рамками какого-то одного жанра.

В романе, наряду с антиутопической составляющей, отчетливо заявляет о себе авантюрное начало, черты психологического и философского романа, романа любовного и даже производственного. Пожалуй, для самого писателя элементом, объединяющим столь непохожие друг на друга жанры, становится миф. «Мы» Замятина является неомифологическим текстом, то есть относится к тому разряду художественных явлений, корни которых в России лежат в Серебряном веке. Рамки романа-антиутопии, думается, для него слишком узки: утопическая модель, предложенная автором, есть не что иное, как использование форм так называемой вторичной условности, попытка уйти от «быта к бытию». Иными словами, наличие фантастики порождено не столько

спецификой жанра утопии или антиутопии, сколько стремлением художника выйти за пределы притяжения действительности и проверить истинность тех или иных идей. Попадая в мир будущего, читатель с интересом следит не столько за внешним сюжетом, позволяющим познакомиться с законами этого мира, с завоеваниями технической и научной мысли, сколько за внутренним конфликтом, основу которого составляет психологический разлад героя.

В романе «Мы» условный, фантастический сюжет обретает «достоверность», поскольку проецируется одновременно на античные мифы, в частности миф о Прометее, библейские сюжеты — об Адаме и Еве, Иисусе Христе, Вавилонской башне, а также «городской» и «математический» мифы, раскрывая общечеловеческое, надвременное в описываемых коллизиях.

Вопрос о том, осознанно или нет автор вводит в роман перечисленные сюжеты, не вызывает сомнений, поскольку большинство из них для облегчения читательского восприятия он, а точнее — его герой-повествователь или иные герои, называет, пересказывает или маркирует посредством слова, которое может восприниматься как подсказка. Так, R-13 вспоминает миф об изгнании

из рая, Благодетель — о распятии Иисуса, Д-503 и некий безымянный «государственный поэт» — легенду о Прометее, Д упоминает слово «башня» в различных смысловых контекстах, заставляя воспринимать его как многозначный символ, а в свете библейских мотивов, пронизывающих повествование, как намек на Вавилонскую башню. В романе упоминаются и имена некоторых художников слова, с которыми связаны «мифы» русской литературы, — Пушкина и Достоевского. Как правило, герой-повествователь ссылается или пересказывает содержание того или иного мифа для прояснения определенных ситуаций, душевного состояния.

Судьба героя романа, видящего в Благодетеле своего Бога и относящегося к законам Единого Государства как к Божьим заповедям, сопоставима с судьбой Адама. Живущий в согласии с собой и Богом, он теряет покой и ждет сурового наказания, когда познает запретный вкус свободы, страсти и знания. Как и его далекий предок, Д после того, как состоялось его моральное падение, выходит за пределы рая и узнает о существовании иного мира (мир за Зеленой Стеной предстает как дикое место вне рая, где грешная пара находит себе убежище). Таким образом, и сюжет,

и система персонажей, и их имена, и основные мотивы произведения подсказаны художнику библейским мифом об изгнании из рая. Здесь было бы уместным отметить парадоксальный, но очевидный, как нам представляется, факт: Замятин в своем произведении не выходит за границы системы персонажей библейского мифа. R и Д являются двойниками, так же как О и I, чье двойничество в значительной степени предопределяется именно библейским мифом. Иными словами, роман заселен двойниками главного героя, а потому, несмотря на «мы», вынесенное в заглавие, показывает трагедию одного человеческого «я» — единственного человека — Адама, совершающего преступление против своего Бога, будучи подвигнутым на оное сотворенной из его же ребра Евой. Финал романа открыт, так как не утверждает окончательную победу ни одной из противоборствующих сторон — ни Благодетеля, ни Мефи, ибо, хотя О-90 и покидает город-рай, а естественная жизнь пытается отвоевать у цивилизации пространство, пробивая брешь в Зеленой Стене, велика опасность того, что Единое Государство восстановит и даже упрочит свою власть, не только завладев землей за Зеленой Стеной, но и возобновив свои попытки при по-

мощи «*Интеграла*» покорить космос. Замятин принципиально не расставляет точки над «i», активизируя мысль читателя, побуждая его к сотворчеству. Тем не менее именно библейская модель выражает философскую мысль автора, предрекая победу не воспеваемого героем разума, а чувств, естественных желаний и страстей. Восстановив сюжет Ветхого Завета, Замятин утверждает с его помощью крамольные с точки зрения христианской религии истины: для автора романа первородный грех есть не падение, а подъем на новую ступень развития, первый бунт и первая победа человека. Таким образом, несмотря на то что сюжет грехопадения вводится в роман «с ведома» героя-повествователя, проецирующего свою историю на библейский миф, он служит в романе средством выражения прежде всего авторской позиции.

«Мифологическое» прочтение романа позволяет увидеть дистанцию между автором и героем-повествователем. В беседе с Д-503 Благодетель отождествляет себя с Богом Отцом, посылающим свое любимое дитя на муки. Тем самым задается ракурс восприятия данного эпизода и проливается обратный свет на историю главного героя произведения в целом: Благодетелю и Д отводятся

соответственно роли Бога Отца и Бога Сына. Хотя на уровне системы персонажей противником Благодетеля является героиня, именно Мефи отождествляется с самим дьяволом. Название революционной организации есть сокращение одного из имен духа зла. Как и в Книге Истоков, сам дьявол, руководящий действиями змия и, следовательно, Евы, остается за сценой, если и появляясь, то лишь в том или ином обличье. I в разговоре с Д объясняет причины выбора подобного названия мятежной организации: «Нет, подожди, — а „Мефи“? Что такое „Мефи“? — „Мефи“? Это — древнее имя, это — тот, который… Ты помнишь: там, на камне, — изображен юноша… Или нет: я лучше на твоем языке, так ты скорее поймешь. Вот: две силы в мире — энтропия и энергия. Одна — к блаженному покою, к счастливому равновесию; другая — к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению. Энтропии — наши или, вернее, — ваши предки, христиане, поклонялись, как Богу. А мы, антихристиане, мы…». Героиня, переводя историю борьбы добра и зла на язык, доступный математику Д, излагает мысли и оперирует терминами, знакомыми читателю по статье Замятина «О литературе, революции, энтропии и

о прочем», очевидно выступая в роли резонера. Данный эпизод концентрированно выражает идею автора, сплетая основные символы романа — «дьявол» и «энергия». Отождествление темных сил с энергией, воспеваемой автором не в одном его произведении, не должно смущать, поскольку, как уже отмечалось выше, понятия добра и зла оказываются обратимыми в произведении, в основе замысла которого лежит принцип иронии. Если библейская модель инвертирована в романе, то и симпатии читателя должны быть на стороне сил зла.

Следует отметить, что именно «мифологический» подход к изучению творчества Евгения Замятина проливает свет на единство его творчества — как литературного, так и литературоведческого, — мифы, организующие роман, упоминаются, разъясняются и даже «дописываются» Замятиным в критических статьях и эссе. Об Адаме и Еве (и «новых» Адаме и Еве) автор пишет в статье «О синтетизме», Вавилонскую башню (как некое здание на песке или воздушный замок) упоминает в контексте рассуждений об эфемерных и грандиозных замыслах — в статье о Блоке и в статье «О синтетизме», доказывающей, что с Вавилонской башней у Замятина

также связаны представления о спиралевидном движении человеческой истории («Спираль; винтовая лестница в Вавилонской башне; путь аэро, кругами поднимающегося ввысь, — вот путь искусства. Уравнение движения искусства — уравнение спирали»[1]).

Используя античные и библейские сюжеты, образы и мотивы мировой литературы по принципу их многократного наложения, пересечения, Замятин создает свой миф о судьбе человечества, о положении современного общества, о духовном и психическом состоянии человека XX века. Именно благодаря подобной многоаспектности замятинского текста роман «Мы» был прочитан критикой и как пророчество, и как антиутопия, сатира на современную цивилизацию, и как философско-психологический роман. И тем не менее очевидно, что именно философско-психологическое содержание романа возводит его в ранг истинно художественного творения, подключая к ряду произведений, в центре которых находится рефлектирующая личность, произведений о взаимоотношениях человека с городом. Замятинский роман, безусловно, продолжает в

[1] Примечания: 1

Замятин Е. И. О синтетизме//Соч. М.: Книга, 1988. С. 412.

русской литературе традиции Гоголя и Достоевского. «Фантастический реализм» Замятина, условный сюжет его романа позволяют автору развернуть перед читателем реалистичную картину жизни сознания современного городского жителя. Роман большого города подразумевает сопроникновение, соподчинение внешнего и внутреннего пространств героя. Замятин следует данной традиции, развивая приемы писателей-классиков: в его романе город, в котором преобладает рациональное, а подсознательное полностью подавлено, символизирует психику героя-повествователя. Жизнь замятинского города будущего есть метафора жизни сознания Д-503 и — шире — городского жителя XX века.

Город-государство, в котором обитает герой, очевидно, и есть тот цифровой мир, за стену которого он, по словам его друга-поэта, и боится заглянуть. Если Единое Государство с прямыми линиями проспектов и улиц, четкой, отлаженной жизнью — город рацио — символизирует жизнь сознания, то мир за Зеленой Стеной, с кривыми поверхностями (не тротуаром, а живой землей), яркими цветами — иррациональное пространство — очевидно, есть метафора подсознания современного человека. Действительно, в тот

момент, когда взрывают Зеленую Стену и весь город *сходит с ума*, драма героя достигает своего апогея. Мефи господствует в городе, и в Д проявляется в полной мере иррациональное (духовное, душевное). В романе Замятина подсознательное (иррациональное, то, что, по словам героя, нельзя осмыслить, поскольку это «вне рацио») ассоциируется как с жизнью за Зеленой Стеной, так и с прошлым, древним миром. Однако этот древний иррациональный мир находится не только за пределами города, он — в самом его центре, Древнем Доме, куда постоянно приходит герой, и в самом герое, о чем свидетельствуют его волосатые руки, убеждающие, что в жилах Д действительно течет «солнечная», «лесная» кровь, кровь его предков. Символично название *Древнего* Дома, символично и то, что I-330 облачается в нем в *древние* (курсив мой. — *Н. К.*) одежды, — сбрасывая юнифу, она надевает короткое платье и длинные чулки. Хрупкий Древний Дом под стеклянной скорлупой оказывается центром города рацио, местом, куда вновь и вновь возвращается герой, местом, где состоялось его «грехопадение» — приобщение к миру инстинктов, страсти, иррациональному миру чувств, не подавляемых логикой, к миру свободы. Не

случайно герой заявляет, что началась вся эта история в Древнем Доме. Итак, уже городской ландшафт в «Мы» позволяет соотнести роман с мифом о сознании современного человека.

Тщательный отбор автором персонажей — а их не так много для романа — подводит читателя к размышлениям о том, что Замятин ставит перед собой задачу в полном объеме развернуть перед читателем внутренний мир лишь одного человека — главного героя Д-503. Действительно, читатель видит остальных персонажей романа глазами героя-повествователя, и нет ни единого случая интроспекции по отношению к ним. Критики часто упрекают замятинский роман в схематичности образов, становящихся некими знаками идей. Думается, в подобных высказываниях несколько смещены акценты: если О, R, I, Ю и другие и знаки идей, состояний, то не столько для автора, сколько для Д, на точку зрения которого ориентирована поэтика романа в целом. Действительно, автору интересны остальные герои прежде всего в той мере, с какой они раскрывают характер главного героя, его конфликт с миром и собой, служат мотивировкой его внутреннего развития. Собственно, всех персонажей романа можно условно отнести к двум группам:

первую составляют те из них, что воплощают одни или другие свойства героя, являясь своеобразными его двойниками, как R и I, вторую — Благодетель, Ю, О, необходимые автору для того, чтобы поставить героя перед лицом той или иной «вечной» ситуации, требующей от него самостоятельного выбора. В этой связи уместно еще раз вспомнить слова героя, относящиеся к остальным персонажам романа, — «Все вы мои тени». Конечно, некоторые из персонажей выдвинуты на передний план — это прежде всего I-330 и Благодетель, два полюса, между которыми оказывается главный герой. Благодетель является хозяином города-государства, мира рацио, мира с прозрачными стенами, где все «ясно». Восседая на кубе в центре города, он управляет «алгебраическим миром» сознания героя. I-330 открывает герою другой мир — с кривыми поверхностями и непрозрачными стенами — мир подсознания. Ее «царство» — это Древний Дом, где оживает прошлое. Мир I — царство прошлого, мир снов. Героиня выводит Д-503 за пределы рационального мира. Таким образом, борьба Благодетеля и I-330 может расцениваться и как столкновение рациональной и иррациональной составляющих сознания героя, или сознания и более древнего

слоя психики — подсознания. Благодетель оберегает Д от влияния I (иными словами, разум героя сопротивляется инстинктам) и в конце концов убивает ее. Практически одновременно со смертью I погибает фантазия, подсознательное в Д — Благодетель и разум одерживают победу. Смерть героини — это и смерть души Д-503.

Друг героя, поэт R-13, также своеобразный двойник героя, его тень. Он обладает качествами, отсутствующими у Д к началу повествования, — чувственностью, иронией, поэтическим, истинно свободным (асимметричным, «неевклидным») мышлением. R не только не боится заглядывать за стену рационального мира, но, даже живя в городе, отвоевывает для себя иррациональное, неевклидово пространство. Поддаваясь влиянию своей возлюбленной I-330, Д обретает качества, присущие R, — способность «просто так» любить, творческое мышление (Д становится поэтом от математики), даже умение шутить (в первых записях своей «поэмы» герой заявлял, что он шуток не любит и не понимает, после с нескрываемой иронией сравнивает испуганных нумеров, ожидающих катастрофы, с группой Иисусов Навинов). По мере развития сюжета герой движется от полюса Благодетеля к полюсу R и I. Смерть по-

эта R-13 свидетельствует о смерти поэта в Д-503. Так же как и I-330, R-13 одновременно покидает жизнь города и сознания героя. Из души героя последовательно уходят поэзия (R-13 — поэт), музыка (I-330 — пианистка).

В характерах других персонажей — О, Ю, старухи, охраняющей Древний Дом, — просматривается некая доминанта: желание испытать счастье материнства, истинно женское начало в О; материнский деспотизм в Ю, консьержке, воспринимающей Д как дитя и воспевающей жестокую, карающую любовь; черты бабушки, высшего воплощения материнства, в привратнице

Древнего Дома. Сказанное позволяет утверждать, что каждая из этих героинь так или иначе соотносится с темой материнства, детства и детскости и что за каждой в сознании Д и соответственно романном пространстве закрепляется определенная роль — «жены и матери его ребенка», его «злой» матери, а также истинной, любящей матери (не случайно, думая о неведомой ему матери, герой представляет морщинистые губы старухи привратницы) или доброй бабушки (бабушкой ее называет I-330).

Таким образом, вопреки запретам Единого

Государства, герой, по мере того как обретает в себе человека, интуитивно восстанавливает естественные связи между собой и другими людьми: взамен странной семьи, о которой он с восторгом пишет в начале своей поэмы, — любовного треугольника R — О — Д (символично и то, что буквы их «имен» складываются в слово «род»), — он обретает «мать» (старуха у Древнего Дома и Ю), отца (Благодетель ассоциируется с Богом Отцом, посылающим свое дитя на муки), жену (О), ребенка (которого должна родить О) и даже любовницу (I). Следует отметить, что, в отличие от треугольника R — О — Д, в треугольнике Д — О — I узнаем классический любовный треугольник — с ревностью, душевными страданиями людей, его составляющих.

Заостряя тему столкновения рациональных и иррациональных начал бытия, Замятин широко использует цифровую символику. Мучительное рождение души герой связывает с идеей корня квадратного из минус единицы. «Мне чудилось — сквозь какое-то толстое стекло — я вижу: бесконечно огромное и одновременно бесконечно малое, скорпионообразное, со спрятанным и все время чувствуемым минусом-жалом: √-1… А может быть, это — не что иное, как моя „душа“,

подобно легендарному скорпиону древних, добровольно жалящая себя всем тем, что…» (Однако, как нам известно, корень из минус единицы у героя ассоциируется с I-330. Таким образом, напрашивается параллель I — душа героя.) Душу героя смущают также идеи иррациональности, бесконечности, существование множественных неизвестных. Собственно, противопоставление арифметики и высшей математики есть метафора психологической драмы героя, столкновения его прежнего и приобретенного «я».

Как уже было сказано, не случайно роль героя-повествователя Замятин доверяет математику. Художнику интересно, как в дебрях правоверного сознания зарождается бунт. Именно верность математике, математическому восприятию мира и способу мышления, а отнюдь не отказ от оных, ведет героя-повествователя по пути протеста. Арифметика и высшая математика (Единое Государство и Мефи) борются как на улицах города, так и в пространстве сознания Д-503. Таким образом, психологический конфликт романа не может трактоваться как борьба математика и человека в Д, она представлена автором как борьба нумера (боящегося заглянуть за стену «твердого» числового мира) и математика (человека твор-

ческого, глубоко понимающего суть жизни и не боящегося собственного знания).

Если конфликт романа (как внешний, так и внутренний) попытаться выразить математически, то это будет история пути Д от «школьной», элементарной математики к математике высшей. Путь от арифметики Единого Государства к мнимым и иррациональным величинам Мефи, от евклидовой к неевклидовой геометрии. Путь от «мы» к «я» (I). Восстановление всех математических способностей Д ведет к пробуждению души (√-1). Высшая математика помогает автору и в изображении сложного внешнего мира, и в объяснении психологии его героя. Не только повествователь, но и сам автор — художник и математик — на метафорическом и одновременно «математическом» языке объясняется со своим читателем. «Математика» романа включает в себя как алгебру, так и геометрию, определяющую технику создания образов — как самого города, так и населяющих его граждан. Д-503 предрасположен видеть мир «глазами геометра», а потому часто описывает других людей как геометрические (плоские, подчеркнем) фигуры: окружности (O-90), прямые (I-330), S-образные формы (S-4711). Действительно, лейтмотивами

О становятся окружность и синий цвет (ее глаз). Однако если для Д синий — знак принадлежности О к миру голубых стен и голубых юниф, к миру с «отфильтрованным солнцем» и безоблачным, стерильным небом, один из символов столь любимой героем ясности, а круг символизирует ограниченность, ограничение пугающей бесконечности («Завтра придет ко мне милая О, все будет просто, правильно и ограничено, как круг. Я не боюсь этого слова — „ограниченность“: работа высшего, что есть в человеке, — рассудка — сводится именно к непрерывному ограничению бесконечности…»), то, с точки зрения автора, «круглое» начало в О, подчеркнутое и формой ее тела, и самим именем, думается, призвано заявить о естественности героини — естественности, которая подавляется в Едином Государстве. Окружности, из коих «состоит» героиня, символизируют силу и полноту жизни, всепобеждающее природное начало, ведь, пожалуй, прежде всего уравновешенная, женственная О-90, а не беспокойная революционерка I-330 и не поддающийся напору последней Д-503 побеждает в определенном смысле Единое Государство, выходя за его пределы и, очевидно, там, на свободе, даря жизнь не нумеру, а свободному человеку.

Научному диктату Единого Государства О противопоставляет не умозрительные концепции и основанную на них идеологию, как это делает I-330, а вслед за нею и Д, а естественные человеческие желания, любовь и материнский инстинкт. В воспевающей иррациональные начала бытия I-330, выступающей в роли рупора идей автора, все же велика рассудочность, тогда как О действует и живет, подчиняясь «иррациональным» движениям души. Если знаком О становится круг, то I — прямая или ее часть — отрезок. Так же как и у О, начертание имени повторяет форму тела героини — I, в отличие от О, резкая и прямая: «Направо от меня — она, тонкая, резкая, упрямогибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее нумер); налево — О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке…» Думается, сравнение с хлыстом и с прямой подчеркивают волевое и рассудочное начало в I. Протест О так же естествен, как сама жизнь, однако она вынуждена прибегнуть к помощи I.

Таким образом, «геометрический» анализ системы персонажей романа убеждает в том, что Замятин призывает к синтезу разума и чувств, рационального и иррационального. Следует отметить, что с R-13 у героя ассоциируется неев-

клидова геометрия: «Дальше — в комнате R. Как будто — все точно такое, что и у меня: Скрижаль, стекло кресел, стола, шкафа, кровати. Но чуть только вошел R — двинул одно кресло, другое, — плоскости сместились, все вышло из установленного габарита, стало *неевклидным*» (курсив мой. — *Н. К.*). R-13 интуитивно сопротивляется миру ratio, где господствует евклидова геометрия, царит симметрия. Более того, поэт R — с его «негрскими» губами, обезьяньей ловкостью, легким нравом и склонностью постоянно шутить — становится в романе своеобразной проекцией Пушкина, поэта с «асимметричным» лицом: «С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносая асимметрическая физиономия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушкина)». Таким образом, иррациональное, асимметрия ассоциируются с поэзией, искусством, подлинной гениальностью, интуицией, свободным творчеством.

Помимо того, что Д-503 имеет взгляд геометра, он мыслит и даже мечтает формулами («Закрывши глаза, я мечтал формулами…» — пишет герой), поэтому наряду с геометрическими фигурами лейтмотивами персонажей становятся математические знаки и символы. Так, с образом

I в сознании Д, а соответственно и в пространстве романа, соединяются знаки бесконечности, *x* и прежде всего корня квадратного из минус единицы. (Сама буква, с которой начинается имя героини, — «I», может восприниматься как сокращенное от imagine — «мнимый», то есть мнимая величина, или корень квадратный из минус единицы.) Понятно, что, поскольку I, лидер Мефи, смущает ум героя именно теми математическими концепциями, которые оппозиционная организация противопоставляет элементарной математике Единого Государства, именно с героиней в сознании героя и романном пространстве соединяются соответствующие математические знаки и символы. Тем не менее каждый из приведенных знаков точно отвечает сути натуры I-330, являясь своего рода метафорой ее души — загадочной (*x*), непостижимой (√-1), стремящейся к бесконечному (∞).

У автора, очевидно, своя «математическая» вера, смысл которой заключается отнюдь не в обожествлении каких-то конкретных научных правил, законов, пусть самых революционных на сегодняшний день, а в убежденности, что математика доказывает относительность, а в пределе — неверность любого закона. Математика для

Замятина есть та живая наука, которая наглядно показывает, что жизнь всегда шире любых схем и умозрительных концепций. Художник далек от того, чтобы ставить себе «в божницу» дифференциал, интеграл, мнимые величины и прочие завоевания высшей математики. В своем романе он с их помощью лишь доказывает, что любое знание, кажущееся бесспорным и незыблемым сегодня, будет подвергнуто сомнению и пересмотрено завтра. По Замятину, и наука, и искусство, и жизнь живы еретиками. Примером для писателя был Эйнштейн, перевернувший представления человечества о мире. В статье «О литературе, революции, энтропии и о прочем» Замятин пишет: «Наука и искусство — одинаково в проектировании мира на какие-то координаты. Различные формы — только в различии координат. Все реалистические формы — проектирование на неподвижные, плоские координаты Евклидова мира. В природе этих координат нет, этого ограниченного, неподвижного мира нет, он — условность, абстракция, нереальность. И потому реализм нереален: неизмеримо ближе к реальности проектирование на мчащиеся кривые поверхности — то, что одинаково делают новая математика и новое искусство. Реализм

не примитивный, не realia, а realiora — в сдвиге, в искажении, в кривизне, в необъективности. Объективен объектив фотографического аппарата»[2]. Ирония Замятина заключается в том, что его герой-повествователь — человек будущего и математик — поклоняется «устаревшей» уже в XX веке математике, проецирует жизнь на неподвижную систему координат. Поэтому «реализм» повествователя, его математический миф, «правдиво» отражающий жизнь, нереален, реален же математический нео-мифологический текст автора, моделирующий, а не копирующий действительность.

Отвечая на вопрос, «как он пишет», а также исследуя особенности творчества чтимых им современников — Андрея Белого, Александра Блока, Федора Сологуба, Евгений Замятин особенно заостряет роль сатиры, лейтмотивного построения, цветовой и звуковой организации текста, звукописи и ритмического рисунка прозы, при этом он доказывает, что основной признак «новой» литературы XX века, отличающий ее от классической романной прозы XIX века, — стремление к постижению *не быта, но бытия*.

---

[2] Примечания: 2

Замятин Е. И. О литературе, революции, энтропии и о прочем// Указ. соч. С. 451.

Основным признаком русского классического реализма Замятин считает ярко выраженное бытописательное начало, или внимание к быту, увиденному «простым глазом» и выписанному до мельчайших подробностей. Характерной особенностью новой русской прозы, к которой Замятин относит и свой роман «Мы», что он неоднократно подчеркивает в своих статьях, является уход «от быта — к бытию, от физики — к философии». Новое искусство изучает, по Замятину, не трехмерный, а по меньшей мере четырехмерный мир, подходит к изучению жизни со «сложным набором стекол» — от микроскопа до телескопа. Оно, как отмечает писатель, есть «синтез, где будет одновременно и микроскоп реализма, и телескопические, уводящие к бесконечностям, стекла символизма»[3]. Замятин не пытается избавиться от завоеваний реализма XIX века — «тонкой… живописи, быта, психологизма», но стремится к тому, чтобы за бытом, изображенным в его произведениях, просматривалось бытие.

Подобное стремление он отмечает у тех своих современников, которых называет «неореалистами». «Для сегодняшней литературы плоскость

[3] Примечания: 3
Замятин Е. И. Новая русская проза//Указ. соч. С. 433.

быта — то же, что земля для аэроплана: только путь для разбега — чтобы потом вверх — от быта к бытию, к философии, к фантастике. По большакам, по шоссе — пусть скрипят вчерашние телеги. У живых хватает сил, — пишет Замятин, — отрубить свое вчерашнее: в последних рассказах Горького — вдруг фантастика, в „Двенадцати“ Блока — вдруг уличная частушка, в „Жокее“ Белого — вдруг арбатский быт»[4]. Философия и фантастика, таким образом, как следует из слов Замятина, есть способ постижения первооснов мира, человеческой жизни: «Сама жизнь — сегодня перестала быть плоско-реальной: она проектируется не на прежние неподвижные, но на динамические системы координат Эйнштейна, революции. В этой новой проекции — сдвинутыми, фантастическими, незнакомо-знакомыми являются самые привычные формулы и вещи. Отсюда — так логична в сегодняшней литературе тяга именно к фантастическому сюжету или к сплаву реальности и фантастики». А «фантастическая» действительность требует новых по сравнению с классическим реализмом способов постижения и изображения: «В наши дни един-

[4] Примечания: 4
Там же. С. 432.

ственная фантастика — это вчерашняя жизнь на прочных китах. ‹…› Эйнштейном — сорваны с якорей самое пространство и время.

И искусство, выросшее из этой, сегодняшней, реальности — разве может не быть фантастическим, похожим на сон? ‹…› Отсюда в сегодняшнем искусстве — синтез фантастики с бытом»[5]. Очевидно, что приведенные цитаты из работ Замятина можно воспринимать как ключ к пониманию романа «Мы», как объяснение причин использования в нем фантастического сюжета, утопического элемента. Фантастический сюжет для Замятина не самоцель, а способ воспроизведения характерного в жизни, помогающий подняться над «плоскостью быта», поставить «вечные» вопросы, те самые «мучительные, вечные» вопросы, ответы на которые ищет, по Замятину, вслед за Ф. М. Достоевским Андрей Белый в своих произведениях.

Итак, сами жанровые особенности романа «Мы» являются следствием преодоления автором «локального историзма». Фантастика, в свою очередь, связана в представлении Замятина с мифами. Вместе с тем нельзя забывать о том,

---

[5] Примечания: 5

Замятин Е. И. О синтетизме//Указ. соч. С. 412.

что писатель, как уже отмечалось, стремится продолжать и развивать в своих произведениях традиции русской классической литературы, и прежде всего тонкий психологизм.

В центре романа «Мы», как и в центре произведений многих классиков русской литературы, коих Замятин почитал своими учителями (Н. В. Гоголя и Ф. М. Достоевского), а также Андрея Белого, В. Брюсова, Ф. Сологуба, создающих свои нео-мифологические романы, оказывается больное сознание, или сознание, вышедшее из привычной колеи, психология «преступника», бунтаря, еретика. Изображение героя, переживающего одиночество, умственное исступление, нервное потрясение, предполагает пространные описания снов, видений, галлюцинаций. В «Мы» значительное романное пространство отводится «цветным» снам Д-503, что включает роман в контекст русской психологической прозы XIX-XX веков (сны Раскольникова, бред гоголевского Поприщина, сны сологубовского Передонова, брюсовских Рупрехта и Ренаты). Роман Замятина есть одновременно «история болезни» и «психологический отчет одного преступления».

Как видим, роману «Мы» присущи такие особенности романа-мифа, как обращение к

фантастике, интерес к пространству сознания и подсознания героя, ориентация на его точку зрения, разработанная система лейтмотивов, несущих на себе прежде всего смысловую нагрузку и проясняющих сюжет, авторская ирония, использование языка скрытых и явных цитат из произведений классиков мировой литературы. Своеобразие же романа вызвано тем, что изображается не современность или история, как у Андрея Белого, Ф. Сологуба, В. Брюсова, а моделируемый художником мир будущего. Антиутопия Замятина — одно из воплощений, ярких и своеобразных, романа-мифа, наряду с «Петербургом» Андрея Белого, «Мелким бесом» Ф. Сологуба, «Огненным ангелом» В. Брюсова и — в западной литературе — «Улиссом» Дж. Джойса.

Замятин создает миф о сознании человека большого города, страшный миф о современной цивилизации, которая убивает в человеке поэта. «Мы» — миф о городе-цивилизации, умерщвляющем в человеке душу, жалость, фантазию, страсть, любовь и тоску по матери, отцовские чувства. «Мы» — миф о полной и безоговорочной победе разума над фантазией.

Н. Кольцова

Автобиография

Как дыры, прорезанные в темной, плотно задернутой занавеси, — несколько отдельных секунд из очень раннего детства.

Столовая, накрытый клеенкой стол, и на столе блюдо с чем-то странным, белым, сверкающим, и — чудо! — это белое вдруг исчезает на глазах неизвестно куда. В блюде — кусок еще незнакомой, некомнатной, внешней вселенной: в блюде принесли показать мне снег, и этот удивительный снег — до сих пор.

В этой же столовой. Кто-то держит меня на руках перед окном, за окном — сквозь деревья красный шар солнца, все темнеет, я чувствую: конец, — и страшнее всего, что откуда-то еще не вернулась мать. Потом я узнал, что «кто-то» — моя бабушка и что в эту секунду я был на волос от смерти: мне было года полтора.

Позже: мне года два-три. Первый раз — люди, множество, толпа. Это — в Задонске: отец и мать поехали туда на шарабане и взяли меня с собой. Церковь, голубой дым, пение, огни, по-собачьи лает кликуша, комок в горле. Вот кончилось,

прут, меня — щепочку — несет с толпой наружу, вот я уже один в толпе: отца с матерью нет, и их больше никогда не будет, я навсегда один. Сижу на какой-то могиле: солнце, горько плачу. Целый час я жил в мире один.

В Воронеже. Река, необычно странный мне ящик купальни, и в ящике (я потом вспомнил это, когда видел в бассейнах белых медведей) плещется огромное, розовое, тучное, выпуклое женское тело — тетка моей матери. Мне любопытно и чуть жутковато: я в первый раз понимаю, что это женщина.

Я жду у окна, гляжу на пустую, с купающимися в пыли курами, улицу. И наконец едет наш тарантас: везут из гимназии отца; он — на нелепо высоком сиденье, с тростью, поставленной между колен. Я жду с замиранием сердца обеда — за обедом торжественно разворачиваю газету и читаю вслух огромные буквы: «Сын Отечества». Я уже знаю эту таинственную вещь — буквы. Мне года четыре.

Лето. Пахнет лекарствами. Вдруг мать и тетки торопливо захлопывают окна, запирают балкон, и я смотрю, приплюснувшись носом к балконному стеклу: *везут*! Кучер в белом халате, телега, покрытая белым полотном, под полотном —

люди, скорченные, шевелящиеся руки и ноги: *холерные*. Холерный барак на нашей улице, рядом с нашим домом. Сердце колотится, я знаю, что такое смерть. Мне лет пять-шесть.

И наконец: легкое, стеклянное, августовское утро, далекий прозрачный звон в монастыре. Я иду мимо палисадника перед нашим домом и не глядя знаю: окно открыто, и на меня смотрят — мать, бабушка, сестра. Потому что я в первый раз облачился в длинные — «на улицу» — брюки, в форменную гимназическую куртку, за спиною ранец: и в первый раз иду в гимназию. Навстречу трясется на своей бочке водовоз Измашка и несколько раз оглядывается на меня. Я — горд. Я — большой: мне перевалило за восемь.

Все это — среди тамбовских полей, в славной шулерами, цыганами, конскими ярмарками и крепчайшим русским языком Лебедяни — той самой, о какой писали Толстой и Тургенев. А годы: 1884–1893.

Дальше — серая, как гимназическое сукно, гимназия. Изредка в сером — чудесный красный флаг. Красный флаг вывешивался на пожарной каланче и символизировал тогда отнюдь не социальную революцию, а мороз в 20°. Впрочем, это и была однодневная революция в скучной,

разграфленной гимназической жизни.

Скептический диогеновский фонарь — в 12 лет. Фонарь был зажжен одним здоровым второклассником и — синий, лиловый, красный — горел у меня под левым глазом целых две недели. Я молился о чуде — о том, чтобы фонарь потух. Чудо не свершилось. Я задумался.

Много одиночества, много книг, очень рано — Достоевский. До сих пор помню дрожь и пылающие свои щеки — от «Неточки Незвановой». Достоевский долго оставался — старший и страшный даже; другом был Гоголь (и гораздо позже — Анатоль Франс).

С 1896 года — гимназия в Воронеже. Специальность моя, о которой все знали: «сочинения» по русскому языку. Специальность, о которой никто не знал: всевозможные опыты над собой — чтобы «закалить» себя.

Помню: классе в 7-м, весной, меня укусила бешеная собака. Взял какой-то лечебник, прочитал, что первый, обычный срок, когда появляются признаки бешенства, — две недели. И решил выждать этот срок: сбешусь или нет? — чтобы испытать судьбу и себя. Все эти две недели — дневник (единственный в жизни). Через две недели — не сбесился. Пошел, заявил начальству, тотчас

же отправили в Москву — делать пастеровские прививки. Опыт мой кончился благополучно. Позже, лет через десять, в белые петербургские ночи, когда сбесился от любви, — проделал над собой опыт посерьезнее, но едва ли умнее.

Из гимназического серого сукна вылез в 1902 году. Золотая медаль за 25 рублей была заложена в петербургском ломбарде — и там осталась.

Помню: последний день, кабинет инспектора (по гимназической табели о рангах — «кобылы»), очки на лбу, подтягивает брюки (брюки у него всегда соскакивали) и подает мне какую-то брошюру. Читаю авторскую надпись: «Моей almae matri, о которой не могу вспомнить ничего, кроме плохого. П. Е. Щеголев». Я инспектор — наставительно, в нос, на о: «Хорошо? Вот тоже кончил у нас с медалью, а что пишет! Вот и в тюрьму попал. Мой совет: не пишите, не идите по этому пути». Наставление не помогло.

Петербург начала 900-х годов — Петербург Комиссаржевской, Леонида Андреева, Витте, Плеве, рысаков в синих сетках, дребезжащих конок с империалами, студентов мундирно-шпажных и студентов в синих косоворотках. Я — студент-политехник косовороточной категории.

В зимнее белое воскресенье на Невском — чер-

но от медленных, чего-то выжидающих толп. Дирижирует Невским — Думская каланча, с дирижера все не спускают глаз. И когда подан знак — один удар, час дня, — на проспекте во все стороны черные человеческие брызги, куски марсельезы, красных знамен, казаки, дворники, городовые… Первая (для меня) демонстрация — 1903 год. И чем ближе к девятьсот пятому — кипенье все лихорадочней, сходки все шумнее.

Летом — практика на заводах, Россия, прибаутливые, веселые третьеклассные вагоны, Севастополь, Нижний, Камские заводы, Одесса, порт, босяки.

Лето 1905 года — особенно синее, пестрое, тугое, доверху набитое людьми и происшествиями. Я — практикантом на пароходе «Россия», плавающем от Одессы до Александрии. Константинополь, мечети, дервиши, базары, беломраморная набережная Смирны, бедуины Бейрута, белый Яффский прибой, черно-зеленый Афон, чумный Порт-Саид, желто-белая Африка, Александрия — с английскими полисменами, продавцами крокодиловых чучел, знаменитый Тартуш. Особенный, отдельный от всего, изумительный Иерусалим, где я с неделю жил в семье знакомого араба.

А по возвращении в Одессу — эпопея бунта на

«Потемкине». С машинистом «России» — смытый, затопленный, опьяненный толпой — бродил в порту весь день и всю ночь, среди выстрелов, пожаров, погромов.

В те годы быть большевиком — значило идти по линии наибольшего сопротивления; и я был тогда большевиком. Была осень 1905 года, забастовки, черный Невский, прорезанный прожектором с Адмиралтейства, 17-е октября, митинги в высших учебных заведениях…

Однажды, в декабре вечером в мою комнату на Ломанском переулке пришел приятель, рабочий, крылоухий Николай В. — с бумажным мешком от филипповских булок, в мешке — пироксилин. «Оставлю-ка я тебе мешочек, а то за мной по пятам шпики ходят». — «Что ж, оставь». И сейчас еще вижу этот мешок: слева, на подоконнике, рядом с кулечком сахару и колбасой.

На другой день — в «штабе» Выборгского района, в тот самый момент, когда на столе были разложены планы, парабеллумы, маузеры, велодоги — полиция: в мышеловке человек тридцать. А в моей комнате слева, на подоконнике — мешок от филипповских булок, под кроватью — листки.

Когда, обысканные и избитые, мы разделены были по группам, я вместе с другими четырьмя

— оказался у окна. У фонаря под окном увидел знакомые лица, улучил момент и в фортку выбросил записочку, чтобы у этих четырех и у меня убрали из комнат все неподобающее. Это было сделано. Но о том я узнал позже, а пока — несколько месяцев в одиночке на Шпалерной мне снился мешочек от филипповских булок — налево, на подоконнике.

В одиночке — был влюблен, изучал стенографию, английский язык и писал стихи (это неизбежно). Весною девятьсот шестого года освободили и выслали на родину.

Лебедянскую тишину, колокола, палисадники — выдержал недолго: уже летом — без прописки в Петербурге, потом — в Гельсингфорсе. Комната на Эрдхольмсгатан, под окнами — море, скалы. По вечерам, когда чуть видны лица, — митинги на сером граните. Ночью не видно лиц, теплый черный камень кажется мягким — оттого что рядом *она*, и легки, нежны лучи свеаборгских прожекторов.

Однажды в купальне голый товарищ знакомит с голым пузатеньким человечком: пузатенький человечек оказывается знаменитым капитаном красной гвардии — Коком. Еще несколько дней — и красная гвардия под ружьем, на горизонте

чуть видные черточки кронштадтской эскадры, фонтаны от взрывающихся в воде двенадцатидюймовок, слабеющее буханье свеаборгских орудий. И я — переодетый, выбритый, в каком-то пенсне — возвращаюсь в Петербург.

Парламент в государстве; маленькие государства в государстве — высшие учебные заведения, и в них свои парламенты: Советы старост. Борьба партий, предвыборная агитация, афиши, памфлеты, речи, урны. Я был членом — одно время председателем — Совета старост.

Повестка: явиться в участок. В участке — зеленый листок: о розыске «студента университета Евгения Иванова Замятина», на предмет высылки из Петербурга. Честно заявляю, что в университете никогда не был и что в листке, очевидно, ошибка. Помню нос у пристава — крючком, знаком вопроса: «Гм… Придется навести справки». Тем временем я переселяюсь в другой район: там через полгода — снова повестка, зеленый листок, «студент университета», знак вопроса и справки. Так — пять лет, до 1911 года, когда наконец ошибка в зеленом листке была исправлена и меня выдворили из Петербурга.

В 1908 году кончил Политехнический институт по кораблестроительному факультету, был остав-

лен при кафедре корабельной архитектуры (с 1911 года — преподавателем по этому предмету). Одновременно с листами проекта башенно-палубного судна — на столе у меня лежали листки моего первого рассказа. Отправил его в «Образование», которое редактировал Острогорский; беллетристикой ведал Арцыбашев. Осенью 1908 года рассказ в «Образовании» был напечатан. Когда я встречаюсь сейчас с людьми, которые читали этот рассказ, мне так же неловко, как при встречах с одной моей тетушкой, у которой я, двухлетний, однажды публично промочил платье.

Три следующих года — корабли, корабельная архитектура, логарифмическая линейка, чертежи, постройки, специальные статьи в журналах «Теплоход», «Русское Судоходство», «Известия Политехнического Института». Много связанных с работой поездок по России: Волга вплоть до Царицына, Астрахани, Кама, Донецкий район, Каспийское море, Архангельск, Мурман, Кавказ, Крым.

В эти же годы среди чертежей и цифр — несколько рассказов. В печать их не отдавал: в каждом мне еще чувствовалось какое-то «не то». «То» нашлось в 1911 году. В этом году были

удивительные белые ночи, было много очень белого и очень темного. И в этом году — высылка, тяжелая болезнь, нервы перетерлись, оборвались. Жил сначала на пустой даче в Сестрорецке, потом, зимою, — в Лахте. Здесь — в снегу, одиночестве, тишине — «Уездное». После «Уездного» — сближение с группой «Заветов», Ремизовым, Пришвиным, Ивановым-Разумником.

В 1913 году (трехсотлетие Романовых) — получил право жить в Петербурге. Теперь из Петербурга выслали врачи. Уехал в Николаев, построил там несколько землечерпалок, несколько рассказов и повесть «На куличках». По напечатании ее в «Заветах» книга журнала была конфискована цензурой, редакция и автор привлечены к суду. Судили незадолго до февральской революции: оправдали.

Зима 1915/16 года — опять какая-то метельная, буйная — кончается дуэльным вызовом в январе, а в марте — отъездом в Англию.

До этого на Западе был только в Германии, Берлин показался конденсированным, 80%-ным Петербургом. В Англии другое: в Англии все было так же ново и странно, как когда-то в Александрии, в Иерусалиме.

Здесь — сперва железо, машины, чертежи: стро-

ил ледоколы в Глазго, Нью-Кастле, Сэндэрланде, Саус-Шилдсе (между прочим, один из наших самых крупных ледоколов — «Ленин»). Немцы сыпали сверху бомбы с цеппелинов и аэропланов. Я писал «Островитян».

Когда в газетах запестрели жирные буквы: «Revolution in Russia», «Abdikation of Russian Tzar» — в Англии стало невмочь, и в сентябре 1917 года на стареньком английском пароходишке (не жалко, если потопят немцы) я вернулся в Россию. Шли до Бергена долго, часов пятьдесят, с потушенными огнями, в спасательных поясах, шлюпки наготове.

Веселая, жуткая зима 17–18 года, когда все сдвинулось, поплыло куда-то в неизвестность. Корабли-дома, выстрелы, обыски, ночные дежурства, домовые клубы. Позже — бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки верст в день, буржуйка, селедки, смолотый на кофейной мельнице овес. И рядом с овсом — всяческие всемирные затеи: издать всех классиков всех времен и всех народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира. Тут уж было не до чертежей — практическая техника засохла и отломилась от меня, как желтый лист (от техники осталось

только преподавание в Политехническом институте). И одновременно: чтение курса новейшей русской литературы в Педагогическом институте имени Герцена (1920–1921), курс техники художественной прозы в Студии Дома искусств, работа в Редакционной коллегии «Всемирной литературы», в Правлении Всероссийского союза писателей, в Комитете Дома литераторов, в Совете Дома искусств, в Секции Исторических картин НТО, в издательстве Гржебина «Алконост», «Петрополис», «Мысль», редактирование журналов «Дом Искусств», «Современный Запад», «Русский Современник». Писал в эти годы сравнительно мало; из крупных вещей — роман «Мы», в 1925 году вышедший по-английски, потом — в переводе на другие языки; по-русски этот роман еще не печатался.

В 1925 году — измена литературе: театр, пьесы «Блоха» и — «Общество Почетных Звонарей». «Блоха» была показана в первый раз в МХАТе 2-м в феврале 1925 года, «Общество Почетных Звонарей» — в б. Михайловском театре в Ленинграде в ноябре 1925 года. Новая пьеса — трагедия «Аттила» — закончена в 1928 году. В «Аттиле» — дошел до стихов. Дальше идти некуда, возвращаюсь к роману, к рассказам.

Думаю, что если бы в 1917 году не вернулся из Англии, если бы все эти годы не прожил вместе с Россией — больше не мог бы писать. Видел много: в Петербурге, в Москве — в захолустье — Тамбовском, в деревне — Вологодской, Псковской, в теплушках.

Так замкнулся круг. Еще не знаю, не вижу, какие кривые в моей жизни дальше.

‹1928›

Мы
Роман



Запись 1-я.
Конспект:

ОБЪЯВЛЕНИЕ. МУДРЕЙШАЯ ИЗ ЛИНИЙ. ПОЭМА



Я просто списываю — слово в слово — то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:

«Через 120 дней заканчивается постройка *ИНТЕГРАЛА*. Близок великий, исторический час, когда первый *ИНТЕГРАЛ* взовьется в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклян-

ным, электрическим, огнедышащим *ИНТЕГРАЛОМ* проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах – быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия мы испытываем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем нумерам Единого Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесет *ИНТЕГРАЛ*.

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют нумера, да здравствует Благодетель!»

Я пишу это — и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнуть дикую кривую, вы-

прямить ее по касательной — асимптоте — по прямой. Потому что линия Единого Государства — это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая — мудрейшая из линий…

Я, Д-503, строитель *Интеграла*, — я только один из математиков Единого Государства. Мое, привычное к цифрам, перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю — точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет — верю и знаю.

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового — еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно — не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом — с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.

Но я готов, так же, как каждый, — или почти каждый из нас. Я готов.

Запись 2-я.
Конспект:

БАЛЕТ. КВАДРАТНАЯ ГАРМОНИЯ. ИКС

Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы — ежеминутно проводишь по ним языком — и, должно быть, сладкие губы у всех встречных женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.

Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупо толкущиеся кучи пара). Я люблю — уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим — только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни — весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубь вещей, какие-то неведомые дотоле, изумительные их уравнения — видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится *Интеграл*, — и вдруг увидел

станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем.

И дальше — сам с собою: почему — красиво? Почему танец — красив? Ответ: потому что это *не свободное* движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы в теперешней нашей жизни — только сознательно…

Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я подымаю глаза: О-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.

Милая О! — мне всегда это казалось — что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской Нормы — и оттого вся кругло обточенная, и розовое О — рот — раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая

складочка на запястье руки — такие бывают у детей.

Когда она вошла, еще вовсю во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.

— Чудесно. Не правда ли? — спросил я.

— Да, чудесно. Весна, — розово улыбнулась мне О-90.

Ну вот, не угодно ли: весна… Она — о весне. Женщины… Я замолчал.

Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, музыкальный завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли нумера — сотни, тысячи нумеров, в голубоватых юнифах[6], с золотыми бляхами на груди — государственный нумер каждого и каждой. И я — мы, четверо, — одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, — он, вероятно, назвал бы ее этим

---

[6] Примечания: 6
Вероятно, от древнего «Uniforme».

смешным словом «моя»); справа — два каких-то незнакомых нумера, женский и мужской.

Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, не омраченные безумием мыслей лица… Лучи — понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени и с каждой ступенью — вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву…

И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни — увидел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я — именно я — победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин…

А затем мгновение — прыжок через века с + на — . Мне вспомнилась (очевидно, ассоциация по контрасту) — мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, ко-

лес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц… И ведь, говорят, это на самом деле было — это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.

И тотчас же эхо — смех — справа. Обернулся: в глаза мне — белые — необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.

— Простите, — сказала она, — но вы так вдохновенно все озирали — как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно…

Все это — без улыбки, я бы даже сказал — с некоторой почтительностью (может быть, ей известно, что я — строитель *Интеграла*). Но не знаю — в глазах или бровях — какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение.



Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним…

— Но почему же — непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть — можно перекинуть мостик…

Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги — ведь это тоже было — и, следовательно…

— Ну, да: ясно! — крикнул (это было поразительное пересечение мыслей: она — почти моими же словами — то, что я записывал перед прогулкой). — Понимаете: даже мысли. Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы…

Она:

— Вы уверены?

Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови — как острые рожки икса, опять почему-то сбился, взглянул направо, налево — и…

Направо от меня — она, тонкая, резкая, упрямогибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее нумер); налево — О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке; и с краю нашей четверки — неизвестный мне мужской нумер

— какой-то дважды изогнутый, вроде буквы S. Мы все были разные…

Эта, справа, I-330, перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд — и со вздохом:

— Да… Увы!

В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе…

Я — с необычайной для меня резкостью — сказал:

— Ничего не «увы». Наука растет, и ясно — если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет…

— Даже носы у всех…

— Да, носы, — я уже почти кричал. — Раз есть — все равно какое основание для зависти… Раз у меня нос пуговицей, а у другого…

— Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки… Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!

Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые — какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и — по возможности посторонним голосом — сказал:

— Обезьяньи.

Она взглянула на руки, потом на лицо:

— Да это прелюбопытный аккорд. — Она при-

кидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.

— Он записан на меня, — радостно-розово открыла рот О-90.

Уж лучше бы молчала — это было совершенно ни к чему. Вообще, эта милая О… как бы сказать… у ней неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот.

В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I-330 уходила вместе с тем, S-образным мужским нумером. У него такое — внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его — сейчас не вспомню.

На прощание I — все так же иксово — усмехнулась мне:

— Загляните послезавтра в аудиториум 112.

Я пожал плечами:

— Если у меня будет наряд — именно на тот аудиториум, какой вы назвали…

Она с какой-то непонятной уверенностью:

— Будет.

На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в урав-

нение неразложимый иррациональный член. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоем с милой О.

Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне — налево.

— Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас… — робко подняла на меня О круглые, сине-хрустальные глаза.

Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день — послезавтра. Это просто все то же самое ее «опережение мысли» — как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.

При расставании я два… нет, буду точен: три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облачком, глаза.

Запись 3-я.
Конспект:

ПИДЖАК. СТЕНА. СКРИЖАЛЬ

Просмотрел все написанное вчера — и вижу: я писал недостаточно ясно. То есть все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать: быть может, вы, неведомые, кому *Интеграл* принесет

мои записки, может быть, вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель. Мне смешно — и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно, как если бы писателю какого-нибудь, скажем 20-го, века в своем романе пришлось объяснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». А впрочем, если его роман переведен для дикарей — разве мыслимо обойтись без примечаний насчет «пиджака»?

Я уверен, дикарь глядел на «пиджак» и думал: «Ну, к чему это? Только обуза». Мне кажется, точь-в-точь так же будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времен Двухсотлетней Войны не был за Зеленой Стеною.

Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно: вся человеческая история, сколько мы ее знаем, это история перехода от кочевых форм к все более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) — есть вместе с тем и наиболее совершенная (наша). Если люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена

доисторические, когда были нации, войны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно?

Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не без труда и не сразу. Когда во время Двухсотлетней Войны все дороги разрушились и заросли травой — первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных один от другого зелеными дебрями. Но что же из этого? После того как у человека отвалился хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь — можете вы себе вообразить, что у вас — хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице — голым, без «пиджака» (возможно, что вы еще разгуливаете в «пиджаках»). Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зеленой Стеною, не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали.

Скрижаль… Вот сейчас со стены у меня в комнате сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы

достойно воспеть тебя, о Скрижаль, о сердце и пульс Единого Государства.

Все мы (а может быть, и вы) еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы — «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалью — и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же — С, углерод, — но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по страницам «Расписания». Но Часовая Скрижаль каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту, — мы, миллионы, встаем, как один. В один и тот же час, единомиллионно, начинаем работу — единомиллионно кончаем. И, сливаясь в единое, миллионорукое тело, в одну и ту же, назначенную Скрижалью, секунду, — мы подносим ложки ко рту, — и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал Тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну…

Буду вполне откровенен: абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день — от 16 до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это

установленные Скрижалью — Личные Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних — целомудренно спущены шторы, другие мерно, по медным ступеням Марша — проходят проспектом, третьи — как я сейчас — за письменным столом. Но я твердо верю — пусть назовут меня идеалистом и фантазером — я верю: раньше или позже — но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле, когда-нибудь все 86 400 секунд войдут в Часовую Скрижаль.

Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, то есть неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя — пусть даже зачаточная государственная власть, могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей Скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать когда им взбредет в голову; некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.

Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь

была самым настоящим поголовным убийством — только медленным, изо дня в день. Государство (гуманность) запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, то есть уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, — это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет — это не преступно. Ну, разве не смешно? У нас эту математически-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний нумер; у них не могли — все их Канты вместе (потому, что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, то есть основанной на вычитании, сложении, делении, умножении).

А это — разве не абсурд, что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь. Кто, когда и сколько хотел… Совершенно ненаучно, как звери.

И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куроводство, рыбоводство (у нас есть точные данные, что они знали все это) и не суметь дойти до последней ступени этой логической лестницы: детоводства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской Норм.

Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и боюсь: а вдруг вы, неведомые читатели, сочтете меня за злого шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиздеваться над вами и с серьезным видом рассказываю совершеннейшую чушь.

Но первое: я не способен на шутки — во всякую шутку неявной функцией входит ложь; и второе: Единая Государственная Наука утверждает, что жизнь древних была именно такова, а Единая Государственная Наука ошибаться не может. Да и откуда тогда было бы взяться государственной логике, когда люди жили в состоянии свободы, то есть зверей, обезьян, стада. Чего можно требовать от них, если даже и в наше время — откуда-то со дна, из мохнатых глубин — еще изредка слышно дикое, обезьянье эхо.

К счастью — только изредка. К счастью — это только мелкие аварии деталей: их легко ремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей Машины. И для того чтобы выкинуть вон погнувшийся болт — у нас есть искусная, тяжкая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей…

Да, кстати, теперь вспомнил: это вчерашний, дважды изогнутый, как S, — кажется, мне случа-

лось видать его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда эта странная I при нем… Должен сознаться, что эта I…

Звонят спать: 22.30. До завтра.

Запись 4-я.
Конспект:

ДИКАРЬ С БАРОМЕТРОМ. ЭПИЛЕПСИЯ. ЕСЛИ БЫ

До сих пор мне в жизни было ясно (недаром же у меня, кажется, некоторое пристрастие к этому самому слову «ясно»). А сегодня… Не понимаю.

Первое: я действительно получил наряд быть именно в аудиториуме 112, как она мне и говорила.

Хотя вероятность была — $\frac{1500}{10\,000\,000} = \frac{3}{20\,000}$

(1500 — это число аудиториумов, 10 000 000 — нумеров). А второе… Впрочем, лучше по порядку.

Аудиториум. Огромный, насквозь просолнеченный полушар из стеклянных массивов.

Циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов. С легким замиранием сердца я огляделся кругом. Думаю, я искал: не блеснет ли где над голубыми волнами юниф розовый серп — милые губы О. Вот чьи-то необычайно белые и острые зубы, похожие… нет, не то. Нынче вечером, в 21, О придет ко мне — желание увидеть ее здесь было совершенно естественно.

Вот — звонок. Мы встали, спели Гимн Единого Государства — и на эстраде сверкающий золотым громкоговорителем и остроумием фонолектор.

— Уважаемые нумера! Недавно археологи откопали одну книгу 20-го века. В ней иронический автор рассказывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил: всякий раз, как барометр останавливался на «дожде», — действительно шел дождь. И так как дикарю захотелось дождя, то он повыковырял ровно столько ртути, чтобы уровень стал на «дождь» (на экране — дикарь в перьях, выколупывающий ртуть: смех). Вы смеетесь: но не кажется ли вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи. Так же, как и дикарь, европеец хотел «дождя», — дождя с прописной буквы, дождя алгебраического. Но он стоял перед барометром мокрой курицей. У дикаря, по крайней мере, было больше смелости

и энергии и — пусть дикой — логики: он сумел установить, что есть связь между следствием и причиной. Выковыряв ртуть, он сумел сделать первый шаг на том великом пути, по которому…

Тут (повторяю: я пишу, ничего не утаивая) — тут я на некоторое время стал как бы непромокаемым для живительных потоков, лившихся из громкоговорителей. Мне вдруг показалось, что я пришел сюда напрасно (почему «напрасно» и как я мог не прийти, раз был дан наряд?); мне показалось — все пустое, одна скорлупа. И я с трудом включил внимание только тогда, когда фонолектор перешел уже к основной теме: к нашей музыке, к математической композиции (математик — причина, музыка — следствие), к описанию недавно изобретенного музыкометра.

— … Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось это вашим предкам. Они могли творить, только доведя себя до припадков «вдохновения» — неизвестная форма эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что у них получалось, — музыка Скрябина — 20-й век. Этот черный ящик (на эстраде раздвинули занавес и там их древнейший инструмент) — этот ящик они называли «рояльным» или «королевским»,

что лишний раз доказывает, насколько вся их музыка…

И дальше — я опять не помню, очень возможно, потому что… Ну, да, скажу прямо: потому что к «рояльному» ящику подошла она — I-330. Вероятно, я был просто поражен этим ее неожиданным появлением на эстраде.

Она была в фантастическом костюме древней эпохи: плотно облегающее черное платье, остро подчеркнуто белое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся от дыхания тень между… и ослепительные, почти злые зубы…

Улыбка — укус, сюда — вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, — ни тени разумной механичности. И, конечно, они, кругом меня, правы: все смеются. Только немногие… но почему же и я — я?

Да, эпилепсия — душевная болезнь — боль… Медленная, сладкая боль — укус — и чтобы еще глубже, еще больнее. И вот, медленно — солнце. Не наше, не это голубовато-хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи — нет: дикое, несущееся, опаляющее солнце — долой все с себя — все в мелкие клочья.

Сидевший рядом со мной покосился влево — на меня — и хихикнул. Почему-то очень отчетливо

запомнилось: я увидел — на губах у него выскочил микроскопический слюнный пузырек и лопнул. Этот пузырек отрезвил меня. Я — снова я.

Как и все — я слышал только нелепую, суетливую трескотню струн. Я смеялся. Стало легко и просто. Талантливый фонолектор слишком живо изобразил нам эту дикую эпоху — вот и все.

С каким наслаждением я слушал затем нашу теперешнюю музыку. (Она продемонстрирована была в конце — для контраста.) Хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов — и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклорена; целотонные, квадратно-грузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-колебательного движения; переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты — спектральный анализ планет… Какое величие! Какая незыблемая закономерность! И как жалка своевольная, ничем — кроме диких фантазий — не ограниченная музыка древних.

Как обычно, стройными рядами, по четыре через широкие двери все выходили из аудиториума. Мимо мелькнула знакомая двоякоизогнутая фигура; я почтительно поклонился.

Через час должна прийти милая О. Я чувствовал

себя приятно и полезно взволнованным. Дома — скорей в контору, сунул дежурному свой розовый билет и получил удостоверение на право штор. Это право у нас — только для сексуальных дней. А так среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен — мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом. Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд Хранителей. Иначе мало ли бы что могло быть. Возможно, что именно странные, непрозрачные обиталища древних породили эту их жалкую клеточную психологию. «Мой (sic![7]) дом — моя крепость» — ведь нужно же было додуматься!

В 21 я опустил шторы — и в ту же минуту вошла немного запыхавшаяся О. Протянула мне свой розовый ротик — и розовый билетик. Я оторвал талон — и не мог оторваться от розового рта до самого последнего момента– 22.15.

Потом показал ей свои «записи» и говорил — кажется, очень хорошо — о красоте квадрата, куба, прямой. Она так очаровательно-розово слушала — и вдруг из синих глаз слеза, другая, третья, — прямо на раскрытую страницу (стр. 7-я). Чернила

---

[7] Примечания: 7
Так! *(лат.)*

расплылись. Ну вот, придется переписывать.

— Милый Дэ, если бы только вы — если бы…

Ну что «если бы»? Что «если бы»? Опять ее старая песня: ребенок. Или, может быть, что-нибудь новое — относительно… относительно той? Хотя уж тут как будто… Нет, это было бы слишком нелепо.

Запись 5-я.
Конспект:

КВАДРАТ. ВЛАДЫКИ МИРА. ПРИЯТНО-ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ

Опять не то. Опять с вами, неведомый мой читатель, я говорю так, как будто вы… Ну, скажем, старый мой товарищ, R-13, поэт, негрогубый, — ну да все его знают. А между тем вы — на Луне, на Венере, на Марсе, на Меркурии — кто вас знает, где вы и кто.

Вот что: представьте себе — квадрат, живой, прекрасный квадрат. И ему надо рассказать о себе, о своей жизни. Понимаете — квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит — настолько это для него привычно, ежедневно. Вот и я все время в этом квадратном положении. Ну, хоть бы розовые талоны и все с

ними связанное: для меня это — равенство четырех углов, но для вас это, может быть, почище, чем бином Ньютона.

Так вот. Какой-то из древних мудрецов, разумеется случайно, сказал умную вещь: «Любовь и голод владеют миром». Ergo[8]: чтобы овладеть миром — человек должен овладеть владыками мира. Наши предки дорогой ценой покорили наконец Голод: я говорю о Великой Двухсотлетней Войне — о войне между городом и деревней. Вероятно, из религиозных предрассудков дикие христиане упрямо держались за свой «хлеб»[9]. Но в 35-м году до основания Единого Государства — была изобретена наша теперешняя нефтяная пища. Правда, выжило только 0,2 населения земного шара. Но зато — очищенное от тысячелетней грязи — каким сияющим стало лицо земли. И зато эти ноль целых и две десятых вкусили блаженство в чертогах Единого Государства.

Но не ясно ли: блаженство и зависть — это числитель и знаменатель дроби, именуемой счастьем. И какой был бы смысл во всех бесчис-

---

[8] Примечания: 8

Следовательно *(лат.)*.

[9] Примечания: 9

Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры: химический состав этого вещества нам неизвестен.

ленных жертвах Двухсотлетней Войны, если бы в нашей жизни все-таки еще оставался повод для зависти. А он оставался потому, что оставались носы «пуговицей» и носы «классические» (наш тогдашний разговор на прогулке) потому что любви одних добивались многие, других — никто.

Естественно, что, подчинив себе Голод (алгебраически = сумме внешних благ), Единое Государство повело наступление против другого владыки мира — против Любви. Наконец и эта стихия была тоже побеждена, то есть организована, математизирована, и около 300 лет назад был провозглашен наш исторический «Lex sexualis»: «всякий из нумеров имеет право — как на сексуальный продукт — на любой нумер».

Ну, дальше — там уж техника. Вас тщательно исследуют в лабораториях Сексуального Бюро, точно определяют содержание половых гормонов в крови — и вырабатывают для вас соответствующий Табель сексуальных дней. Затем вы делаете заявление, что в свои дни желаете пользоваться нумером таким-то (или таким-то) и получаете надлежащую талонную книжку (розовую). Вот и все.

Ясно: поводов для зависти — нет уже никаких,

знаменатель дроби счастья приведен к нулю — дробь превращается в великолепную бесконечность. И то самое, что для древних было источником бесчисленных глупейших трагедий — у нас приведено к гармонической, приятно-полезной функции организма, так же, как сон, физический труд, прием пищи, дефекация и прочее. Отсюда вы видите, как великая сила логики очищает все, чего бы она ни коснулась. О, если бы и вы, неведомые, познали эту божественную силу, если бы и вы научились идти за ней до конца.

… Странно: я писал сегодня о высочайших вершинах в человеческой истории, я все время дышал чистейшим горным воздухом мысли, — а внутри как-то облачно, паутинно, и крестом — какой-то четырехлапый икс. Или это — мои лапы, и все оттого, что они были долго у меня перед глазами — мои лохматые лапы. Я не люблю говорить о них — и не люблю их: это след дикой эпохи. Неужели во мне действительно —

Хотел зачеркнуть все это — потому что это выходит из пределов конспекта. Но потом решил: не зачеркну. Пусть мои записи — как тончайший сейсмограф — дадут кривую даже самых незначительных мозговых колебаний: ведь иногда

именно такие колебания служат предвестником —

А вот уже абсурд, это уж действительно следовало бы зачеркнуть: нами введены в русло все стихии — никаких катастроф не может быть.

И мне теперь совершенно ясно: странное чувство внутри — все от того же самого моего квадратного положения, о каком я говорил вначале. И не во мне икс (этого не может быть) — просто я боюсь, что какой-нибудь икс останется в вас, неведомые мои читатели. Но я верю — вы не будете слишком строго судить меня. Я верю — вы поймете, что мне так трудно писать, как никогда ни одному автору на протяжении всей человеческой истории: одни писали для современников, другие — для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким, отдаленным предкам…

Запись 6-я.
Конспект:

СЛУЧАЙ. ПРОКЛЯТОЕ «ЯСНО». 24 ЧАСА

Повторяю: я вменил себе в обязанность писать, ничего не утаивая. Поэтому, как ни грустно, должен отметить здесь, что, очевидно, даже у нас процесс отвердения, кристаллизации жизни еще

не закончился, до идеала — еще несколько ступеней. Идеал (это ясно) — там, где уже ничего не случается, а у нас… Вот, не угодно ли: в Государственной Газете сегодня читаю, что на площади Куба через два дня состоится праздник Правосудия. Стало быть, опять какой-то из нумеров нарушил ход великой Государственной Машины, опять случилось что-то непредвиденное, непредвычислимое.

И кроме того — нечто случилось со мной. Правда, это было в течение Личного Часа, то есть в течение времени, специально отведенного для непредвиденных обстоятельств, но все же…

Около 16 (точнее, без десяти 16) я был дома. Вдруг — телефон:

— Д-503? — женский голос.

— Да.

— Свободны?

— Да.

— Это я, I-330. Я сейчас залечу за вами, и мы отправимся в Древний Дом. Согласны?

I-330… Эта I меня раздражает, отталкивает — почти пугает. Но именно потому-то я и сказал: да.

Через 5 минут мы были уже на аэро. Синяя майская майолика неба и легкое солнце на своем золотом аэро жужжит следом за нами, не обгоняя

и не отставая. Но там, впереди, белеет бельмом облако, нелепое, пухлое — как щеки старинного «купидона» — и это как-то мешает. Переднее окошко поднято, ветер, сохнут губы — поневоле их все время облизываешь и все время думаешь о губах.

Вот уже видны издали мутно-зеленые пятна — там, за Стеною. Затем легкое, невольное замирание сердца — вниз, вниз, вниз — как с крутой горы — и мы у Древнего Дома.

Все это странное, хрупкое, слепое сооружение одето кругом в стеклянную скорлупу: иначе оно, конечно, давно бы уже рухнуло. У стеклянной двери — старуха, вся сморщенная — и особенно рот: одни складки, сборки, губы уже ушли внутрь, рот как-то зарос — и было совсем невероятно, чтобы она заговорила. И все же — заговорила.

— Ну, что, милые, домик мой пришли поглядеть? — И морщины засияли (то есть, вероятно, сложились лучеобразно, что и создало впечатление «засияли»).

— Да, бабушка, опять захотелось, — сказала ей I.

Морщинки сияли.

— Солнце-то, а? Ну, что, что? Ах, проказница, ах, проказница! Зна-ю, знаю! Ну ладно: одни идите,

я уж лучше тут, на солнце…

Гм… Вероятно, моя спутница — тут частый гость. Мне хочется что-то с себя стряхнуть — мешает: вероятно, все тот же неотвязный зрительный образ: облако на гладкой синей майолике.

Когда поднимались по широкой, темной лестнице, I сказала:

— Люблю я ее — старуху эту.

— За что?

— А не знаю. Может быть — за ее рот. А может быть — ни за что. Просто так.

Я пожал плечами. Она продолжала — улыбаясь чуть-чуть, а может быть, даже совсем не улыбаясь:

— Я чувствую себя очень виноватой. Ясно, что должна быть не «просто-так-любовь», а «потому-что-любовь». Все стихии должны быть…

— Ясно… — начал я — тотчас же поймал себя на этом слове и украдкой заглянул на I: заметила или нет?

Она смотрела куда-то вниз; глаза были опущены — как шторы.

Вспомнилось: вечером, около 22, проходишь по проспекту, и среди ярко освещенных прозрачных клеток — темные с опущенными шторами и там, за шторами — Что у ней там, за шторами? Зачем

она сегодня позвонила и зачем все это?

Я открыл тяжелую, скрипучую, непрозрачную дверь — и мы в мрачном, беспорядочном помещении (это называлось у них «квартира»). Тот, самый странный, «королевский» музыкальный инструмент — и дикая, неорганизованная, сумасшедшая — как тогдашняя музыка — пестрота красок и форм. Белая плоскость — вверху; темно-синие стены; красные, зеленые, оранжевые переплеты древних книг; желтая бронза — канделябры, статуя Будды; исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения — линии мебели.

Я с трудом выносил этот хаос. Но у моей спутницы был, по-видимому, более крепкий организм.

— Это — самая моя любимая… — и вдруг будто спохватилась — укус-улыбка, белые острые зубы. — Точнее: самая нелепая из всех их «квартир».

— Или, еще точнее: государств, — поправил я. — Тысячи микроскопических, вечно воюющих государств, беспощадных, как…

— Ну да, ясно… — по-видимому, очень серьезно сказала I.

Мы прошли через комнату, где стояли маленькие, детские кровати (дети в ту эпоху были тоже

частной собственностью). И снова — комнаты, мерцание зеркал, угрюмые шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный «камин», большая, красного дерева кровать. Наше теперешнее — прекрасное, прозрачное, вечное — стекло было только в виде жалких, хрупких квадратиков-окон.

— И подумать: здесь «просто-так-любили», горели, мучились… (опять опущенная штора глаз). — Какая нелепая, нерасчетливая трата человеческой энергии, — не правда ли?

Она говорила как-то из меня, говорила мои мысли. Но в улыбке у ней был все время этот раздражающий икс. Там, за шторами, в ней происходило что-то такое — не знаю что, — что выводило меня из терпения; мне хотелось спорить с ней, кричать на нее (именно так), но приходилось соглашаться — не согласиться было нельзя.

Вот — остановились перед зеркалом. В этот момент — я видел только ее глаза. Мне пришла идея: ведь человек устроен так же дико, как эти вот нелепые «квартиры» — человеческие головы непрозрачны, и только крошечные окна внутри: глаза. Она как будто угадала — обернулась. «Ну — вот мои глаза. Ну?» (Это, конечно, молча.)

Передо мною — два жутко-темные окна, и внут-

ри такая неведомая, чужая жизнь. Я видел только огонь — пылает там какой-то свой «камин» — и какие-то фигуры, похожие…

Это, конечно, было естественно: я увидел там отраженным себя. Но было неестественно и непохоже на меня (очевидно, это было удручающее действие обстановки) — я определенно почувствовал страх, почувствовал себя пойманным, посаженным в эту дикую клетку, почувствовал себя захваченным в дикий вихрь древней жизни.

— Знаете что, — сказала I, — выйдите на минуту в соседнюю комнату. — Голос ее был слышен оттуда, изнутри, из-за темных окон глаз, где пылал камин.

Я вышел, сел. С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносая асимметрическая физиономия какого-то из древних поэтов (кажется, Пушкина). Отчего я сижу вот — и покорно выношу эту улыбку, и зачем все это: зачем я здесь — отчего это нелепое состояние? Эта раздражающая, отталкивающая женщина, странная игра…

Там — стукнула дверь шкафа, шуршал шелк, я с трудом удерживался, чтобы не пойти туда, и — точно не помню: вероятно, хотелось наговорить

ей очень резких вещей.

Но она уже вышла. Была в коротком, старинном ярко-желтом платье, черной шляпе, черных чулках. Платье легкого шелка — мне было ясно видно: чулки очень длинные, гораздо выше колен, — и открытая шея, тень между…

— Послушайте, вы, ясно, хотите оригинальничать, но неужели вы…

— Ясно, — перебила I, — быть оригинальным — это значит как-то выделиться среди других. Следовательно, быть оригинальным — это нарушить равенство… И то, что на идиотском языке древних называлось «быть банальным» — у нас значит: только исполнять свой долг. Потому что…

— Да, да, да! Именно. — Я не выдержал. — И вам нечего, нечего…

Она подошла к статуе курносого поэта и, завесив шторой дикий огонь глаз — там, внутри, за своими окнами, — сказала, на этот раз, кажется, совершенно серьезно (может быть, чтобы смягчить меня) — сказала очень разумную вещь:

— Не находите ли вы удивительным, что когда-то люди терпели вот таких вот? И не только терпели — поклонялись им. Какой рабский дух! Не правда ли?

— Ясно… То есть я хотел… (это проклятое «ясно»!).

— Ну да, я понимаю. Но ведь, в сущности, это были владыки посильнее их коронованных. Отчего они не изолировали, не истребили их? У нас…

— Да, у нас… — начал я.

И вдруг она — рассмеялась. Я просто вот видел глазами этот смех: звонкую, крутую, гибко-упругую, как хлыст, кривую этого смеха.

Помню — я весь дрожал. Вот — ее схватить — и уж не помню что… Надо было что-нибудь — все равно что — сделать. Я машинально раскрыл свою золотую бляху, взглянул на часы. Без десяти 17.

— Вы не находите, что уже пора? — сколько мог вежливо сказал я.

— А если бы я вас попросила — остаться здесь со мной?

— Послушайте: вы… вы сознаете, что говорите? Через десять минут я обязан быть в аудиториуме…

— … И все нумера обязаны пройти установленный курс искусства и наук… — моим голосом сказала I. Потом отдернула штору — подняла глаза: сквозь темные окна — пылал камин. — В Медицинском Бюро у меня есть один врач — он

записан на меня. И если я попрошу — он выдаст вам удостоверение, что вы были больны. Ну?

Я понял. Я наконец понял, куда вела вся эта игра.

— Вот даже как! А вы знаете, что, как всякий честный нумер, я, в сущности, должен немедленно отправиться в Бюро Хранителей и…

— А не в сущности, — (острая улыбка-укус). — Мне страшно любопытно: пойдете вы в Бюро или нет?

— Вы остаетесь? — Я взялся за ручку двери. Ручка была медная — и я слышал: такой же медный у меня голос.

— Одну минутку… Можно?

Она подошла к телефону. Назвала какой-то нумер — я был настолько взволнован, что не запомнил его, — и крикнула:

— Я буду вас ждать в Древнем Доме. Да, да, одна…

Я повернул медную холодную ручку.

— Вы позволите мне взять аэро?

— О, да, конечно! Пожалуйста…

Там, на солнце, у выхода — как растение, дремала старуха. Опять было удивительно, что раскрылся ее заросший наглухо рот и что она заговорила.

— А эта ваша — что же, там одна осталась?

— Одна.

Старухин рот снова зарос. Она покачала головой. По-видимому, даже ее слабеющие мозги понимали всю нелепость и рискованность поведения этой женщины.

Ровно в 17 я был на лекции. И тут почему-то вдруг понял, что сказал старухе неправду: I была там теперь не одна. Может быть, именно это — что я невольно обманул старуху — так мучило меня и мешало слушать. Да, не одна: вот в чем дело.

После 21.30 — у меня был свободный час. Можно было бы уже сегодня пойти в Бюро Хранителей и сделать заявление. Но я после этой глупой истории так устал. И потом — законный срок для заявления двое суток. Успею завтра: еще целых 24 часа.

Запись 7-я.
Конспект:

РЕСНИЧНЫЙ ВОЛОСОК. ТЭЙЛОР. БЕЛЕНА И ЛАНДЫШ

Ночь. Зеленое, оранжевое, синее; красный королевский инструмент; желтое, как апельсин, платье. Потом — медный Будда; вдруг поднял мед-

ные веки — и полился сок: из Будды. И из желтого платья — сок, и по зеркалу капли сока, и сочится большая кровать, и детские кроватки, и сейчас я сам — и какой-то смертельно сладостный ужас…

Проснулся: умеренный, синеватый свет; блестит стекло стен, стеклянные кресла, стол. Это успокоило, сердце перестало колотиться. Сок, Будда… что за абсурд? Ясно: болен. Раньше я никогда не видел снов. Говорят, у древних это было самое обыкновенное и нормальное — видеть сны. Ну да: ведь и вся жизнь у них была — вот такая ужасная карусель: зеленое — оранжевое — Будда — сок. Но мы-то знаем, что сны — это серьезная психическая болезнь. И я знаю: до сих пор мой мозг был хронометрически выверенным, сверкающим, без единой соринки механизмом, а теперь… Да, теперь именно так: я чувствую там, в мозгу, — какое-то инородное тело — как тончайший ресничный волосок в глазу: всего себя чувствуешь, а вот этот глаз с волоском — нельзя о нем забыть ни на секунду…

Бодрый, хрустальный колокольчик в изголовии: 7, вставать. Справа и слева, сквозь стеклянные стены я вижу как бы самого себя, свою комнату, свое платье, свои движения — повторенными тысячу раз. Это бодрит: видишь себя

частью огромного, мощного, единого. И такая точная красота: ни одного лишнего жеста, изгиба, поворота.

Да, этот Тэйлор был, несомненно, гениальнейшим из древних. Правда, он не додумался до того, чтобы распространить свой метод на всю жизнь, на каждый шаг, на круглые сутки — он не сумел проинтегрировать своей системы от часу до 24-х. Но все же: как они могли писать целые библиотеки о каком-нибудь там Канте — и едва замечать Тэйлора — этого пророка, сумевшего заглянуть на десять веков вперед.

Кончен завтрак. Стройно пропет Гимн Единого Государства. Стройно, по четыре — к лифтам. Чуть слышное жужжание моторов — и быстро вниз, вниз, вниз — легкое замирание сердца…

И тут вдруг почему-то опять этот нелепый сон — или какая-то неявная функция от этого сна. Ах да, вчера также на аэро — спуск вниз. Впрочем, все это кончено: точка. И очень хорошо, что я был с нею так решителен и резок.

В вагоне подземной дороги я несся туда, где на стапеле сверкало под солнцем еще недвижное, еще не одухотворенное огнем, изящное тело «*Интеграла*». Закрывши глаза, я мечтал формулами: я еще раз мысленно высчитывал, какая нужна

начальная скорость, чтобы оторвать «*Интеграл*» от земли. Каждый атом секунды — масса «*Интеграла*» меняется (расходуется взрывное топливо). Уравнение получалось очень сложное, с трансцендентными величинами.

Как сквозь сон: здесь, в твердом числовом мире, — кто-то сел рядом со мной, кто-то слегка толкнул, сказал «простите».

Я приоткрыл глаза — и сперва (ассоциация от «*Интеграла*») что-то стремительно несущееся в пространство: голова — и она несется, потому что по бокам — оттопыренные розовые крылья-уши. И затем кривая нависшего затылка — сутулая спина — двоякоизогнутое — буква S…

И сквозь стеклянные стены моего алгебраического мира — снова ресничный волосок — что-то неприятное, что я должен сегодня — —

— Ничего, ничего, пожалуйста, — я улыбнулся соседу, раскланялся с ним. На бляхе у него сверкнуло: S-4711 (понятно, почему он с самого первого момента был связан для меня с буквой S: это было не зарегистрированное сознанием зрительное впечатление). И сверкнули глаза — два острых буравчика, быстро вращаясь, ввинчивались все глубже, и вот сейчас довинтятся до самого дна, увидят то, что я даже себе самому…

Вдруг ресничный волосок стал мне совершенно ясен: один из них, из Хранителей, и проще всего, не откладывая, сейчас же сказать ему все.

— Я, видите ли, вчера был в Древнем Доме… — Голос у меня странный, приплюснутый, плоский — я пробовал откашляться.

— Что же, отлично. Это дает материал для очень поучительных выводов.

— Но, понимаете — был не один, я сопровождал нумер I-330, и вот…

— I-330? Рад за вас. Очень интересная, талантливая женщина. У нее много почитателей.

… Но ведь и он — тогда на прогулке — и, может быть, он даже записан на нее? Нет, ему об этом — нельзя, немыслимо: это ясно.

— Да, да! Как же, как же! Очень, — я улыбался все шире, нелепей и чувствовал: от этой улыбки я голый, глупый…

Буравчики достали во мне до дна, потом, быстро вращаясь, взвинтились обратно в глаза; S — двояко улыбнулся, кивнул мне, проскользнул к выходу.

Я закрылся газетой (мне казалось — все на меня смотрят) и скоро забыл о ресничном волоске, о буравчиках, обо всем: так взволновало меня прочитанное. Одна короткая строчка: «По досто-

верным сведениям, вновь обнаружены следы до сих пор неуловимой организации, ставящей себе целью освобождение от благодетельного ига Государства».

«Освобождение»? Изумительно: до чего в человеческой породе живучи преступные инстинкты. Я сознательно говорю: «преступные». Свобода и преступление так же неразрывно связаны между собой, как… ну как движение аэро и его скорость: скорость аэро = 0, и он не движется; свобода человека = 0, и он не совершает преступлений. Это ясно. Единственное средство избавить человека от преступлений — это избавить его от свободы. И вот едва мы от этого избавились (в космическом масштабе века — это, конечно, «едва»), как вдруг какие-то жалкие недоумки…

Нет, не понимаю: почему я немедленно, вчера же, не отправился в Бюро Хранителей. Сегодня после 16 — иду туда непременно…

В 16.10 вышел — и тотчас же на углу увидал О — всю в розовом восторге от этой встречи. «Вот у нее простой круглый ум. Это кстати: она поймет и поддержит меня…» Впрочем, нет: в поддержке я не нуждался: я решил твердо.

Стройно гремели Марш трубы Музыкального Завода — все тот же ежедневный марш. Какое

неизъяснимое очарование в этой ежедневности, повторяемости, зеркальности!

О схватила меня за руку.

— Гулять, — круглые синие глаза мне широко раскрыты — синие окна внутрь, — и я проникаю внутрь, ни за что не зацепляясь: ничего — внутри, то есть ничего постороннего, ненужного.

— Нет, не гулять. Мне надо… — я сказал ей куда.

И, к изумлению своему, увидел: розовый круг рта — сложился в розовый полумесяц, рожками книзу — как от кислого. Меня взорвало.

— Вы, женские нумера, кажется, неизлечимо изъедены предрассудками. Вы совершенно неспособны мыслить абстрактно. Извините меня — но это просто тупость.

— Вы — идете к шпионам… Фу! А я было достала для вас в Ботаническом Музее веточку ландышей…

— Почему «А я» — почему это «А»? Совершенно по-женски. — Я сердито (сознаюсь) схватил ее ландыши. — Ну, вот он, ваш ландыш, ну? Нюхайте: хорошо, да? Так имейте же логики хоть на столько вот. Ландыш пахнет хорошо: так. Но ведь не можете же вы сказать о запахе, о самом понятии «запах», что это хорошо или плохо?

Не мо-же-те, ну? Есть запах ландыша — и есть мерзкий запах белены: и то и другое запах. Были шпионы в древнем государстве — и есть шпионы у нас… да, шпионы. Я не боюсь слов. Но ведь ясно же: там шпион — это белена, тут шпион — ландыш. Да, ландыш, да!

Розовый полумесяц дрожал. Сейчас я понимаю: это мне только показалось — но тогда я был уверен, что она засмеется. И я закричал еще громче:

— Да, ландыш. И ничего смешного, ничего смешного.

Круглые, гладкие шары голов плыли мимо — и оборачивались. О ласково взяла меня за руку:

— Вы какой-то сегодня… Вы не больны?

Сон — желтое — Будда… Мне тотчас стало ясно: я должен пойти в Медицинское Бюро.

— Да ведь и правда: я болен, — сказал я очень радостно (тут совершенно необъяснимое противоречие: радоваться было нечему).

— Так вам надо сейчас же идти к врачу. Ведь вы же понимаете: вы обязаны быть здоровым — смешно доказывать вам это.

— Ну, О, милая, — ну конечно же вы правы. Абсолютно правы!

Я не пошел в Бюро Хранителей: делать нечего, пришлось идти в Медицинское Бюро; там меня

задержали до 17.

А вечером (впрочем, все равно — вечером там уже было закрыто) — вечером пришла ко мне О. Шторы не были спущены. Мы решали задачи из старинного задачника: это очень успокаивает и очищает мысли. О-90 сидела над тетрадкой, нагнув голову к левому плечу и от старания подпирая изнутри языком левую щеку. Это было так по-детски, так очаровательно. И так во мне все хорошо, точно, просто…

Ушла. Я один. Два раза глубоко вздохнул (это очень полезно перед сном). И вдруг какой-то непредусмотренный запах — и о чем-то таком очень неприятном… Скоро я нашел: у меня в постели была спрятана веточка ландышей. Сразу же все взвихрилось, поднялось со дна. Нет, это было просто бестактно с ее стороны — подкинуть мне эти ландыши. Ну да: я не пошел, да. Но ведь не виноват же я, что болен.

Запись 8-я.
Конспект:

ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРЕНЬ. R-13. ТРЕУГОЛЬНИК

Это — как давно, в школьные годы, когда со мной случился √-1. Так ясно, вырезанно помню:

светлый шарозал, сотни мальчишеских круглых голов — и Пляпа, наш математик. Мы прозвали его Пляпой: он был уже изрядно подержанный, разболтанный, и когда дежурный вставлял в него сзади штепсель, то из громкоговорителя всегда сначала: «Пля-пля-пля-тшшшш», а потом уже урок. Однажды Пляпа рассказал об иррациональных числах — и, помню, я плакал, бил кулаками об стол и вопил: «Не хочу √-1! Выньте из меня √-1!» Этот иррациональный корень врос в меня, как что-то чужое, инородное, страшное, он пожирал меня — его нельзя было осмыслить, обезвредить, потому что он был вне ratio.

И вот теперь снова √-1. Я пересмотрел свои записи — и мне ясно: я хитрил сам с собой, я лгал себе — только чтобы не увидеть √-1. Это все пустяки — что болен и прочее: я мог пойти туда; неделю назад — я знаю, пошел бы, не задумываясь. Почему же теперь… Почему?

Вот и сегодня. Ровно в 16.10 — я стоял перед сверкающей стеклянной стеной. Надо мной — золотое, солнечное, чистое сияние букв на вывеске Бюро. В глубине сквозь стекла длинная очередь голубоватых юниф. Как лампады в древней церкви — теплятся лица: они пришли, чтобы совершить подвиг, они пришли, чтобы предать

на алтарь Единого Государства своих любимых, друзей — себя. А я — я рвался к ним, с ними. И не могу: ноги глубоко впаяны в стеклянные плиты — я стоял, смотрел тупо, не в силах двинуться с места…

— Эй, математик, замечтался!

Я вздрогнул. На меня — черные, лакированные смехом глаза, толстые, негрские губы. Поэт R-13, старый приятель — и с ним розовая О.

Я обернулся сердито (думаю, если бы они не помешали, я бы в конце концов с мясом вырвал из себя √-1, я бы вошел в Бюро).

— Не замечтался, а уж если угодно — залюбовался, — довольно резко сказал я.

— Ну да, ну да! Вам бы, милейший, не математиком быть, а поэтом, поэтом, да! Ей-ей, переходите к нам — в поэты, а? Ну, хотите — мигом устрою, а?

R-13 говорит захлебываясь, слова из него так и хлещут, из толстых губ — брызги; каждое «п» — фонтан, «поэты» — фонтан.

— Я служу и буду служить знанию, — нахмурился я: шуток я не люблю и не понимаю, а у R-13 есть дурная привычка шутить.

— Ну что там: знание! Знание ваше это самое — трусость. Да уж чего там: верно. Просто вы хотите

стенкой обгородить бесконечное, а за стенку-то и боитесь заглянуть. Да! Выгляните — и глаза зажмурите. Да!

— Стены — это основа всякого человеческого… — начал я.

R — брызнул фонтаном, O — розово, кругло смеялась. Я махнул рукой: смейтесь, все равно. Мне было не до этого. Мне надо было чем-нибудь заесть, заглушить этот проклятый √-1.

— Знаете что, — предложил я, — пойдемте, посидим у меня, порешаем задачки (вспомнился вчерашний тихий час — может быть, такой будет и сегодня).

O взглянула на R; ясно, кругло взглянула на меня, щеки чуть-чуть окрасились нежным, волнующим цветом наших талонов.

— Но сегодня я… У меня сегодня — талон к нему, — кивнула на R, — а вечером он занят… Так что…

Мокрые, лакированные губы добродушно шлепнули:

— Ну чего там: нам с нею и полчаса хватит. Так ведь, O? До задачек ваших — я не охотник, а просто — пойдем ко мне, посидим.

Мне было жутко остаться с самим собой — или, вернее, с этим новым, чужим мне, у кого только

будто по странной случайности был мой нумер — Д-503.

И я пошел к нему, к R. Правда, он не точен, не ритмичен, у него какая-то вывороченная, смешливая логика, но все же мы — приятели. Недаром же три года назад мы с ним вместе выбрали эту милую, розовую О. Это связало нас как-то еще крепче, чем школьные годы.

Дальше — в комнате R. Как будто — все точно такое, что и у меня: Скрижаль, стекло кресел, стола, шкафа, кровати. Но чуть только вошел R — двинул одно кресло, другое, — плоскости сместились, все вышло из установленного габарита, стало неевклидным. R — все тот же, все тот же. По Тэйлору и математике — он всегда шел в хвосте.

Вспомнили старого Пляпу: как мы, мальчишки, бывало, все его стеклянные ноги обклеим благодарственными записочками (мы очень любили Пляпу). Вспомнили Законоучителя[10]. Законоучитель у нас был громогласен необычайно — так и дуло ветром из громкоговорителя, — а мы, дети, во весь голос орали за ним тексты. И как отчаянный R-13 напихал ему однажды в рупор жеваной бумаги: что ни текст — то выстрел жеваной бу-

[10] Примечания: 10

Разумеется, речь идет не о «Законе Божьем» древних, а о законе Единого Государства.

магой. R, конечно, был наказан, то, что он сделал, было, конечно, скверно, но сейчас мы хохотали — весь наш треугольник, — и, сознаюсь, я тоже.

— А что, если бы он был живой — как у древних, а? Вот бы — «б» — фонтан из толстых, шлепающих губ…

Солнце — сквозь потолок, стены; солнце сверху, с боков, отраженное — снизу. О — на коленях у R-13, и крошечные капельки солнца у ней в синих глазах. Я как-то угрелся, отошел; √-1 заглох, не шевелился…

— Ну, а как же ваш «*Интеграл*»? Планетных-то жителей просвещать скоро полетим, а? Ну, гоните, гоните! А то мы, поэты, столько вам настрочим, что и вашему «*Интегралу*» не поднять. Каждый день от 8 до 11… — R мотнул головой, почесал в затылке: затылок у него — это какой-то четырехугольный, привязанный сзади чемоданчик (вспомнилась старинная картина — «В карете»).

Я оживился:

— А, вы тоже пишете для «*Интеграла*»? Ну, а скажите, о чем? Ну, вот хоть, например, сегодня.

— Сегодня — ни о чем. Другим занят был… — «б» брызнуло прямо в меня.

— Чем другим?

R сморщился:

— Чем-чем! Ну, если угодно — приговором. Приговор поэтизировал. Один идиот, из наших же поэтов… Два года сидел рядом, как будто ничего. И вдруг — на тебе: «Я, — говорит, — гений, гений — выше закона». И такое наляпал… Ну, да что… Эх!

Толстые губы висели, лак в глазах съело. R-13 вскочил, повернулся, уставился куда-то сквозь стену. Я смотрел на его крепко запертый чемоданчик и думал: что он сейчас там перебирает — у себя в чемоданчике?

Минута неловкого, асимметричного молчания. Мне было неясно, в чем дело, но тут было что-то.

— К счастью, допотопные времена всевозможных Шекспиров и Достоевских — или как их там — прошли, — нарочно громко сказал я.

R повернулся лицом. Слова по-прежнему брызгали, хлестали из него, но мне показалось — веселого лака в глазах уже не было.

— Да, милейший математик, к счастью, к счастью, к счастью! Мы — счастливейшее среднее арифметическое… Как это у вас говорится: проинтегрировать от нуля до бесконечности — от кретина до Шекспира… Так!

Не знаю почему — как будто это было совер-

шенно некстати, — мне вспомнилась та, ее тон, протягивалась какая-то тончайшая нить между нею и R. (Какая?) Опять заворочался √-1. Я раскрыл бляху: 25 минут 17-го. У них на розовый талон оставалось 45 минут.

— Ну, мне пора… — и я поцеловал O, пожал руку R, пошел к лифту.

На проспекте, уже перейдя на другую сторону, оглянулся: в светлой, насквозь просолнеченной стеклянной глыбе дома — тут, там были серо-голубые, непрозрачные клетки спущенных штор — клетки ритмичного тэйлоризованного счастья. В седьмом этаже я нашел глазами клетку R-13: он уже опустил шторы.

Милая O… Милый R… В нем есть тоже (не знаю, почему «тоже» — но пусть пишется, как пишется) — в нем есть тоже что-то, не совсем мне ясное. И все-таки я, он и O — мы треугольник, пусть даже и неравнобедренный, а все-таки треугольник. Мы, если говорить языком наших предков (быть может, вам, планетные мои читатели, этот язык — понятней), мы — семья. И так хорошо иногда хоть ненадолго отдохнуть, в простой, крепкий треугольник замкнуть себя от всего, что…

Запись 9-я.

Конспект:

ЛИТУРГИЯ. ЯМБЫ И ХОРЕЙ. ЧУГУННАЯ РУКА

Торжественный, светлый день. В такой день забываешь о своих слабостях, неточностях, болезнях — и все хрустально-неколебимое, вечное — как наше, новое стекло…

Площадь Куба. Шестьдесят шесть мощных концентрических кругов: трибуны. И шестьдесят шесть рядов: тихие светильники лиц, глаза, отражающие сияние небес — или, может быть, сияние Единого Государства. Алые, как кровь, цветы — губы женщин. Нежные гирлянды детских лиц — в первых рядах, близко к месту действия. Углубленная, строгая, готическая тишина.

Судя по дошедшим до нас описаниям, нечто подобное испытывали древние во время своих «богослужений». Но они служили своему нелепому, неведомому Богу — мы служим лепому и точнейшим образом ведомому; их Бог не дал им ничего, кроме вечных, мучительных исканий; их Бог не выдумал ничего умнее, как неизвестно почему принести себя в жертву, — мы же приносим жертву нашему Богу, Единому Государству — спокойную, обдуманную, разумную жертву.

Да, это была торжественная литургия Единому Государству, воспоминание о крестных днях-годах Двухсотлетней Войны, величественный праздник победы всех над одним, суммы над единицей…

Вот один — стоял на ступенях налитого солнцем Куба. Белое… и даже нет — не белое, а уж без цвета — стеклянное лицо, стеклянные губы. И только одни глаза, черные, всасывающие, глотающие дыры и тот жуткий мир, от которого он был всего в нескольких минутах. Золотая бляха с нумером — уже снята. Руки перевязаны пурпурной лентой (старинный обычай: объяснение, по-видимому, в том, что в древности, когда все это совершалось не во имя Единого Государства, осужденные, понятно, чувствовали себя вправе сопротивляться, и руки у них обычно сковывались цепями).



А наверху, на Кубе, возле Машины — неподвижная, как из металла, фигура того, кого мы именуем Благодетелем. Лица отсюда, снизу, не разобрать: видно только, что оно ограничено строгими, величественными, квадратными очертаниями. Но зато руки… Так иногда бывает на фотографических снимках: слишком близко, на первом плане, поставленные руки — выходят огромными, приковывают взор — заслоняют собою все. Эти тяжкие, пока еще спокойно лежащие на коленях руки — ясно: они — каменные, и колени — еле выдерживают их вес…

И вдруг одна из этих громадных рук медленно поднялась — медленный, чугунный жест — и с трибун, повинуясь поднятой руке, подошел к Кубу нумер. Это был один из Государственных Поэтов, на долю которого выпал счастливый жребий — увенчать праздник своими стихами. И загремели над трибунами божественные медные ямбы — о том, безумном, со стеклянными глазами, что стоял там, на ступенях, и ждал логического следствия своих безумств.

… Пожар. В ямбах качаются дома, взбрызгивают вверх жидким золотом, рухнули. Корчатся зеленые деревья, каплет сок — уж одни черные кресты скелетов. Но явился Прометей (это,

конечно, мы) —

И впряг огонь в машину, сталь,
И хаос заковал законом.

Все новое, стальное: стальное солнце, стальные деревья, стальные люди. Вдруг какой-то безумец — «огонь с цепи спустил на волю» — и опять все гибнет…

У меня, к сожалению, плохая память на стихи, но одно я помню: нельзя было выбрать более поучительных и прекрасных образов.

Снова медленный, тяжкий жест — и на ступеньках Куба второй поэт. Я даже привстал: быть не может? Нет: его толстые, негрские губы, это он… Отчего же он не сказал заранее, что ему предстоит высокое… Губы у него трясутся, серые. Я понимаю: пред лицом Благодетеля, пред лицом всего сонма Хранителей — но все же: так волноваться…

Резкие, быстрые — острым топором — хореи. О неслыханном преступлении: о кощунственных стихах, где Благодетель именовался… нет, у меня не поднимается рука повторить.

R-13, бледный, ни на кого не глядя (не ждал от него этой застенчивости), — спустился, сел. На один мельчайший дифференциал секунды мне мелькнуло рядом с ним чье-то лицо — острый,

черный треугольник — и тотчас же стерлось: мои глаза — тысячи глаз — туда, наверх, к Машине. Там — третий чугунный жест нечеловеческой руки. И, колеблемый невидимым ветром, — преступник идет, медленно, ступень — еще — и вот шаг, последний в его жизни — и он лицом к небу, с запрокинутой назад головой — на последнем своем ложе.

Тяжкий, каменный, как судьба, Благодетель обошел Машину кругом, положил на рычаг огромную руку… Ни шороха, ни дыхания: все глаза — на этой руке. Какой это, должно быть, огненный, захватывающий вихрь — быть орудием, быть равнодействующей сотен тысяч вольт. Какой великий удел!

Неизмеримая секунда. Рука, включая ток, опустилась. Сверкнуло нестерпимо острое лезвие луча — как дрожь, еле слышный треск в трубках Машины. Распростертое тело — все в легкой, светящейся дымке — и вот на глазах тает, тает, растворяется с ужасающей быстротой. И — ничего: только лужа химически чистой воды, еще минуту назад буйно и красно бившая в сердце…

Все это было просто, все это знал каждый из нас: да, диссоциация материи, да, расщепление атомов человеческого тела. И тем не менее это

всякий раз было — как чудо, это было — как знамение нечеловеческой мощи Благодетеля.

Наверху, перед Ним — разгоревшиеся лица десяти женских нумеров, полуоткрытые от волнения губы, колеблемые ветром цветы[11].

По старому обычаю — десять женщин увенчивали цветами еще не высохшую от брызг юнифу Благодетеля. Величественным шагом первосвященника Он медленно спускается вниз, медленно проходит между трибун — и вслед Ему поднятые вверх нежные белые ветви женских рук и единомиллионная буря кликов. И затем такие же клики в честь сонма Хранителей, незримо присутствующих где-то здесь же, в наших рядах. Кто знает: может быть, именно их, Хранителей, провидела фантазия древнего человека, создавая своих нежно-грозных «архангелов», приставленных от рождения к каждому человеку.

Да, что-то от древних религий, что-то очищающее, как гроза и буря, — было во всем торжестве. Вы, кому придется читать это, — знакомы ли вам такие минуты? Мне жаль вас, если вы их не

---

[11] Примечания: 11

Конечно, из Ботанического Музея. Я лично не вижу в цветах ничего красивого — как и во всем, что принадлежит к дикому миру, давно изгнанному за Зеленую Стену. Красиво только разумное и полезное: машины, сапоги, формулы, пища и проч.

знаете…

Запись 10-я.
Конспект:
ПИСЬМО. МЕМБРАНА. ЛОХМАТЫЙ Я

Вчерашний день был для меня той самой бумагой, через которую химики фильтруют свои растворы: все взвешенные частицы, все лишнее остается на этой бумаге. И утром я спустился вниз начисто отдистиллированный, прозрачный.

Внизу, в вестибюле, за столиком, контролерша, поглядывая на часы, записывала нумера входящих. Ее имя — Ю… впрочем, лучше не назову ее цифр, потому что боюсь, как бы не написать о ней чего-нибудь плохого. Хотя, в сущности, это — очень почтенная пожилая женщина. Единственное, что мне в ней не нравится, — это то, что щеки у ней несколько обвисли, как рыбьи жабры (казалось бы: что тут такого?).

Она скрипнула пером, я увидел себя на странице: «Д-503» — и — рядом клякса.

Только что я хотел обратить на это ее внимание, как вдруг она подняла голову — и капнула в меня чернильной этакой улыбочкой:

— А вот письмо. Да. Получите, дорогой — да, да, получите.

Я знал: прочтенное ею письмо — должно еще пройти через Бюро Хранителей (думаю, излишне объяснять этот естественный порядок) и не позже 12 будет у меня. Но я был смущен этой самой улыбочкой, чернильная капля замутила мой прозрачный раствор. Настолько, что позже на постройке «*Интеграла*» я никак не мог сосредоточиться — и даже однажды ошибся в вычислениях, чего со мной никогда не бывало.

В 12 часов — опять розовато-коричневые рыбьи жабры, улыбочка — и наконец письмо у меня в руках. Не зная почему, я не прочел его здесь же, а сунул в карман — и скорее к себе в комнату. Развернул, пробежал глазами и — сел… Это было официальное извещение, что на меня записался нумер I-330 и что сегодня в 21 я должен явиться к ней — внизу адрес…

Нет: после всего, что было, после того как я настолько недвусмысленно показал свое отношение к ней. Вдобавок, ведь она даже не знала: был ли я в Бюро Хранителей, — ведь ей неоткуда было узнать, что я был болен, — ну, вообще не мог… И несмотря на все — —

В голове у меня крутилась, гудела динамо. Будда — желтое — ландыши — розовый полумесяц… Да, и вот это — и вот это еще: сегодня хотела ко

мне зайти О. Показать ей это извещение — относительно I-330? Я не знаю: она не поверит (да и как, в самом деле, поверить?), что я здесь ни при чем, что я совершенно… И знаю: будет трудный, нелепый, абсолютно нелогичный разговор… Нет, только не это. Пусть все решится механически: просто пошлю ей копию с извещения.

Я торопливо засовывал извещение в карман — и увидел эту свою ужасную, обезьянью руку. Вспомнилось, как она, I, тогда на прогулке взяла мою руку, смотрела на нее. Неужели она действительно…

И вот без четверти 21. Белая ночь. Все зеленовато-стеклянное. Но это какое-то другое, хрупкое стекло — не наше, не настоящее, это — тонкая стеклянная скорлупа, а под скорлупой крутится, несется, гудит… И я не удивлюсь, если сейчас круглыми медленными дымами подымутся вверх купола аудиториумов, и пожилая луна улыбнется чернильно — как та, за столиком нынче утром, и во всех домах сразу опустятся все шторы, и за шторами — —

Странное ощущение: я чувствовал ребра — это какие-то железные прутья и мешают — положительно мешают сердцу, тесно, не хватает места. Я стоял у стеклянной двери с золотыми цифрами:

I-330. I, спиною ко мне, над столом, что-то писала. Я вошел…

— Вот… — протянул я ей розовый билет. — Я получил сегодня извещение и явился.

— Как вы аккуратны! Минутку — можно? Присядьте, я только кончу.

Опять опустила глаза в письмо — и что там у ней внутри за опущенными шторами? Что она скажет — что сделает через секунду? Как это узнать, вычислить, когда вся она — оттуда, из дикой, древней страны снов.

Я молча смотрел на нее. Ребра — железные прутья, тесно… Когда она говорит — лицо у ней как быстрое, сверкающее колесо: не разглядеть отдельных спиц. Но сейчас колесо — неподвижно. И я увидел странное сочетание: высоко вздернутые у висков темные брови — насмешливый острый треугольник, обращенный вершиною вверх, — две глубокие морщинки, от носа к углам рта. И эти два треугольника как-то противоречили один другому, клали на все лицо этот неприятный, раздражающий *X* — как крест: перечеркнутое крестом лицо.

Колесо завертелось, спицы слились…

— А ведь вы не были в Бюро Хранителей?

— Я был… Я не мог: я был болен.

— Да. Ну я так и думала: что-нибудь вам должно было помешать — все равно что (острые зубы, улыбка). Но зато теперь вы — в моих руках. Вы помните:

«Всякий нумер, в течение 48 часов не заявивший в Бюро, считается…»

Сердце стукнуло так, что прутья согнулись. Как мальчишка, — глупо, как мальчишка, попался, глупо молчал. И чувствовал: запутался — ни рукой, ни ногой…

Она встала, потянулась лениво. Надавила кнопку, с легким треском упали со всех сторон шторы. Я был отрезан от мира — вдвоем с ней.

I была где-то там у меня за спиной, возле шкафа. Юнифь шуршала, падала — я слушал — весь слушал. И вспомнилось… нет: сверкнуло в одну сотую секунды…

Мне пришлось недавно исчислить кривизну уличной мембраны нового типа (теперь эти мембраны, изящно задекорированные, на всех проспектах записывают для Бюро Хранителей уличные разговоры). И помню: вогнутая, розовая трепещущая перепонка — странное существо, состоящее только из одного органа — уха. Я был сейчас такой мембраной.

Вот теперь щелкнула кнопка у ворота — на груди — еще ниже. Стеклянный шелк шуршит по плечам, коленам — по полу. Я слышу — и это еще яснее, чем видеть, — из голубовато-серой шелковой груды вышагнула одна нога и другая…

Туго натянутая мембрана дрожит и записывает тишину. Нет: резкие, с бесконечными паузами — удары молота о прутья. И я слышу — я вижу: она, сзади, думает секунду.

Вот — двери шкафа, вот — стукнула какая-то крышка — и снова шелк, шелк…

— Ну, пожалуйста.

Я обернулся. Она была в легком, шафранно-желтом, древнего образца платье. Это было в тысячу раз злее, чем если бы она была без всего. Две острые точки — сквозь тонкую ткань, тлеющие розовым — два угля сквозь пепел. Два нежно-круглых колена…

Она сидела в низеньком кресле. На четырехугольном столике перед ней — флакон с чем-то ядовито-зеленым, два крошечных стаканчика на ножках. В углу рта у нее дымилось — в тончайшей бумажной трубочке это древнее курение (как называется — сейчас забыл).

Мембрана все еще дрожала. Молот бил там — внутри у меня — в накаленные докрасна прутья.

Я отчетливо слышал каждый удар и… и вдруг она это тоже слышит?

Но она спокойно дымила, спокойно поглядывала на меня и небрежно стряхнула пепел — на мой розовый билетик.

Как можно хладнокровнее — я спросил:

— Послушайте, в таком случае — зачем же вы записались на меня? И зачем заставили меня прийти сюда?

Будто и не слышит. Налила из флакона в стаканчик, отхлебнула.

— Прелестный ликер. Хотите?

Тут только я понял: алкоголь. Молнией мелькнуло вчерашнее: каменная рука Благодетеля, нестерпимое лезвие луча, но там: на Кубе — это вот, с закинутой головой, распростертое тело. Я вздрогнул.

— Слушайте, — сказал я, — ведь вы же знаете: всех отравляющих себя никотином и особенно алкоголем — Единое Государство беспощадно…

Темные брови — высоко к вискам, острый насмешливый треугольник:

— Быстро уничтожить немногих — разумней, чем дать возможность многим губить себя — и вырождение — и так далее. Это — до непристойности верно.

— Да… до непристойности.

— Да компанийку вот этаких вот лысых, голых истин — выпустить на улицу… Нет, вы представьте себе… ну, хоть этого неизменнейшего моего обожателя — ну, да вы его знаете, — представьте, что он сбросил с себя всю эту ложь одежд — и в истинном виде среди публики… Ох!

Она смеялась. Но мне ясно был виден ее нижний скорбный треугольник: две глубоких складки от углов рта к носу. И почему-то от этих складок мне стало ясно: тот, двоякоизогнутый, сутулый и крылоухий — обнимал ее — такую… Он…

Впрочем, сейчас я стараюсь передать тогдашние свои — ненормальные — ощущения. Теперь, когда я это пишу, я сознаю прекрасно: все это так и должно быть, и он, как всякий честный нумер, имеет равное право на радости — и было бы несправедливо… Ну, да это ясно.

I смеялась очень странно и долго. Потом пристально посмотрела на меня — внутрь:

— А главное — я с вами совершенно спокойна. Вы такой милый — о, я уверена в этом, — вы и не подумаете пойти в Бюро и сообщить, что вот я — пью ликер, я — курю. Вы будете больны — или вы будете заняты — или уж не знаю что. Больше: я уверена — вы сейчас будете пить со мной этот

очаровательный яд…

Какой наглый, издевающийся тон. Я определенно чувствовал: сейчас опять ненавижу ее. Впрочем, почему «сейчас»? Я ненавидел ее все время.

Опрокинула в рот весь стаканчик зеленого яду, встала и, просвечивая сквозь шафрановое розовым, — сделала несколько шагов — остановилась сзади моего кресла…

Вдруг — рука вокруг моей шеи — губами в губы…

нет, куда-то еще глубже, еще страшнее… Клянусь, это было совершенно неожиданно для меня, и, может быть, только потому… Ведь не мог же я — сейчас я это понимаю совершенно отчетливо, — не мог же я сам хотеть того, что потом случилось.

Нестерпимо-сладкие губы (я полагаю — это был вкус «ликера»), — и в меня влит глоток жгучего яда — и еще — и еще… Я отстегнулся от земли и самостоятельной планетой, неистово вращаясь, понесся вниз, вниз — по какой-то невычисленной орбите…

Дальнейшее я могу описать только приблизительно, только путем более или менее близких аналогий.

Раньше мне это как-то никогда не приходило в голову — но ведь это именно так: мы, на земле, все время ходим над клокочущим, багровым морем огня, скрытого там — в чреве земли. Но никогда не думаем об этом. И вот вдруг бы тонкая скорлупа у нас под ногами стала стеклянной, вдруг бы мы увидели…

Я стал стеклянным. Я увидел — в себе, внутри.

Было два меня. Один я — прежний, Д-503, нумер Д-503, а другой… Раньше он только чуть высовывал свои лохматые лапы из скорлупы, а теперь вылезал весь, скорлупа трещала, вот сейчас разлетится в куски и… и что тогда?

Изо всех сил ухватившись за соломинку — за ручки кресла, — я спросил, чтобы услышать себя — того, прежнего:

— Где… где вы достали этот… этот яд?

— О, это! Просто один медик, один из моих…

— «Из моих»? «Из моих» — кого?

И этот другой — вдруг выпрыгнул и заорал:

— Я не позволю! Я хочу, чтоб никто, кроме меня. Я убью всякого, кто… Потому что я вас — я вас —

Я увидел: лохматыми лапами он грубо схватил ее, разодрал у ней тонкий шелк, впился зубами — я точно помню: именно зубами.

Уже не знаю как — I выскользнула. И вот — гла-

за задернуты этой проклятой непроницаемой шторой — она стояла, прислонившись спиной к шкафу, и слушала меня.

Помню: я был на полу, обнимал ее ноги, целовал колени. И молил: «Сейчас — сейчас же — сию же минуту…»

Острые зубы — острый, насмешливый треугольник бровей. Она наклонилась, молча отстегнула мою бляху.

«Да! Да, милая — милая», — я стал торопливо сбрасывать с себя юнифу. Но I — так же молчаливо — поднесла к самым моим глазам часы на моей бляхе. Было без пяти минут 22.30.

Я похолодел. Я знал, что это значит — показаться на улице позже 22.30. Все мое сумасшествие — сразу как сдунуло. Я — был я. Мне было ясно одно: я ненавижу ее, ненавижу, ненавижу!

Не прощаясь, не оглядываясь — я кинулся вон из комнаты. Кое-как прикалывая бляху на бегу, через ступени — по запасной лестнице (боялся — кого-нибудь встречу в лифте) — выскочил на пустой проспект.

Все было на своем месте — такое простое, обычное, закономерное: стеклянные, сияющие огнями дома, стеклянное бледное небо, зеленоватая неподвижная ночь. Но под этим тихим прохладным

стеклом — неслось неслышно буйное, багровое, лохматое. И я, задыхаясь, мчался — чтобы не опоздать.

Вдруг почувствовал: наспех приколотая бляха отстегивается — отстегнулась, звякнула о стеклянный тротуар. Нагнулся поднять — и в секундной тишине: чей-то топот сзади. Обернулся: из-за угла поворачивало что-то маленькое, изогнутое. Так, по крайней мере, мне тогда показалось.

Я понесся во весь дух — только в ушах свистело. У входа остановился: на часах было без одной минуты 22.30. Прислушался: сзади никого. Все это — явно была нелепая фантазия, действие яда.

Ночь была мучительна. Кровать подо мною подымалась, опускалась и вновь подымалась — плыла по синусоиде. Я внушал себе: «Ночью — нумера обязаны спать; это обязанность — такая же, как работа днем. Это необходимо, чтобы работать днем. Не спать ночью — преступно…» И все же не мог, не мог.

Я гибну. Я не в состоянии выполнять свои обязанности перед Единым Государством… Я…

Запись 11-я.

Конспект:

… НЕТ, НЕ МОГУ, ПУСТЬ ТАК, БЕЗ КОНСПЕКТА

Вечер. Легкий туман. Небо задернуто золотисто-молочной тканью, и не видно: что там — дальше, выше. Древние знали, что там их величайший скучающий скептик — Бог. Мы знаем, что там хрустально-синее, голое, непристойное ничто. Я теперь не знаю, что там: я слишком много узнал. Знание, абсолютно уверенное в том, что оно безошибочно, — это вера. У меня была твердая вера в себя, я верил, что знаю в себе все. И вот — —

Я — перед зеркалом. И первый раз в жизни — именно так: первый раз в жизни — вижу себя ясно, отчетливо, сознательно — с изумлением вижу себя, как кого-то «его». Вот я — он: черные, прочерченные по прямой брови; и между ними — как шрам — вертикальная морщина (не знаю: была ли она раньше). Стальные, серые глаза, обведенные тенью бессонной ночи; и за этой сталью… оказывается, я никогда не знал, что там. И из «там» (это «там» одновременно и здесь, и бесконечно далеко) — из «там» я гляжу на себя — на него, и твердо знаю: он — с прочерченными по прямой бровями — посторонний, чужой мне, я

встретился с ним первый раз в жизни. А я настоящий, я — не — он…

Нет: точка. Все это — пустяки, и все эти нелепые ощущения — бред, результат вчерашнего отравления… Чем: глотком зеленого яда — или ею? Все равно. Я записываю это, только чтобы показать, как может странно запутаться и сбиться человеческий — такой точный и острый — разум. Тот разум, который даже эту, пугавшую древних, бесконечность сумел сделать удобоваримой — посредством…

Щелк нумератора — и цифры: R-13. Пусть, я даже рад: сейчас одному мне было бы…

Через 20 минут:

На плоскости бумаги, в двухмерном мире — эти строки рядом, но в другом мире… Я теряю цифроощущение: 20 минут — это может быть 200 или 200 000. И это так дико: спокойно, размеренно, обдумывая каждое слово, записывать то, что было у меня с R. Все равно как если бы вы, положив нога на ногу, сели в кресло у собственной своей кровати — и с любопытством смотрели, как вы, вы же, — корчитесь на этой кровати.

Когда вошел R-13, я был совершенно спокоен и нормален. С чувством искреннего восхищения

я стал говорить о том, как великолепно ему удалось хореизировать приговор и что больше всего именно этими хореями был изрублен, уничтожен тот безумец.

— … И даже так: если бы мне предложили сделать схематический чертеж Машины Благодетеля, я бы непременно — непременно — как-нибудь нанес на этом чертеже ваши хореи, — закончил я.

Вдруг вижу: у R — матовеют глаза, сереют губы.

— Что с вами?

— Что-что? Ну… Ну просто надоело: все кругом — приговор, приговор. Не желаю больше об этом — вот и все. Ну, не желаю!

Он насупился, тер затылок — этот свой чемоданчик с посторонним, непонятным мне багажом. Пауза. Вот нашел в чемоданчике что-то, вытащил, развертывает, развернул — залакировались смехом глаза, вскочил.

— А вот для вашего «*Интеграла*» я сочиняю… это — да! Это вот да!

Прежний: губы шлепают, брызжут, слова хлещут фонтаном.

— Понимаете («п» — фонтан) — древняя легенда о рае… Это ведь о нас, о теперь. Да! Вы вдумайтесь.

Тем двум в раю — был представлен выбор: или счастье без свободы — или свобода без счастья; третьего не дано. Они, олухи, выбрали свободу — и что же: понятно — потом века тосковали об оковах. Об оковах — понимаете, — вот о чем мировая скорбь. Века!

И только мы снова догадались, как вернуть счастье… Нет, вы дальше — дальше слушайте! Древний Бог и мы рядом, за одним столом. Да! Мы помогли Богу окончательно одолеть диавола — это ведь он толкнул людей нарушить запрет и вкусить пагубной свободы, он — змий ехидный. А мы сапожищем на головку ему — тррах! И готово: опять рай. И мы снова простодушны, невинны, как Адам и Ева. Никакой этой путаницы о добре, зле: все — очень просто, райски, детски просто. Благодетель, Машина, Куб, Газовый Колокол, Хранители — все это добро, все это — величественно, прекрасно, благородно, возвышенно, кристально-чисто. Потому что это охраняет нашу несвободу — то есть наше счастье. Это древние стали бы тут судить, рядить, ломать голову — этика, неэтика… Ну, да ладно: словом, вот этакую вот райскую поэмку, а? И при этом тон серьезнейший… понимаете? Штучка, а?

Ну еще бы не понять. Помню, я подумал: «Такая

у него нелепая, асимметричная внешность и такой правильно мыслящий ум». И оттого он так близок мне — настоящему мне (я все же считаю прежнего себя — настоящим, все теперешнее — это, конечно, только болезнь).

R, очевидно, прочел это у меня на лбу, обнял меня за плечи, захохотал.

— Ах вы… Адам! Да, кстати, насчет Евы…

Он порылся в кармане, вытащил записную книжку, перелистал.

— Послезавтра… нет: через два дня — у О розовый талон к вам. Так как вы? По-прежнему? Хотите, чтобы она…

— Ну да, ясно.

— Так и скажу. А то сама она, видите ли, стесняется… Такая, я вам скажу, история! Меня она только так, розово-талонно, а вас… И не говорит, кто это четвертый влез в наш треугольник. Кто — кайтесь, греховодник, ну?

Во мне взвился занавес, и — шелест шелка, зеленый флакон, губы… И ни к чему, некстати — у меня вырвалось (если бы я удержался!):

— А скажите: вам когда-нибудь случалось пробовать никотин или алкоголь?

R подобрал губы, поглядел на меня исподлобья. Я совершенно ясно слышал его мысли: «Прия-

тель-то ты — приятель… А все-таки…» И ответ:

— Да как сказать? Собственно — нет. Но я знал одну женщину…

— I, — закричал я.

— Как… вы — вы тоже с нею? — налился смехом, захлебнулся и сейчас брызнет.

Зеркало у меня висело так, что смотреться в него надо было через стол: отсюда, с кресла, я видел только свой лоб и брови.

И вот я — настоящий — увидел в зеркале исковерканную прыгающую прямую бровей, и я настоящий — услышал дикий, отвратительный крик:

— Что «тоже»? Нет: что такое «тоже»? Нет, — я требую.

Распяленные негрские губы. Вытаращенные глаза… Я — настоящий — крепко схватил за шиворот этого другого себя — дикого, лохматого, тяжело дышащего. Я — настоящий — сказал ему, R:

— Простите меня, ради Благодетеля. Я совсем болен, не сплю. Не понимаю, что со мной…

Толстые губы мимолетно усмехнулись:

— Да-да-да! Я понимаю — я понимаю! Мне все это знакомо… разумеется, теоретически. Прощайте!

В дверях повернулся черным мячиком — назад к столу, бросил на стол книгу:

— Последняя моя… Нарочно принес — чуть не забыл. Прощайте… — «п» брызнуло в меня, укатился…

Я — один. Или, вернее: наедине с этим, другим «я». Я — в кресле и, положив нога на ногу, из какого-то «там» с любопытством гляжу, как я — я же — корчусь на кровати.

Отчего — ну отчего целых три года я и О — жили так дружески — и вдруг теперь одно только слово о той, об I… Неужели все это сумасшествие — любовь, ревность — не только в идиотских древних книжках? И главное — я! Уравнения, формулы, цифры — и…

это — ничего не понимаю! Ничего… Завтра же пойду к R и скажу, что —

Неправда: не пойду. И завтра, и послезавтра — никогда больше не пойду. Не могу, не хочу его видеть. Конец! Треугольник наш — развалился.

Я — один. Вечер. Легкий туман. Небо задернуто молочно-золотистой тканью, если бы знать: что там — выше? И если бы знать: кто — я, какой — я?

Запись 12-я.

Конспект:

ОГРАНИЧЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ. АНГЕЛ. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПОЭЗИИ

Мне все же кажется — я выздоровею, я могу выздороветь. Прекрасно спал. Никаких этих снов или иных болезненных явлений. Завтра придет ко мне милая О, все будет просто, правильно и ограничено, как круг. Я не боюсь этого слова — «ограниченность»: работа высшего, что есть в человеке, — рассудка — сводится именно к непрерывному ограничению бесконечности, к раздроблению бесконечности на удобные, легкопереваримые порции — дифференциалы. В этом именно божественная красота моей стихии — математики. И вот понимания этой самой красоты как раз и не хватает той. Впрочем, это так — случайная ассоциация.

Все это — под мерный, метрический стук колес подземной дороги — я про себя скандирую колеса — и стихи R (его вчерашняя книга). И чувствую: сзади, через плечо, осторожно перегибается кто-то и заглядывает в развернутую страницу. Не оборачиваясь, одним только уголком глаза я вижу: розовые, распростертые крылья-уши, двоякоизогнутое… он! Не хотелось мешать ему

— и я сделал вид, что не заметил. Как он очутился тут — не знаю: когда я входил в вагон — его как будто не было.

Это незначительное само по себе происшествие особенно хорошо подействовало на меня, я бы сказал: укрепило. Так приятно чувствовать чей-то зоркий глаз, любовно охраняющий от малейшей ошибки, от малейшего неверного шага. Пусть это звучит несколько сентиментально, но мне приходит в голову опять все та же аналогия: ангелы-хранители, о которых мечтали древние. Как много из того, о чем они только мечтали, в нашей жизни материализовалось.

В тот момент, когда я ощутил ангела-хранителя у себя за спиной, я наслаждался сонетом, озаглавленным «Счастье». Думаю — не ошибусь, если скажу, что это редкая по красоте и глубине мысли вещь. Вот первые четыре строчки:

Вечно влюбленные дважды два,
Вечно слитые в страстном четыре,
Самые жаркие любовники в мире -
Неотрывающиеся дважды два…

И дальше все об этом: о мудром, вечном счастье таблицы умножения.

Всякий подлинный поэт — непременно Колумб.

Америка и до Колумба существовала века, но только Колумб сумел отыскать ее. Таблица умножения и до R-13 существовала века, но только R-13 сумел в девственной чаще цифр найти новое Эльдорадо. В самом деле: есть ли где счастье мудрее, безоблачнее, чем в этом чудесном мире. Сталь — ржавеет; древний Бог — создал древнего, то есть способного ошибаться, человека — и, следовательно, сам ошибся. Таблица умножения мудрее, абсолютнее древнего Бога: она никогда — понимаете — никогда — не ошибается. И нет счастливее цифр, живущих по стройным вечным законам таблицы умножения. Ни колебаний, ни заблуждений. Истина — одна, и истинный путь — один; и эта истина — дважды два, и этот истинный путь — четыре. И разве не абсурдом было бы, если бы эти счастливо, идеально перемноженные двойки — стали думать о какой-то свободе, то есть ясно — об ошибке? Для меня — аксиома, что R-13 сумел схватить самое основное, самое…

Тут я опять почувствовал — сперва на своем затылке, потом на левом ухе — теплое, нежное дуновение ангела-хранителя. Он явно приметил, что книга на коленях у меня — уже закрыта и мысли мои — далеко. Что ж, я хоть сейчас готов развернуть перед ним страницы своего мозга:

это такое спокойное, отрадное чувство. Помню: я даже оглянулся, я настойчиво, просительно посмотрел ему в глаза, но он не понял — или не захотел понять — он ни о чем меня не спросил… Мне остается одно: все рассказывать вам, неведомые мои читатели (сейчас вы для меня так же дороги, и близки, и недосягаемы — как был он в тот момент).

Вот был мой путь: от части к целому, часть — R-13, величественное целое — наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. Я думал: как могло случиться, что древним не бросалась в глаза вся нелепость их литературы и поэзии. Огромнейшая великолепная сила художественного слова — тратилась совершенно зря. Просто смешно: всякий писал — о чем ему вздумается. Так же смешно и нелепо, как то, что море у древних круглые сутки тупо билось о берег, и заключенные в волнах миллионы килограммометров — уходили только на подогревание чувств у влюбленных. Мы из влюбленного шепота волн — добыли электричество, из брызжущего бешеной пеной зверя — мы сделали домашнее животное; и точно так же у нас приручена и оседлана, когда-то дикая, стихия поэзии. Теперь поэзия — уже не беспардонный соловьиный

свист: поэзия — государственная служба, поэзия — полезность.

Наши знаменитые «Математические Нонны»: без них — разве могли бы мы в школе так искренне и нежно полюбить четыре правила арифметики? А «Шипы» — этот классический образ: Хранители — шипы на розе, охраняющие нежный Государственный Цветок от грубых касаний… Чье каменное сердце останется равнодушным при виде невинных детских уст, лепечущих, как молитву: «Злой мальчик розу хвать рукой. Но шип стальной кольнул иглой, шалун — ой, ой — бежит домой» — и так далее? А «Ежедневные оды Благодетелю»? Кто, прочитав их, не склонится набожно перед самоотверженным трудом этого Нумера из Нумеров? А жуткие, красные «Цветы Судебных приговоров»? А бессмертная трагедия «Опоздавший на работу»? А настольная книга «Стансов о половой гигиене»?

Вся жизнь во всей ее сложности и красоте — навеки зачеканена в золоте слов.

Наши поэты уже не витают более в эмпиреях: они спустились на землю; они с нами в ногу идут под строгий механический марш Музыкального Завода; их лира — утренний шорох электрических зубных щеток и грозный треск

искр в машине Благодетеля, и величественное эхо Гимна Единому Государству, и интимный звон хрустально-сияющей ночной вазы, и волнующий треск падающих штор, и веселые голоса новейшей поваренной книги, и еле слышный шепот уличных мембран.

Наши боги — здесь, внизу, с нами — в Бюро, в кухне, в мастерской, в уборной; боги стали, как мы: эрго — мы стали, как боги. И к вам, неведомые мои планетные читатели, к вам мы придем, чтобы сделать вашу жизнь божественно-разумной и точной, как наша…

Запись 13-я.
Конспект:

ТУМАН. ТЫ. СОВЕРШЕННО НЕЛЕПОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

На заре проснулся, — в глаза мне розовая, крепкая твердь. Все хорошо, кругло. Вечером придет О. Я — несомненно уже здоров. Улыбнулся, заснул.

Утренний звонок, — встаю — и совсем другое: сквозь стекла потолка, стен, всюду, везде, насквозь — туман. Сумасшедшие облака, все тяжелее — и легче, и ближе, и уже нет границ между землею и небом, все летит, тает, падает, не за что ухватиться. Нет больше домов: стеклянные

стены распустились в тумане, как кристаллики соли в воде. Если посмотреть с тротуара — темные фигуры людей в домах — как взвешенные частицы в бредовом, молочном растворе — повисли низко, и выше, и еще выше — в десятом этаже. И все дымится — может быть, какой-то неслышно бушующий пожар.

Ровно в 11.45: я тогда нарочно взглянул на часы — чтобы ухватиться за цифры — чтобы спасли хоть цифры.

В 11.45, перед тем как идти на обычные, согласно Часовой Скрижали, занятия физическим трудом, я забежал к себе в комнату. Вдруг телефонный звонок, голос — длинная, медленная игла в сердце:

— Ага, вы дома? Очень рада. Ждите меня на углу. Мы с вами отправимся… ну, там увидите куда.

— Вы отлично знаете: я сейчас иду на работу.

— Вы отлично знаете, что сделаете так, как я вам говорю. До свидания. Через две минуты…

Через две минуты я стоял на углу. Нужно же было показать ей, что мною управляет Единое Государство, а не она. «Так, как я вам говорю»… И ведь уверена: слышно по голосу. Ну, сейчас я поговорю с ней по-настоящему…

Серые, из сырого тумана сотканные юнифы

торопливо существовали возле меня секунду и неожиданно растворялись в туман. Я не отрывался от часов, я был — острая, дрожащая секундная стрелка. Восемь, десять минут… Без трех, без двух двенадцать…

Кончено. На работу — я уже опоздал. Как я ее ненавижу. Но надо же мне было показать…

На углу в белом тумане — кровь — разрез острым ножом — губы.

— Я, кажется, задержала вас. Впрочем, все равно. Теперь вам поздно уже.

Как я ее — впрочем, да: поздно уж.

Я молча смотрел на губы. Все женщины — губы, одни губы. Чьи-то розовые, упруго-круглые: кольцо, нежная ограда от всего мира. И эти: секунду назад их не было, и только вот сейчас — ножом, — и еще каплет сладкая кровь.

Ближе — прислонилась ко мне плечом — и мы одно, из нее переливается в меня — и я знаю: так нужно. Знаю каждым нервом, каждым волосом, каждым до боли сладким ударом сердца. И такая радость покориться этому «нужно». Вероятно, куску железа так же радостно покориться неизбежному, точному закону — и впиться в магнит. Камню, брошенному вверх, секунду поколебаться — и потом стремглав вниз, наземь. И человеку,

после агонии, наконец вздохнуть последний раз — и умереть.

Помню: я улыбнулся растерянно и ни к чему сказал:

— Туман… Очень.

— Ты любишь туман?

Это древнее, давно забытое «ты», «ты» властелина к рабу — вошло в меня остро, медленно: да, я раб, и это — тоже нужно, тоже хорошо.

— Да, хорошо… — вслух сказал я себе. И потом ей: — Я ненавижу туман. Я боюсь тумана.

— Значит — любишь. Боишься — потому, что это сильнее тебя, ненавидишь — потому что боишься, любишь — потому что не можешь покорить это себе. Ведь только и можно любить непокорное.

Да, это так. И именно потому — именно потому я…

Мы шли двое — одно. Где-то далеко сквозь туман чуть слышно пело солнце, все наливалось упругим, жемчужным, золотым, розовым, красным. Весь мир — единая необъятная женщина, и мы — в самом ее чреве, мы еще не родились, мы радостно зреем. И мне ясно, нерушимо ясно: все — для меня: солнце, туман, розовое, золотое — для меня…

Я не спрашивал, куда мы шли. Все равно: только бы идти, идти, зреть, наливаться все упруже —

— Ну вот… — I остановилась у дверей. — Здесь сегодня дежурит как раз один… Я о нем говорила тогда, в Древнем Доме.

Я издали, одними глазами, осторожно сберегая зреющее, — прочел вывеску: «Медицинское Бюро». Все понял.

Стеклянная, полная золотого тумана, комната. Стеклянные потолки с цветными бутылками, банками. Провода. Синеватые искры в трубках.

И человечек — тончайший. Он весь как будто вырезан из бумаги, и как бы он ни повернулся — все равно у него только профиль, остро отточенный: сверкающее лезвие — нос, ножницы — губы.

Я не слышал, что ему говорила I: я смотрел, как она говорила, — и чувствовал: улыбаюсь неудержимо, блаженно. Сверкнули лезвием ножницы-губы, и врач сказал:

— Так, так. Понимаю. Самая опасная болезнь — опаснее я ничего не знаю… — засмеялся, тончайшей бумажной рукой быстро написал что-то, отдал листок I; написал — отдал мне.

Это были удостоверения, что мы — больны, что мы не можем явиться на работу. Я крал свою

работу у Единого Государства, я — вор, я — под Машиной Благодетеля. Но это мне — далеко, равнодушно, как в книге… Я взял листок, не колеблясь ни секунды; я — мои глаза, губы, руки — я знал: так нужно.

На углу, в полупустом гараже мы взяли аэро. I опять, как тогда, села за руль, подвинула стартер на «вперед», мы оторвались от земли, поплыли. И следом за нами все: розово-золотой туман; солнце; тончайше-лезвийный профиль врача, вдруг такой любимый и близкий. Раньше — все вокруг солнца; теперь я знал, все вокруг меня — медленно, блаженно, с зажмуренными глазами…

Старуха у ворот Древнего Дома. Милый, заросший, с лучами-морщинами рот. Вероятно, был заросшим все эти дни — и только сейчас раскрылся, улыбнулся:

— А-а, проказница! Нет чтобы работать, как все… ну уж ладно! Если что — я тогда прибегу, скажу…

Тяжелая, скрипучая, непрозрачная дверь закрылась, и тотчас же с болью раскрылось сердце широко — еще шире: — настежь. Ее губы — мои, я пил, пил, отрывался, молча глядел в распахнутые мне глаза — и опять…

Полумрак комнат, синее, шафранно-желтое,

темно-зеленый сафьян, золотая улыбка Будды, мерцание зеркал. И — мой старый сон, такой теперь понятный: все напитано золотисто-розовым соком, и сейчас перельется через край, брызнет — —

Созрело. И неизбежно, как железо и магнит, с сладкой покорностью точному непреложному закону — я влился в нее. Не было розового талона, не было счета, не было Единого Государства, не было меня. Были только нежно-острые, стиснутые зубы, были широко распахнутые мне золотые глаза — и через них я медленно входил внутрь, все глубже. И тишина — только в углу — за тысячи миль капают капли в умывальнике, и я — вселенная, и от капли до капли — эры, эпохи…

Накинув на себя юнифу, я нагнулся к I — и глазами вбирал в себя ее последний раз.

— Я знала это… Я знала тебя… — сказала I очень тихо. Быстро поднялась, надела юнифу и всегдашнюю свою острую улыбку-укус. — Ну-с, падший ангел. Вы ведь теперь погибли. Нет, не боитесь? Ну, до свидания! Вы вернетесь один. Ну?

Она открыла зеркальную дверь, вделанную в стену шкафа; через плечо — на меня, ждала. Я послушно вышел. Но едва переступил порог — вдруг стало нужно, чтобы она прижалась ко

мне плечом — только на секунду плечом, больше ничего.

Я кинулся назад — в ту комнату, где она (вероятно) еще застегивала юнифу перед зеркалом, вбежал и остановился. Вот — ясно вижу — еще покачивается старинное кольцо на ключе в двери шкафа, а I — нет. Уйти она никуда не могла — выход из комнаты только один — и все-таки ее нет. Я обшарил все и даже открыл шкаф и ощупал там пестрые древние платья: никого…

Мне как-то неловко, планетные мои читатели, рассказывать вам об этом совершенно невероятном происшествии. Но что ж делать, если все это было именно так. А разве весь день с самого утра не был полон невероятностей, разве не похоже все на эту древнюю болезнь сновидений? И если так — не все ли равно: одной нелепостью больше или меньше? Кроме того, я уверен: раньше или позже всякую нелепость мне удастся включить в какой-нибудь силлогизм. Это меня успокаивает, надеюсь, успокоит и вас.

… Как я полон! Если бы вы знали: как я полон!

Запись 14-я.

Конспект:

«МОЙ». НЕЛЬЗЯ. ХОЛОДНЫЙ ПОЛ

Все еще о вчерашнем. Личный час перед сном у меня был занят, и я не мог записать вчера. Но во мне все это — как вырезано, и потому-то особенно — должно быть, навсегда — этот нестерпимо холодный пол…

Вечером должна была ко мне прийти О — это был ее день. Я спустился к дежурному взять право на шторы.

— Что с вами, — спросил дежурный. — Вы какой-то сегодня…

— Я… я болен…

В сущности, это была правда: я, конечно, болен. Все это болезнь. И тотчас же вспомнилось: да, ведь удостоверение… Пощупал в кармане: вот — шуршит. Значит — все было, все было действительно…

Я протянул бумажку дежурному. Чувствовал, как загорелись щеки; не глядя видел: дежурный удивленно смотрит на меня…

И вот — 21.30. В комнате слева — спущены шторы. В комнате справа — я вижу соседа: над книгой — его шишковатая, вся в кочках лысина и лоб — огромная, желтая парабола. Я мучительно

хожу, хожу: как мне — после всего — с нею, с О? И справа — ясно чувствую на себе глаза, отчетливо вижу морщины на лбу — ряд желтых, неразборчивых строк; и мне почему-то кажется — эти строки обо мне.

Без четверти 22 в комнате у меня — радостный розовый вихрь, крепкое кольцо розовых рук вокруг моей шеи. И вот чувствую: все слабее кольцо, все слабее — разомкнулось — руки опустились…

— Вы не тот, вы не прежний, вы не мой!

— Что за дикая терминология: «мой». Я никогда не был… — и запнулся: мне пришло в голову — раньше не был, верно, но теперь… Ведь я теперь живу не в нашем разумном мире, а в древнем, бредовом, в мире корней из минус-единицы.

Шторы падают. Там, за стеной направо, сосед роняет книгу со стола на пол, и в последнюю, мгновенную узкую щель между шторой и полом — я вижу: желтая рука схватила книгу, и во мне: изо всех сил ухватиться бы за эту руку…

— Я думала — я хотела встретить вас сегодня на прогулке. Мне о многом — мне надо вам так много…

Милая, бедная О! Розовый рот — розовый полумесяц рожками книзу. Но не могу же я рассказать ей все, что было — хотя бы потому, что это сделает

ее соучастницей моих преступлений: ведь я знаю, у ней не хватит силы пойти в Бюро Хранителей и, следовательно — —

О лежала. Я медленно целовал ее. Я целовал эту наивную пухлую складочку на запястье, синие глаза были закрыты, розовый полумесяц медленно расцветал, распускался — и я целовал ее всю.

Вдруг ясно чувствую: до чего все опустошено, отдано. Не могу, нельзя. Надо — и нельзя. Губы у меня сразу остыли…

Розовый полумесяц задрожал, померк, скорчился. О накинула на себя покрывало, закуталась — лицом в подушку…

Я сидел на полу возле кровати — какой отчаянно-холодный пол, — сидел молча. Мучительный холод снизу — все выше, все выше. Вероятно — такой же молчаливый холод там, в синих, немых междупланетных пространствах.

— Поймите же: я не хотел… — пробормотал я. — Я всеми силами…

Это правда: я, настоящий я — не хотел. И все же: какими словами сказать ей. Как объяснить ей, что железо не хотело, но закон — неизбежен, точен — —

О подняла лицо из подушек и, не открывая глаз, сказала:

— Уйдите, — но от слез вышло у нее «ундите» — и вот почему-то врезалась и эта нелепая мелочь.

Весь пронизанный холодом, цепенея, я вышел в коридор. Там за стеклом — легкий, чуть приметный дымок тумана. Но к ночи, должно быть, опять он спустится, налегнет вовсю. Что будет за ночь?

О молча скользнула мимо меня, к лифту — стукнула дверь.

— Одну минутку, — крикнул я: стало страшно.

Но лифт уже гудел вниз, вниз, вниз…

Она отняла у меня R.

Она отняла у меня О.

И все-таки, и все-таки…

Запись 15-я.
Конспект:

КОЛОКОЛ. ЗЕРКАЛЬНОЕ МОРЕ. МНЕ ВЕЧНО ГОРЕТЬ

Только вошел в эллинг, где строится «*Интеграл*» — как навстречу Второй Строитель. Лицо у него как всегда: круглое, белое, фаянсовое — тарелка, и говорит — подносит на тарелке что-то такое нестерпимо вкусное:

— Вы вот болеть изволили, а тут без вас, без начальства, вчера, можно сказать, — происше-

ствие.

— Происшествие?

— Ну да! Звонок, кончили, стали всех с эллинга выпускать — и представьте: выпускающий изловил ненумерованного человека. Уж как он пробрался — понять не могу. Отвели в Операционное. Там из него, голубчика, вытянут, как и зачем… (Улыбка — вкусная…)

В Операционном — работают наши лучшие и опытнейшие врачи, под непосредственным руководством самого Благодетеля. Там — разные приборы и, главное, знаменитый Газовый Колокол. Это, в сущности, старинный школьный опыт: мышь посажена под стеклянный колпак; воздушным насосом воздух в колпаке разрежается все больше… Ну и так далее. Но только, конечно, Газовый Колокол значительно более совершенный аппарат — с применением различных газов, и затем — тут, конечно, уже не издевательство над маленьким беззащитным животным, тут высокая цель — забота о безопасности Единого Государства, другими словами — о счастии миллионов. Около пяти столетий назад, когда работа в Операционном еще только налаживалась, нашлись глупцы, которые сравнивали Операционное с древней инквизицией, но ведь это так

нелепо, как ставить на одну точку хирурга, делающего трахеотомию, и разбойника с большой дороги: у обоих в руках, быть может, один и тот же нож, оба делают одно и то же — режут горло живому человеку. И все-таки один — благодетель, другой — преступник, один со знаком +, другой со знаком — …

Все это слишком ясно, все это в одну секунду, в один оборот логической машины, а потом тотчас же зубцы зацепили минус — и вот наверху уж другое: еще покачивается кольцо в шкафу. Дверь, очевидно, только захлопнули, — а ее, I, нет: исчезла. Этого машина никак не могла провернуть. Сон? Но я еще и сейчас чувствую: непонятная сладкая боль в правом плече — прижавшись к правому плечу, I — рядом со мной в тумане. «Ты любишь туман?» Да, и туман… все люблю, и все — упругое, новое, удивительное, все — хорошо…

— Все — хорошо, — вслух сказал я.

— Хорошо? — кругло вытаращились фаянсовые глаза. — То есть что же тут хорошего? Если этот ненумерованный умудрился… стало быть, они — всюду, кругом, все время, они тут, они — около «*Интеграла*», они…

— Да кто *они*?

— А почем я знаю кто. Но я их чувствую — по-

нимаете? Все время.

— А вы слыхали: будто какую-то операцию изобрели — фантазию вырезывают? (На днях, в самом деле, я что-то вроде этого слышал.)

— Ну, знаю. При чем же это тут?

— А при том, что я бы на вашем месте — пошел и попросил сделать себе эту операцию.

На тарелке явственно обозначилось нечто лимонно-кислое. Милый — ему показался обидным отдаленный намек на то, что у него может быть фантазия… Впрочем, что же: неделю назад — вероятно, я бы тоже обиделся. А теперь — теперь нет, потому что я знаю, что это у меня есть — что я болен. И знаю еще — не хочется выздороветь. Вот не хочется, и все. По стеклянным ступеням мы поднялись наверх. Все — под нами внизу — как на ладони…

Вы, читающие эти записки — кто бы вы ни были, но над вами солнце. И если вы тоже когда-нибудь были так больны, как я сейчас, — вы знаете, какое бывает — какое может быть — утром солнце, вы знаете это розовое, прозрачное, теплое золото. И самый воздух — чуть розовый, и все пропитано нежной солнечной кровью, все — живое: живые и мягкие — камни; живое и теплое — железо; живые и все до одного улыбаются

— люди. Может случиться через час — все исчезнет, через час — выкаплет розовая кровь, но пока — живое. И я вижу: пульсирует и переливается что-то в стеклянных соках «*Интеграла*», я вижу: «*Интеграл*» мыслит о великом и страшном своем будущем, о тяжком грузе неизбежного счастья, которое он понесет туда вверх, вам, неведомым, вам, вечно ищущим и никогда не находящим. Вы найдете, вы будете счастливы, — вы обязаны быть счастливыми, и уже недолго вам ждать.

Корпус «*Интеграла*» почти готов: изящный, удлиненный эллипсоид из нашего стекла — вечного, как золото, гибкого, как сталь. Я видел: изнутри крепили к стеклянному телу поперечные ребра — шпангоуты, продольные — стрингера; в корме ставили фундамент для гигантского ракетного двигателя. Каждые 3 секунды — взрыв; каждые 3 секунды могучий хвост «*Интеграла*» будет низвергать пламя и газы в мировое пространство — и будет нестись, нестись — огненный Тамерлан счастья…

Я видел: по Тэйлору, размеренно быстро, в такт, как рычаги одной огромной машины, нагибались, разгибались, поворачивались люди внизу. В руках у них сверкали трубки: огнем резали, огнем спаивали стеклянные стенки, угольники,

ребра, кницы. Я видел: по стеклянным рельсам медленно катились прозрачно-стеклянные чудовища-краны и так же, как люди, послушно поворачивались, нагибались, просовывали внутрь, в чрево «*Интеграла*», свои грузы.

И это было одно: очеловеченные, совершенные люди. Это была высочайшая, потрясающая красота, гармония, музыка… Скорее — вниз, к ним, с ними!

И вот — плечом к плечу, сплавленный с ними, захваченный стальным ритмом… Мерные движения: упруго-круглые, румяные щеки; зеркальные, не омраченные безумием мыслей лбы. Я плыл по зеркальному морю. Я отдыхал.

И вдруг один — безмятежно обернулся ко мне:

— Ну как: ничего, лучше сегодня?

— Что лучше?

— Да вот — не было-то вас вчера. Уж мы думали — у вас опасное что… — сияет лоб, улыбка — детская, невинная.

Кровь хлестнула мне в лицо. Я не мог — не мог солгать этим глазам. Я молчал, тонул…

Сверху просунулось в люк, сияя круглой белизной, фаянсовое лицо.

— Эй, Д-503! Пожалуйте-ка сюда! Тут у нас, понимаете, получилась жесткая рама с консолями

и узловые моменты дают напряжение на квадратной.

Не дослушав, я опрометью бросился к нему наверх — я позорно спасался бегством. Не было силы поднять глаза — рябило от сверкающих, стеклянных ступеней под ногами, и с каждой ступенью все безнадежней: мне, преступнику, отравленному — здесь не место. Мне никогда уж больше не влиться в точный механический ритм, не плыть по зеркально-безмятежному морю. Мне — вечно гореть, метаться, отыскивать уголок, куда бы спрятать глаза — вечно, пока я наконец не найду силы пройти и — —

И ледяная искра — насквозь: я — пусть; я — все равно; но ведь надо будет и о ней, и ее тоже…

Я вылез из люка на палубу и остановился: не знаю, куда теперь, не знаю, зачем пришел сюда. Посмотрел вверх. Там тускло подымалось измученное полднем солнце. Внизу — был «*Интеграл*», серо-стеклянный, неживой. Розовая кровь вытекла, мне ясно, что все это — только моя фантазия, что все осталось по-прежнему, и в то же время ясно…

— Да вы что, 503, оглохли? Зову, зову… Что с вами? — Это Второй Строитель — прямо над ухом у меня: должно быть, уж давно кричит.

Что со мной? Я потерял руль. Мотор гудит вовсю, аэро дрожит и мчится, но руля нет, — и я не знаю, куда мчусь: вниз — и сейчас обземь, или вверх — и в солнце, в огонь…

Запись 16-я.
Конспект:

ЖЕЛТОЕ. ДВУХМЕРНАЯ ТЕНЬ. НЕИЗЛЕЧИМАЯ ДУША

Не записывал несколько дней. Не знаю сколько: все дни — один. Все дни — одного цвета — желтого, как иссушенный, накаленный песок, и ни клочка тени, ни капли воды, и по желтому песку без конца. Я не могу без нее — а она, с тех пор как тогда непонятно исчезла в Древнем Доме…

С тех пор я видел ее только один раз на прогулке. Два, три, четыре дня назад — не знаю: все дни — один. Она промелькнула, на секунду заполнила желтый, пустой мир. С нею об руку — по плечо ей — двоякий S, и тончайше-бумажный доктор, и кто-то четвертый — запомнились только его пальцы: они вылетали из рукавов юнифы, как пучки лучей — необычайно тонкие, белые, длинные. I подняла руку, помахала мне; через голову S — нагнулась к тому с пальцами-лучами.

Мне послышалось слово «*Интеграл*»: все четверо оглянулись на меня; и вот уже потерялись в серо-голубом небе, и снова — желтый, иссушенный путь.

Вечером в тот день у нее был розовый билет ко мне. Я стоял перед нумератором — и с нежностью, с ненавистью умолял его, чтобы щелкнул, чтобы в белом прорезе появилось скорее: I-330. Хлопала дверь, выходили из лифта бледные, высокие, розовые, смуглые; падали кругом шторы. Ее не было. Не пришла.

И, может быть, как раз сию минуту, ровно в 22, когда я пишу это, — она, закрывши глаза, так же прислоняется к кому-то плечом и так же говорит кому-то: «Ты любишь?» Кому? Кто он? Этот, с лучами-пальцами, или губастый, брызжущий R? Или S?

S… Почему все дни я слышу за собой его плоские, хлюпающие, как по лужам, шаги? Почему он все дни за мной — как тень? Впереди, сбоку, сзади, серо-голубая, двухмерная тень: через нее проходят, на нее наступают, но она — все так же неизменно здесь, рядом, привязанная невидимой пуповиной. Быть может, эта пуповина она — I? Не знаю. Или, быть может, им, Хранителям, уже известно, что я…



Если бы вам сказали: ваша тень видит вас, все время видит. Понимаете? И вот вдруг — у вас странное ощущение: руки посторонние, мешают, и я ловлю себя на том, что нелепо, не в такт шагам, размахиваю руками. Или вдруг — непременно оглянуться, а оглянуться нельзя, ни за что, шея — закована. И я бегу, бегу все быстрее, и спиною чувствую: быстрее за мною тень, и от нее — никуда, никуда…

У себя в комнате — наконец один. Но тут другое: телефон. Опять беру трубку: «Да, I-330, пожалуйста». И снова в трубке — легкий шум, чьи-то шаги, в коридоре — мимо дверей ее комнаты, и молчание… Бросаю трубку — и не могу, не могу больше. Туда — к ней.

Это было вчера. Побежал туда и целый час, от 16 до 17, бродил около дома, где она живет. Мимо, рядами, нумера. В такт сыпались тысячи ног, миллиононогий левиафан, колыхаясь, плыл мимо. А я — один, выхлестнут бурей на необитаемый остров, и ищу, ищу глазами в серо-голубых волнах.

Вот сейчас откуда-нибудь — остро-насмешливый угол поднятых к вискам бровей, и темные окна глаз, и там, внутри — пылает камин, движутся чьи-то тени. И я прямо туда, внутрь, и скажу ей «ты» — непременно «ты»: «Ты же знаешь — я не

могу без тебя. Так зачем же?»

Но она — молчит. Я вдруг слышу тишину, вдруг слышу — Музыкальный Завод и понимаю: уже больше 17, все давно ушли, я — один, я — опоздал. Кругом — стеклянная, залитая желтым солнцем пустыня. Я вижу: как в воде — в стеклянной глади подвешены вверх ногами опрокинутые, сверкающие стены, и опрокинуто, насмешливо, вверх ногами подвешен я.

Мне нужно скорее, сию же секунду — в Медицинское Бюро получить удостоверение, что я болен, иначе меня возьмут и — А может быть, это и будет самое лучшее. Остаться тут и спокойно ждать, пока увидят, доставят в Операционное — сразу все кончить, сразу все искупить.

Легкий шорох, и передо мною — двоякоизогнутая тень. Я не глядя чувствовал, как быстро ввинтились в меня два серо-стальных сверла, изо всех сил улыбнулся и сказал — что-нибудь нужно было сказать:

— Мне… мне надо в Медицинское Бюро.

— За чем же дело? Чего же вы стоите здесь?

Нелепо опрокинутый, подвешенный за ноги — я молчал, весь полыхая от стыда.

— Идите за мной, — сурово сказал S.

Я покорно пошел, размахивая ненужными, по-

сторонними руками. Глаз нельзя было поднять, все время шел в диком, перевернутом вниз головой мире: вот какие-то машины — фундаментом вверх, и антиподно приклеенные ногами к потолку люди, и еще ниже — скованное толстым стеклом мостовой небо. Помню: обидней всего было, что последний раз в жизни я увидел это вот так, опрокинуто, не по-настоящему. Но глаз поднять было нельзя.

Остановились. Передо мною — ступени. Один шаг — и я увижу: фигуры в белых докторских фартуках, огромный немой Колокол…

С силой, каким-то винтовым приводом, я наконец оторвал глаза от стекла под ногами — вдруг в лицо мне брызнули золотые буквы «Медицинское»… Почему он привел меня сюда, а не в Операционное, почему он пощадил меня — об этом я в тот момент даже и не подумал: одним скачком — через ступени, плотно захлопнул за собой дверь — и вздохнул. Так: будто с самого утра я не дышал, не билось сердце — и только сейчас вздохнул первый раз, только сейчас раскрылся шлюз в груди…

Двое: один — коротенький, тумбоногий — глазами, как на рога, подкидывал пациентов, и другой — тончайший, сверкающие ножницы-гу-

бы, лезвие-нос… Тот самый.

Я кинулся к нему, как к родному, прямо на лезвия — что-то о бессоннице, снах, тени, желтом мире. Ножницы-губы сверкали, улыбались.

— Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа.

Душа? Это странное, древнее, давно забытое слово. Мы говорили иногда «душа в душу», «равнодушно», «душегуб», но душа — —

— Это… очень опасно, — пролепетал я.

— Неизлечимо, — отрезали ножницы.

— Но… собственно, в чем же суть? Я как-то не… не представляю.

— Видите… как бы это вам… Ведь вы математик?

— Да.

— Так вот — плоскость, поверхность, ну вот это зеркало. И на поверхности мы с вами, вот — видите, и щурим глаза от солнца, и эта синяя электрическая искра в трубке, и вон — мелькнула тень аэро. Только на поверхности, только секундно. Но представьте — от какого-то огня эта непроницаемая поверхность вдруг размягчилась, и уж ничто не скользит по ней — все проникает внутрь, туда, в этот зеркальный мир, куда мы с любопытством заглядываем детьми, — дети

вовсе не так глупы, уверяю вас. Плоскость стала объемом, телом, миром, и это внутри зеркала — внутри вас — солнце, и вихрь от винта аэро, и ваши дрожащие губы, и еще чьи-то. И понимаете: холодное зеркало отражает, отбрасывает; а это — впитывает, и от всего след — навеки. Однажды еле заметная морщинка у кого-то на лице — и она уже навсегда в вас; однажды вы услышали: в тишине упала капля — и вы слышите сейчас…

— Да, да, именно… — я схватил его за руку. Я слышал сейчас: из крана умывальника — медленно капают капли в тишину. И я знал, это — навсегда. Но все-таки почему же вдруг душа? Не было, не было — и вдруг… Почему ни у кого нет, а у меня…

Я еще крепче вцепился в тончайшую руку: мне жутко было потерять спасательный круг.

— Почему? А почему у нас нет перьев, нет крыльев — одни только лопаточные кости — фундамент для крыльев? Да потому что крылья уже не нужны — есть аэро, крылья только мешали бы. Крылья — чтобы летать, а нам уже некуда: мы — прилетели, мы — нашли. Не так ли?

Я растерянно кивнул головой. Он посмотрел на меня, рассмеялся остро, ланцетно. Тот, другой, услышал, тумбоного протопал из своего кабине-

та, глазами подкинул на рога моего тончайшего доктора, подкинул меня.

— В чем дело? Как: душа? Душа, вы говорите? Черт знает что! Этак мы скоро и до холеры дойдем. Я вам говорил (тончайшего на рога) — я вам говорил: надо у всех — у всех фантазию… Экстирпировать фантазию. Тут только хирургия, только одна хирургия…

Он напялил огромные рентгеновские очки, долго ходил кругом и вглядывался сквозь кости черепа — в мой мозг, записывал что-то в книжку.

— Чрезвычайно, чрезвычайно любопытно! Послушайте: а не согласились бы вы… заспиртоваться? Это было бы для Единого Государства чрезвычайно… это помогло бы нам предупредить эпидемию… Если у вас, разумеется, нет особых оснований…

— Видите ли, — сказал он, — нумер Д-503 — строитель «*Интеграла*», и я уверен — это нарушило бы…

— А, — промычал тот и затумбовал назад в свой кабинет.

Мы остались вдвоем. Бумажная рука легко, ласково легла на мою руку, профильное лицо близко нагнулось ко мне; он шепнул:

— По секрету скажу вам — это не у вас одного. Мой коллега недаром говорит об эпидемии. Вспомните-ка, разве вы сами не замечали у кого-нибудь похожее — очень похожее, очень близкое… — он пристально посмотрел на меня. На что он намекает — на кого? Неужели — —

— Слушайте… — я вскочил со стула.

Но он уже громко заговорил о другом:

— … А от бессонницы, от этих ваших снов — могу вам одно посоветовать: побольше ходите пешком. Вот возьмите и завтра же с утра прогуляйтесь… Ну хоть бы к Древнему Дому.

Он опять проколол меня глазами, улыбался тончайше. И мне показалось: я совершенно ясно увидел завернутое в тонкую ткань этой улыбки слово — букву — имя, единственное имя… Или это опять только фантазия?

Я еле дождался, пока написал он мне удостоверение о болезни на сегодня и на завтра, еще раз молча, крепко сжал ему руку и выбежал наружу.

Сердце — легкое, быстрое, как аэро, и несет, несет меня вверх. Я знал: завтра — какая-то радость. Какая?

Запись 17-я.

Конспект:

СКВОЗЬ СТЕКЛО. Я УМЕР. КОРИДОРЫ

Я совершенно озадачен. Вчера, в этот самый момент, когда я думал, что все уже распуталось, найдены все иксы — в моем уравнении появились новые неизвестные.

Начало координат во всей этой истории — конечно, Древний Дом. Из этой точки — оси *X*-ов, *Y*-ов, *Z*-ов, на которых для меня с недавнего времени построен весь мир. По оси *X*-ов (Проспекту 59-му) я шел пешком к началу координат. Во мне — пестрым вихрем вчерашнее: опрокинутые дома и люди, мучительно-посторонние руки, сверкающие ножницы, острокапающие капли из умывальника — так было, было однажды. И все это — разрывая мясо — стремительно крутится там — за расплавленной от огня поверхностью, где «душа».

Чтобы выполнить предписание доктора, я нарочно выбрал путь не по гипотенузе, а по двум катетам. И вот уже второй катет: круговая дорога у подножия Зеленой Стены. Из необозримого зеленого океана за Стеной катился на меня дикий вал из корней, цветов, сучьев, листьев — встал на дыбы — сейчас захлестнет меня, и из человека

— тончайшего и точнейшего из механизмов — я превращусь…

Но, к счастью, между мной и диким зеленым океаном — стекло Стены. О, великая, божественно-ограничивающая мудрость стен, преград! Это, может быть, величайшее из всех изобретений. Человек перестал быть диким животным только тогда, когда он построил первую стену. Человек перестал быть диким человеком только тогда, когда мы построили Зеленую Стену, когда мы этой Стеной изолировали свой машинный, совершенный мир — от неразумного, безобразного мира деревьев, птиц, животных…

Сквозь стекло на меня — туманно, тускло — тупая морда какого-то зверя, желтые глаза, упорно повторяющие одну и ту же непонятную мне мысль. Мы долго смотрели друг другу в глаза — в эти шахты из поверхностного мира в другой, заповерхностный. И во мне копошится: «А вдруг он, желтоглазый — в своей нелепой, грязной куче листьев, в своей невычисленной жизни — счастливее нас?»

Я взмахнул рукой, желтые глаза мигнули, попятились, пропали в листве. Жалкое существо! Какой абсурд: он — счастливее нас! Может быть, счастливее меня — да; но ведь я — только исклю-

чение, я болен.

Да и я… Я уже вижу темно-красные стены Древнего Дома — и милый заросший старушечий рот — я кидаюсь к старухе со всех ног:

— Тут она?

Заросший рот раскрылся медленно:

— Это кто же такое — она?

— Ах, ну кто-кто? Да I, конечно… Мы же вместе с ней тогда — на аэро…

— А-а, так, так… Так-так-так…

Лучи-морщины около губ, лукавые лучи из желтых глаз, пробирающихся внутрь меня — все глубже… И наконец:

— Ну ладно уж… тут она, недавно прошла.

Тут. Я увидел: у старухиных ног — куст серебристо-горькой полыни (двор Древнего Дома — это тот же музей, он тщательно сохранен в доисторическом виде), полынь протянула ветку на руку старухе, старуха поглаживает ветку, на коленях у ней — от солнца желтая полоса. И на один миг: я, солнце, старуха, полынь, желтые глаза — мы все одно, мы прочно связаны какими-то жилками, и по жилкам — одна общая, буйная, великолепная кровь…

Мне сейчас стыдно писать об этом, но я обещал в этих записках быть откровенным до конца. Так

вот: я нагнулся — и поцеловал заросший, мягкий, моховой рот. Старуха утерлась, засмеялась…

Бегом через знакомые полутесные гулкие комнаты — почему-то прямо туда, в спальню. Уже у дверей схватился за ручку и вдруг: «А если она там не одна?» Стал, прислушался. Но слышал только: тукало около — не во мне, а где-то около меня — мое сердце.

Вошел. Широкая, несмятая кровать. Зеркало. Еще зеркало в двери шкафа, и в замочной скважине там — ключ со старинным кольцом. И никого.

Я тихонько позвал:

— I! Ты здесь? — И еще тише, с закрытыми глазами, не дыша, — так, как если бы я стоял уже на коленях перед ней: — I! Милая!

Тихо. Только в белую чашку умывальника из крана каплет вода, торопливо. Не могу сейчас объяснить почему, но только это было мне неприятно: я крепко завернул кран и вышел. Тут ее — нет: ясно. И значит, она в какой-нибудь другой «квартире».

По широкой сумрачной лестнице сбежал ниже, потянул одну дверь, другую, третью: заперто. Все было заперто, кроме только той одной «нашей» квартиры, и там — никого…

И все-таки — опять туда, сам не знаю — зачем. Я шел медленно, с трудом — подошвы вдруг стали чугунными. Помню отчетливо мысль: «Это ошибка, что сила тяжести — константна. Следовательно, все мои формулы — —».

Тут — разрыв: в самом низу хлопнула дверь, кто-то быстро протопал по плитам. Я — снова легкий, легчайший — бросился к перилам — перегнуться в одном слове, в одном крике «Ты!» — выкрикнуть все…

И захолонул: внизу — вписанная в темный квадрат тени от оконного переплета, размахивая розовыми крыльями-ушами, неслась голова S.

Молнией — один только голый вывод, без посылок (посылок я не знаю и сейчас): «Нельзя — ни за что — чтобы он меня увидел».

И на цыпочках, вжимаясь в стену, я скользнул вверх — к той незапертой квартире.

На секунду у двери. Тот — тупо топает вверх, сюда. Только бы дверь! Я умолял дверь, но она деревянная: заскрипела, взвизгнула. Вихрем мимо — зеленое, красное, желтый Будда — я перед зеркальной дверью шкафа: мое бледное лицо, прислушивающиеся глаза, губы… Я слышу — сквозь шум крови — опять скрипит дверь… Это он, он.

Я ухватился за ключ в двери шкафа — и вот кольцо покачивается. Это что-то напоминает мне — опять мгновенный, голый без посылок, вывод — вернее, осколок: «В тот раз I — —». Я быстро открываю дверь в шкаф — я внутри, в темноте — захлопываю ее плотно. Один шаг — под ногами качнулось. Я медленно, мягко поплыл куда-то вниз, в глазах потемнело, я умер.

Позже, когда мне пришлось записывать все эти странные происшествия, я порылся в памяти, в книгах — и теперь я, конечно, понимаю: это было состояние временной смерти, знакомое древним и — сколько я знаю — совершенно неизвестное у нас.

Не имею представления, как долго я был мертв, скорее всего 5-10 секунд, но только через некоторое время я воскрес, открыл глаза: темно и чувствую — вниз, вниз… Протянул руку — ухватился — царапнула шершавая, быстро убегающая стенка, на пальце кровь, ясно — все это не игра моей больной фантазии. Но что же, что?

Я слышал свое пунктирное, трясущееся дыхание (мне стыдно сознаться в этом — так все было неожиданно и непонятно). Минута, две, три — все вниз. Наконец — мягкий толчок: то, что падало у меня под ногами, — теперь неподвижно.

В темноте я нашарил какую-то ручку, толкнул — открылась дверь — тусклый свет. Увидел: сзади меня быстро уносилась вверх небольшая квадратная платформа. Кинулся — но уже было поздно: я был отрезан здесь… где это «здесь» — не знаю.

Коридор. Тысячепудовая тишина. На круглых сводах — лампочки, бесконечный, мерцающий, дрожащий пунктир. Походило немного на «трубы» наших подземных дорог, но только гораздо уже и не из нашего стекла, а из какого-то другого старинного материала. Мелькнуло — о подземельях, где будто бы спасались во время Двухсотлетней Войны… Все равно: надо идти.

Шел, полагаю, минут двадцать. Свернул направо, коридор шире, лампочки ярче. Какой-то смутный гул. Может быть, машины, может быть, голоса — не знаю, но только я — возле тяжелой непрозрачной двери: гул оттуда.

Постучал, еще раз — громче. За дверью — затихло. Что-то лязгнуло, дверь медленно, тяжело растворилась.

Я не знаю, кто из нас двоих остолбенел больше — передо мной был мой лезвиеносный, тончайший доктор.

— Вы? Здесь? — И ножницы его так и захлоп-

нулись.

А я — я будто никогда и не знал ни одного человеческого слова: я молчал, глядел и совершенно не понимал, что он говорил мне. Должно быть — что мне надо отсюда; потому что потом он быстро своим плоским бумажным животом оттеснил меня до конца этой, более светлой части коридора — и толкнул в спину.

— Позвольте… я хотел… я думал, что она, I-330… Но за мной…

— Стойте тут, — отрезал доктор и исчез…

Наконец! Наконец она рядом, здесь — и не все ли равно, где это «здесь». Знакомый, шафранно-желтый шелк, улыбка-укус, задернутые шторой глаза…

У меня дрожат губы, руки, колени — а в голове глупейшая мысль:

> «Колебания – звук. Дрожь должна звучать. Отчего же не слышно?»

Ее глаза раскрылись мне — настежь, я вошел внутрь…

— Я не мог больше! Где вы были? Отчего, — ни на секунду не отрывая от нее глаз, я говорил, как в бреду — быстро, несвязно, — может быть, даже только думал. — Тень — за мною… Я умер — из

шкафа… Потому что этот ваш… говорит ножницами: у меня душа… Неизлечимая…

— Неизлечимая душа! Бедненький мой! — I рассмеялась — и меня сбрызнула смехом: весь бред прошел, и всюду сверкают, звенят смешинки и как — как все хорошо.

Из-за угла снова вывернулся доктор — чудесный, великолепный, тончайший доктор.

— Ну-с, — остановился он возле меня.

— Ничего, ничего! Я вам потом расскажу. Он случайно… Скажите, что я вернусь через… минут пятнадцать…

Доктор мелькнул за угол. Она ждала. Глухо стукнула дверь. Тогда I медленно, медленно, все глубже вонзая мне в сердце острую, сладкую иглу, — прижалась плечом, рукою, вся — и мы пошли вместе с нею, вместе с нею — двое — одно…

Не помню, где мы свернули в темноту — и в темноте по ступеням вверх, без конца, молча. Я не видел, но знал: она шла так же, как и я — с закрытыми глазами, слепая, закинув вверх голову, закусив губы, — и слушала музыку: мою чуть слышную дрожь.

Я очнулся в одном из бесчисленных закоулков во дворе Древнего Дома: какой-то забор, из земли — голые, каменистые ребра и желтые зубы

развалившихся стен. Она открыла глаза, сказала: «Послезавтра в 16». Ушла.

Было ли все это на самом деле? Не знаю. Узнаю послезавтра. Реальный след только один: на правой руке — на концах пальцев — содрана кожа. Но сегодня на «*Интеграле*» Второй Строитель уверял меня, будто он сам видел, как я случайно тронул этими пальцами шлифовальное кольцо — в этом и все дело. Что ж, может быть, и так. Очень может быть. Не знаю — ничего не знаю.

Запись 18-я.
Конспект:

ЛОГИЧЕСКИЕ ДЕБРИ. РАНЫ И ПЛАСТЫРЬ. БОЛЬШЕ НИКОГДА

Вчера лег — и тотчас же канул на сонное дно, как перевернувшийся, слишком загруженный корабль. Толща глухой колыхающейся зеленой воды. И вот медленно всплываю со дна вверх и где-то на середине глубины открываю глаза — моя комната, еще зеленое, застывшее утро. На зеркальной двери шкафа — осколок солнца — в глаза мне. Это мешает в точности выполнить установленные Скрижалью часы сна. Лучше бы всего — открыть шкаф. Но я весь — как в паутине,

и паутина на глазах, нет сил встать…

Все-таки встал, открыл — и вдруг за зеркальной дверью, выпутываясь из платья, вся розовая — I. Я так привык теперь к самому невероятному, что сколько помню — даже совершенно не удивился, ни о чем не спросил: скорей в шкаф, захлопнул за собою зеркальную дверь — и, задыхаясь, быстро, слепо, жадно соединился с I. Как сейчас вижу: сквозь дверную щель в темноте — острый солнечный луч переламывается молнией на полу, на стенке шкафа, выше — и вот это жестокое, сверкающее лезвие упало на запрокинутую, обнаженную шею I… и в этом для меня такое что-то страшное, что я не выдержал, крикнул — и еще раз открыл глаза.

Моя комната. Еще зеленое, застывшее утро. На двери шкафа осколок солнца. Я — в кровати. Сон. Но еще буйно бьется, вздрагивает, брызжет сердце, ноет в концах пальцев, в коленях. Это — несомненно было. И я не знаю теперь: что сон — что явь; иррациональные величины прорастают сквозь все прочное, привычное, трехмерное, и вместо твердых, шлифованных плоскостей — кругом что-то корявое, лохматое…

До звонка еще далеко. Я лежу, думаю — и разматывается чрезвычайно странная логическая

цепь.

Всякому уравнению, всякой формуле в поверхностном мире соответствует кривая или тело. Для формул иррациональных, для моего √-1, мы не знаем соответствующих тел, мы никогда не видели их… Но в том-то и ужас, что эти тела — невидимые — есть, они непременно, неминуемо должны быть: потому что в математике, как на экране, проходят перед нами их причудливые, колючие тени — иррациональные формулы; и математика и смерть — никогда не ошибаются. И если этих тел мы не видим в нашем мире, на поверхности, для них есть — неизбежно должен быть — целый огромный мир там, за поверхностью…

Я вскочил, не дожидаясь звонка, и забегал по комнате. Моя математика — до сих пор единственный прочный и незыблемый остров во всей моей свихнувшейся жизни — тоже оторвалась, поплыла, закружилась. Что же, значит, эта нелепая «душа» — так же реальна, как моя юнифа, как мои сапоги — хотя я их и не вижу сейчас (они за зеркальной дверью шкафа)? И если сапоги не болезнь — почему же «душа» болезнь?

Я искал и не находил выхода из дикой логической чащи. Это были такие же неведомые и

жуткие дебри, как те — за Зеленой Стеной, — и они также были необычайными, непонятными, без слов говорящими существами. Мне чудилось — сквозь какое-то толстое стекло — я вижу: бесконечно огромное и одновременно бесконечно малое, скорпионообразное, со спрятанным и все время чувствуемым минусом-жалом: √-1… А может быть, это — не что иное, как моя «душа», подобно легендарному скорпиону древних, добровольно жалящая себя всем тем, что…

Звонок. День. Все это, не умирая, не исчезая — только прикрыто дневным светом; как видимые предметы, не умирая, — к ночи прикрыты ночной тьмой. В голове — легкий, зыбкий туман. Сквозь туман — длинные, стеклянные столы; медленно, молча, в такт жующие шароголовы. Издалека, сквозь туман потукивает метроном, и под эту привычно ласкающую музыку я машинально, вместе со всеми, считаю до пятидесяти: пятьдесят узаконенных жевательных движений на каждый кусок. И, машинально отбивая такт, опускаюсь вниз, отмечаю свое имя в книге уходящих — как все. Но чувствую: живу отдельно от всех, один, огороженный мягкой, заглушающей звуки, стеной, и за этой стеной — мой мир…

Но вот что: если этот мир — только мой, зачем

же он в этих записях? Зачем здесь эти нелепые «сны», шкафы, бесконечные коридоры? Я с прискорбием вижу, что вместо стройной и строгой математической поэмы в честь Единого Государства — у меня выходит какой-то фантастический авантюрный роман. Ах, если бы в самом деле это был только роман, а не теперешняя моя, исполненная иксов, √-1 и падений, жизнь.

Впрочем, может быть, все к лучшему. Вероятнее всего, вы, неведомые мои читатели, — дети по сравнению с нами (ведь мы взращены Единым Государством — следовательно, достигли высочайших, возможных для человека вершин). И как дети — только тогда вы без крика проглотите все горькое, что я вам дам, когда это будет тщательно обложено густым приключенческим сиропом…

Вечером:

Знакомо ли вам это чувство: когда на аэро мчишься ввысь по синей спирали, окно открыто, в лицо свистит вихрь — земли нет, о земле забываешь, земля так же далеко от вас, как Сатурн, Юпитер, Венера? Так я живу теперь, в лицо — вихрь, и я забыл о земле, я забыл о милой, розовой О. Но все же земля существует, раньше или позже — надо спланировать на нее, и я только закрываю

глаза перед тем днем, где на моей Сексуальной Табели стоит ее имя — имя О-90…

Сегодня вечером далекая земля напомнила о себе.

Чтобы выполнить предписание доктора (я искренне, искренне хочу выздороветь) — я целых два часа бродил по стеклянным, прямолинейным пустыням проспектов. Все, согласно Скрижали, были в аудиториумах, и только я один… Это было, в сущности, противоестественное зрелище: вообразите себе человеческий палец, отрезанный от целого, от руки — отдельный человеческий палец, сутуло согнувшись, припрыгивая бежит по стеклянному тротуару. Этот палец — я. И страннее, противоестественнее всего, что пальцу вовсе не хочется быть на руке, быть с другими: или — вот так, одному, или… Ну да, мне уж больше нечего скрывать: или вдвоем с нею — с той, опять так же переливая в нее всего себя сквозь плечо, сквозь сплетенные пальцы рук…

Домой я вернулся, когда солнце уже садилось. Вечерний розовый пепел — на стекле стен, на золоте шпица аккумуляторной башни, на голосах и улыбках встречных нумеров. Не странно ли: потухающие солнечные лучи падают под тем же точно углом, что и загорающиеся утром, а все

— совершенно иное, иная эта розовость — сейчас очень тихая, чуть-чуть горьковатая, а утром — опять будет звонкая, шипучая.

И вот внизу, в вестибюле, из-под груды покрытых розовым пеплом конвертов — Ю, контролерша, вытащила и подала мне письмо. Повторяю: это — очень почтенная женщина, и я уверен — у нее наилучшие чувства ко мне.

И все же, всякий раз, как я вижу эти обвисшие, похожие на рыбьи жабры щеки, — мне почему-то неприятно.

Протягивая ко мне сучковатой рукой письмо — Ю вздохнула. Но этот вздох только чуть колыхнул ту занавесь, какая отделяла меня от мира: я весь целиком спроектирован был на дрожавший в моих руках конверт, где — я не сомневался — письмо от I.

Здесь — второй вздох, настолько явно, двумя чертами подчеркнутый, что я оторвался от конверта — и увидел: между жабер, сквозь стыдливые жалюзи спущенных глаз — нежная, обволакивающая, ослепляющая улыбка. А затем:

— Бедный вы, бедный, — вздох с тремя чертами и кивок на письмо, чуть приметный (содержание письма она, по обязанности, естественно, знала).

— Нет, право, я… Почему же?

— Нет, нет, дорогой мой: я знаю вас лучше, чем вы сами. Я уж давно приглядываюсь к вам — и вижу: нужно, чтобы об руку с вами в жизни шел кто-нибудь, уж долгие годы изучавший жизнь…

Я чувствую: весь облеплен ее улыбкой — это пластырь на те раны, какими сейчас покроет меня это дрожащее в моих руках письмо. И наконец — сквозь стыдливые жалюзи — совсем тихо:

— Я подумаю, дорогой, я подумаю. И будьте покойны: если я почувствую в себе достаточно силы — нет-нет, я сначала еще должна подумать…

Благодетель великий! Неужели мне суждено… неужели она хочет сказать, что — —

В глазах у меня — рябь, тысячи синусоид, письмо прыгает. Я подхожу ближе к свету, к стене. Там потухает солнце, и оттуда — на меня, на пол, на мои руки, на письмо все гуще темно-розовый, печальный пепел.

Конверт взорван — скорее подпись — и рана — это не I, не I, это… О. И еще рана: на листочке снизу, в правом углу — расплывшаяся клякса, — сюда капнуло… Я не выношу клякс — все равно: от чернил они или от… все равно от чего. И знаю — раньше — мне было бы просто неприятно, неприятно глазам — от этого неприятного пятна. Но почему же теперь это серенькое пятнышко —

как туча, и от него — все свинцовее и все темнее? Или это опять — «душа»?

Письмо:

«Вы знаете… или, может быть, вы не знаете – я не могу как следует писать – все равно: сейчас вы знаете, что без вас у меня не будет ни одного дня, ни одного утра, ни одной весны. Потому что R для меня только… ну, да это не важно вам. Я ему, во всяком случае, очень благодарна: одна без него, эти дни – я бы не знаю что… За эти дни и ночи я прожила десять или, может быть, двадцать лет. И будто комната у меня – не четырехугольная, а круглая, и без конца – кругом, кругом, и все одно и то же, и нигде никаких дверей.

Я не могу без вас – потому что я вас люблю. Потому что я вижу, я понимаю: вам теперь никто, никто на свете не нужен, кроме той, другой, и – понимаете: именно, если я вас люблю, я должна —

Мне нужно еще только два-три дня, чтобы из кусочков меня кой-как склеить хоть чуть похожее на прежнюю О-90, – и я пойду и сделаю сама заявление, что снимаю свою запись на вас, и вам должно быть лучше, вам должно быть хорошо. Больше никогда не буду, простите.

О».

Больше никогда. Так, конечно, лучше: она права. Но отчего же, отчего — —

Запись 19-я.
Конспект:

БЕСКОНЕЧНО МАЛАЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА. ИСПОДЛОБНЫЙ. ЧЕРЕЗ ПАРАПЕТ

Там, в странном коридоре с дрожащим пунктиром тусклых лампочек… или нет, нет — не там: позже, когда мы уже были с нею в каком-то затерянном уголке на дворе Древнего Дома, — она сказала: «послезавтра». Это «послезавтра» — сегодня, и все — на крыльях, день — летит, и наш «*Интеграл*» уже крылатый: на нем кончили установку ракетного двигателя и сегодня пробовали его вхолостую. Какие великолепные, могучие

залпы, и для меня каждый из них — салют в честь той, единственной, в честь сегодня.

При первом ходе (= выстреле) под дулом двигателя оказался с десяток зазевавшихся нумеров из нашего эллинга — от них ровно ничего не осталось, кроме каких-то крошек и сажи. С гордостью записываю здесь, что ритм нашей работы не споткнулся от этого ни на секунду, никто не вздрогнул; и мы, и наши станки — продолжали свое прямолинейное и круговое движение все с той же точностью, как будто бы ничего не случилось. Десять нумеров — это едва ли одна стомиллионная часть массы Единого Государства, при практических расчетах — это бесконечно малая третьего порядка. Арифметически безграмотную жалость знали только древние: нам она смешна.

И мне смешно, что вчера я мог задумываться — и даже записывать на эти страницы — о каком-то жалком сереньком пятнышке, о какой-то кляксе. Это — все то же самое «размягчение поверхности», которая должна быть алмазно-тверда — как наши стены (древняя поговорка: «как об стену горох»).

Шестнадцать часов. На дополнительную прогулку я не пошел: как знать, быть может, ей

вздумается именно сейчас, когда все звенит от солнца…

Я — почти один в доме. Сквозь просолнеченные стены — мне далеко видно вправо и влево и вниз — повисшие в воздухе, пустые, зеркально повторяющие одна другую комнаты. И только по голубоватой, чуть прочерненной солнечной тушью лестнице — медленно скользит вверх тощая, серая тень. Вот уже слышны шаги — и я вижу сквозь дверь — я чувствую: ко мне прилеплена пластырь-улыбка — и затем мимо, по другой лестнице — вниз…

Щелк нумератора. Я весь кинулся в узенький белый прорез — и… и какой-то незнакомый мне мужской (с согласной буквой) нумер. Прогудел, хлопнул лифт. Передо мною — небрежно, набекрень нахлобученный лоб, а глаза… очень странное впечатление: как будто он говорил оттуда, исподлобья, где глаза.

— Вам от нее письмо (исподлобья, из-под навеса). Просила, чтобы непременно — все, как там сказано.

Исподлобья, из-под навеса — кругом. Да никого, никого нет, ну, давай же! Еще раз оглянувшись, он сунул мне конверт, ушел. Я один.

Нет, не один: из конверта — розовый талон

и — чуть приметный — ее запах. Это она, она придет, придет ко мне. Скорее — письмо, чтобы прочитать это своими глазами, чтобы поверить в это до конца…

Что? Не может быть! Я читаю еще раз — перепрыгиваю через строчки: «Талон… и непременно спустите шторы, как будто я и в самом деле у вас… Мне необходимо, чтобы думали, что я… мне очень, очень жаль…»

Письмо — в клочья. В зеркале на секунду — мои исковерканные, сломанные брови. Я беру талон, чтобы и его так же, как ее записку —

> «Просила, чтоб непременно все, как там сказано».

Руки ослабели, разжались. Талон выпал из них на стол. Она — сильнее меня, и я, кажется, сделаю так, как она хочет. А впрочем… впрочем, не знаю: увидим — до вечера еще далеко… Талон лежит на столе.

В зеркале мои исковерканные, сломанные брови. Отчего и на сегодня у меня нет докторского свидетельства, пойти бы ходить, ходить без конца, кругом всей Зеленой Стены — и потом свалиться в кровать — на дно… А я должен — в 13-й аудиторию, я должен накрепко завинтить всего

себя, чтобы два часа — два часа, не шевелясь… когда надо кричать, топать.

Лекция. Очень странно, что из сверкающего аппарата — не металлический, как обычно, а какой-то мягкий, мохнатый, моховой голос. Женский — мне мелькает она такою, какою когда-то жила: маленькая — крючочек-старушка, вроде той — у Древнего Дома.

Древний Дом… и все сразу — фонтаном — снизу, и мне нужно изо всех сил завинтить себя, чтобы не затопить криком весь аудиториум. Мягкие, мохнатые слова — сквозь меня, и от всего остается только одно: что-то — о детях, о детоводстве. Я как фотографическая пластинка: все отпечатываю в себе с какой-то чужой, посторонней, бессмысленной точностью: золотой серп — световой отблеск на громкоговорителе; под ним — ребенок, живая иллюстрация — тянется к сердцу; засунут в рот подол микроскопической юнифы; крепко стиснутый кулачок, большой (вернее — очень маленький) палец зажат внутрь — легкая, пухлая тень — складочка на запястье. Как фотографическая пластинка — я отпечатываю: вот теперь голая нога — перевесилась через край, розовый веер пальцев ступает на воздух — вот сейчас, сейчас об пол —

И — женский крик, на эстраду взмахнула прозрачными крыльями юнифа, подхватила ребенка — губами — в пухлую складочку на запястье, сдвинула на середину стола, спускается с эстрады. Во мне печатается: розовый — рожками книзу — полумесяц рта, налитые до краев синие блюдечки-глаза. Это — О. И я, как при чтении какой-нибудь стройной формулы, — вдруг ощущаю необходимость, закономерность этого ничтожного случая.

Она села чуть-чуть сзади меня и слева. Я оглянулся; она послушно отвела глаза от стола с ребенком, глазами — в меня, во мне, и опять: она, я и стол на эстраде — три точки, и через эти точки — прочерчены линии, проекция каких-то неминуемых, еще невидимых событий.

Домой — по зеленой, сумеречной, уже глазастой от огней улице. Я слышал: весь тикаю — как часы. И стрелки во мне — сейчас перешагнут через какую-то цифру, я сделаю что-то такое, что уже нельзя будет назад. Ей нужно, чтобы кто-то там думал: она — у меня. А мне нужна она, и что мне за дело до ее «нужно». Я не хочу быть чужими шторами — не хочу, и все.

Сзади — знакомая, плюхающая, как по лужам, походка. Я уже не оглядываюсь, знаю: S. Пойдет

за мною до самых дверей — и потом, наверное, будет стоять внизу, на тротуаре, и буравчиками ввинчиваться туда, наверх, в мою комнату — пока там не упадут, скрывая чье-то преступление, шторы…

Он, Ангел-Хранитель, поставил точку. Я решил: нет. Я решил.

Когда я поднялся в комнату и повернул выключатель — я не поверил глазам: возле моего стола стояла О. Или, вернее, — висела: так висит пустое, снятое платье — под платьем у нее как будто уж не было ни одной пружины, беспружинными были руки, ноги, беспружинный, висячий голос.

— Я — о своем письме. Вы получили его? Да? Мне нужно знать ответ, мне нужно — сегодня же.

Я пожал плечами. Я с наслаждением — как будто она была во всем виновата — смотрел на ее синие, полные до краев глаза — медлил с ответом. И с наслаждением, втыкая в нее по одному слову, сказал:

— Ответ? Что ж… Вы правы. Безусловно. Во всем.

— Так, значит… (Улыбкою прикрыта мельчайшая дрожь, но я вижу.) Ну очень хорошо! Я сейчас — я сейчас уйду.

И висела над столом. Опущенные глаза, ноги, руки. На столе еще лежит скомканный розовый талон той. Я быстро развернул эту свою рукопись — «МЫ» — ее страницами прикрыл талон (быть может, больше от самого себя, чем от О).

— Вот — все пишу. Уже 170 страниц… Выходит такое что-то неожиданное…

Голос — тень голоса:

— А помните… я вам тогда на седьмой странице… Я вам тогда капнула — и вы…

Синие блюдечки — через край, неслышные, торопливые капли — по щекам, вниз, торопливые через край — слова:

— Я не могу, я сейчас уйду… я никогда больше, и пусть. Но только я хочу — я должна от вас ребенка — оставьте мне ребенка, и я уйду, я уйду!

Я видел: она вся дрожала под юнифой, и чувствовал: я тоже сейчас — Я заложил назад руки, улыбнулся:

— Что? Захотелось Машины Благодетеля?

И на меня — все так же, ручьями через плотины — слова:

— Пусть! Но ведь я же почувствую — я почувствую его в себе. И хоть несколько дней… Увидеть — только раз увидеть у него складочку вот тут — как там — как на столе. Один день!

Три точки: она, я — и там на столе кулачок с пухлой складочкой…

Однажды в детстве, помню, нас повели на аккумуляторную башню. На самом верхнем пролете я перегнулся через стеклянный парапет, внизу — точки-люди, и сладко тикнуло сердце: «А что, если?» Тогда я только еще крепче схватился за поручни; теперь — я прыгнул вниз.

— Так вы хотите? Совершенно сознавая, что…

Закрытые — как будто прямо в лицо солнцу — глаза. Мокрая, сияющая улыбка.

— Да, да! Хочу!

Я выхватил из-под рукописи розовый талон — *той* — и побежал вниз, к дежурному. О схватила меня за руку, что-то крикнула, но что — я понял только потом, когда вернулся.

Она сидела на краю постели, руки крепко зажаты в коленях.

— Это… это ее талон?

— Не все ли равно. Ну — ее, да.

Что-то хрустнуло. Скорее всего — О просто шевельнулась. Сидела, руки в коленях, молчала.

— Ну? Скорее… — я грубо стиснул ей руку, и красные пятна (завтра — синяки) у ней на запястье, там — где пухлая детская складочка.

Это — последнее. Затем — повернут выклю-

чатель, мысли гаснут, тьма, искры — и я через парапет вниз…

Запись 20-я.
Конспект:

РАЗРЯД. МАТЕРИАЛ ИДЕЙ. НУЛЕВОЙ УТЕС

Разряд — самое подходящее определение. Теперь я вижу, что это было именно как электрический разряд. Пульс моих последних дней становится все суше, все чаще, все напряженней — полюсы все ближе — сухое потрескивание — еще миллиметр: взрыв, потом — тишина.

Во мне теперь очень тихо и пусто — как в доме, когда все ушли и лежишь один, больной, и так ясно слышишь отчетливое, металлическое постукивание мыслей.

Быть может, этот «разряд» излечил меня, наконец от моей мучительной «души» — и я снова стал, как все мы. По крайней мере, сейчас я без всякой боли мысленно вижу О на ступенях Куба, вижу ее в Газовом Колоколе. И если там, в Операционном, она назовет мое имя — пусть: в последний момент — я набожно и благодарно лобызну карающую руку Благодетеля. У меня по отношению к Единому Государству есть это

право — понести кару, и этого права я не уступлю. Никто из нас, нумеров, не должен, не смеет отказаться от этого единственного своего — и тем ценнейшего — права.

… Тихонько, металлически отчетливо постукивают мысли; неведомый аэро уносит меня в синюю высь моих любимых абстракций. И я вижу, как здесь — в чистейшем, разреженном воздухе — с легким треском, как пневматическая шина, — лопается мое рассуждение «о действенном праве». И я вижу ясно, что это только отрыжка нелепого предрассудка древних — их идеи о «праве».

Есть идеи глиняные — и есть идеи, навеки изваянные из золота или драгоценного нашего стекла. И, чтобы определить материал идеи, нужно только капнуть на него сильнодействующей кислотой. Одну из таких кислот знали и древние: reductio ad finem. Кажется, это называлось у них так; но они боялись этого яда, они предпочитали видеть хоть какое-нибудь, хоть глиняное, хоть игрушечное небо, чем синее ничто. Мы же — слава Благодетелю — взрослые, и игрушки нам не нужны.

Так вот — если капнуть на идею «права». Даже у древних — наиболее взрослые знали: источник

права — сила, право — функция от силы. И вот — две чашки весов: на одной грамм, на другой — тонна, на одной — «я», на другой — «Мы», Единое Государство. Не ясно ли: допускать, что у «я» могут быть какие-то «права» по отношению к Государству, и допускать, что грамм может уравновесить тонну, — это совершенно одно и то же. Отсюда — распределение: тонне — права, грамму — обязанности; и естественный путь от ничтожества к величию: забыть, что ты — грамм, и почувствовать себя миллионной долей тонны…

Вы, пышнотелые, румяные венеряне, вы, закопченные, как кузнецы, ураниты, — я слышу в своей синей тишине ваш ропот. Но поймите же вы: все великое — просто; поймите же: незыблемы и вечны только четыре правила арифметики. И великой, незыблемой, вечной — пребудет только мораль, построенная на четырех правилах. Это — последняя мудрость, это — вершина той пирамиды, на которую люди — красные от пота, брыкаясь и хрипя, карабкались веками. И с этой вершины — там, на дне, где ничтожными червями еще копошится нечто, уцелевшее в нас от дикости предков, — с этой вершины одинаковы: и противозаконная мать — О, и убийца, и тот безумец, дерзнувший бросить стихом в

Единое Государство; и одинаков для них суд: доврeменная смерть. Это — то самое божественное правосудие, о каком мечтали каменнодомовые люди, освещенные розовыми наивными лучами утра истории: их «Бог» — хулу на Святую Церковь — карал так же, как убийство.

Вы, ураниты, — суровые и черные, как древние испанцы, мудро умевшие сжигать на кострах, — вы молчите, мне кажется, вы — со мною. Но я слышу: розовые венеряне — что-то там о пытках, казнях, о возврате к варварским временам. Дорогие мои: мне жаль вас — вы не способны философски-математически мыслить.

Человеческая история идет вверх кругами — как аэро. Круги разные — золотые, кровавые, но все они одинаково разделены на 360 градусов. И вот от нуля — вперед: 10, 20, 200, 360 градусов — опять нуль. Да, мы вернулись к нулю — да. Но для моего математически мыслящего ума ясно: нуль — совсем другой, новый. Мы пошли от нуля вправо — мы вернулись к нулю слева и потому: вместо плюса нуль — у нас минус нуль. Понимаете?

Этот Нуль мне видится каким-то молчаливым, громадным, узким, острым, как нож, утесом. В свирепой, косматой темноте, затаив дыхание, мы

отчалили от черной ночной стороны Нулевого Утеса. Века — мы, Колумбы, плыли, плыли, мы обогнули всю землю кругом, и, наконец, ура! Салют — и все на мачты: перед нами — другой, дотоле неведомый бок Нулевого Утеса, озаренный полярным сиянием Единого Государства, голубая глыба, искры радуги, солнца — сотни солнц, миллиарды радуг…

Что из того, что лишь толщиною ножа отделены мы от другой черной стороны Нулевого Утеса. Нож — самое прочное, самое бессмертное, самое гениальное из всего, созданного человеком. Нож — был гильотиной, нож — универсальный способ разрешить все узлы, и по острию ножа идет путь парадоксов — единственно достойный бесстрашного ума путь…

Запись 21-я.
Конспект:

АВТОРСКИЙ ДОЛГ. ЛЕД НАБУХАЕТ. САМАЯ ТРУДНАЯ ЛЮБОВЬ

Вчера был ее день, а она — опять не пришла, и опять от нее — невнятная, ничего не разъясняющая записка. Но я спокоен, совершенно спокоен. Если я все же поступаю так, как это продиктовано в записке, если я все же отношу к дежурному

ее талон и затем, опустив шторы, сижу у себя в комнате один — так это, разумеется, не потому, чтобы я был не в силах идти против ее желания. Смешно! Конечно, нет. Просто — отделенный шторами от всех пластырецелительных улыбок, я могу спокойно писать вот эти самые страницы, это первое. И второе: в ней, в I, я боюсь потерять, быть может, единственный ключ к раскрытию всех неизвестных (история со шкафом, моя временная смерть и так далее). А раскрыть их — я теперь чувствую себя обязанным, просто даже как автор этих записей, не говоря уже о том, что вообще неизвестное органически враждебно человеку, и homo sapiens — только тогда человек в полном смысле этого слова, когда в его грамматике совершенно нет вопросительных знаков, но лишь одни восклицательные, запятые и точки.

И вот, руководимый, как мне кажется, именно авторским долгом, сегодня в 16 я взял аэро и снова отправился в Древний Дом. Был сильный встречный ветер. Аэро с трудом продирался сквозь воздушную чащу, прозрачные ветви свистели и хлестали. Город внизу — весь будто из голубых глыб льда. Вдруг — облако, быстрая косая тень, лед свинцовеет, набухает, как весной, когда стоишь на берегу и ждешь: вот сейчас все треснет,

хлынет, закрутится, понесет; но минута за минутой, а лед все стоит, и сам набухаешь, сердце бьется все беспокойней, все чаще (впрочем, зачем пишу я об этом и откуда эти странные ощущения? Потому что ведь нет такого ледокола, какой мог бы взломать прозрачнейший и прочнейший хрусталь нашей жизни…).

У входа в Древний Дом — никого. Я обошел кругом и увидел старуху привратницу возле Зеленой Стены: приставила козырьком руку, глядит вверх. Там над Стеной — острые, черные треугольники каких-то птиц: с карканием бросаются на приступ — грудью о прочную ограду из электрических волн — и назад, и снова над Стеною.

Я вижу: по темному, заросшему морщинами лицу — косые, быстрые тени, быстрый взгляд на меня.

— Никого, никого, никого нету! Да! И ходить незачем. Да…

То есть как это незачем? И что это за странная манера — считать меня только чьей-то тенью. А может быть, сами вы все — мои тени. Разве я не населил вами эти страницы — еще недавно четырехугольные белые пустыни. Без меня разве бы увидели вас все те, кого я поведу за собой по

узким тропинкам строк?

Всего этого я, разумеется, не сказал ей; по собственному опыту я знаю: самое мучительное — это заронить в человека сомнение в том, что он — реальность, трехмерная — а не какая-либо иная — реальность. Я только сухо заметил ей, что ее дело открывать дверь, и она впустила меня во двор.

Пусто. Тихо. Ветер — там, за стенами, далекий, как тот день, когда мы плечом к плечу, двое-одно, вышли снизу, из коридоров, — если только это действительно было. Я шел под какими-то каменными арками, где шаги, ударившись о сырые своды, падали позади меня, — будто все время другой шагал за мной по пятам. Желтые — с красными кирпичными прыщами — стены следили за мной сквозь темные квадратные очки окон, следили, как я открывал певучие двери сараев, как я заглядывал в углы, тупики, закоулки. Калитка в заборе и пустырь — памятник Великой Двухсотлетней Войны: из земли — голые каменные ребра, желтые оскаленные челюсти стен, древняя печь с вертикалью трубы — навеки окаменевший корабль среди каменных желтых и красных кирпичных всплесков.

Показалось: именно эти желтые зубы я уже ви-

дел однажды — неясно, как на дне, сквозь толщу воды — и я стал искать. Проваливался в ямы, спотыкался о камни, ржавые лапы хватали меня за юнифу, по лбу ползли вниз, в глаза, остросоленые капли пота…

Нигде! Тогдашнего выхода снизу из коридоров я нигде не мог найти — его не было. А впрочем — так, может быть; и лучше: больше вероятия, что все это — был один из моих нелепых «снов».

Усталый, весь в какой-то паутине, в пыли, — я уже открыл калитку — вернуться на главный двор. Вдруг сзади — шорох, хлюпающие шаги, и передо мною — розовые крылья-уши, двоякоизогнутая улыбка S.

Он, прищурившись, ввинтил в меня свои буравчики и спросил:

— Прогуливаетесь?

Я молчал. Руки мешали.

— Ну что же, теперь лучше себя чувствуете?

— Да, благодарю вас. Кажется, прихожу в норму.

Он отпустил меня — поднял глаза вверх. Голова запрокинута — и я в первый раз заметил его кадык.

Вверху невысоко — метрах в 50 — жужжали аэро. По их медленному низкому лету, по спу-

щенным вниз черным хоботам наблюдательных труб — я узнал аппараты Хранителей. Но их было не два и не три, как обычно, а от десяти до двенадцати (к сожалению, должен ограничиться приблизительной цифрой).

— Отчего их так сегодня много? — взял я на себя смелость спросить.

— Отчего? Гм… Настоящий врач начинает лечить еще здорового человека, такого, какой заболеет еще только завтра, послезавтра, через неделю. Профилактика, да!

Он кивнул, заплюхал по каменным плитам двора. Потом обернулся — и через плечо мне:

— Будьте осторожны!

Я один. Тихо. Пусто. Далеко над Зеленой Стеной мечутся птицы, ветер. Что он этим хотел сказать?

Аэро быстро скользит по течению. Легкие, тяжелые тени от облаков, внизу — голубые купола, кубы из стеклянного льда — свинцевеют, набухают…

Вечером:

Я раскрыл свою рукопись, чтобы занести на эти страницы несколько, как мне кажется, полезных (для вас, читатели) мыслей о великом Дне

Единогласия — этот день уже близок. И увидел: не могу сейчас писать. Все время вслушиваюсь, как ветер хлопает темными крыльями о стекло стен, все время оглядываюсь, жду. Чего? Не знаю. И когда в комнате у меня появились знакомые коричневато-розовые жабры — я был очень рад, говорю чистосердечно. Она села, целомудренно оправила запавшую между колен складку юнифы, быстро обклеила всего меня улыбками — по кусочку на каждую из моих трещин, — и я почувствовал себя приятно, крепко связанным.

— Понимаете, прихожу сегодня в класс (она работает на Детско-воспитательном Заводе) — и на стене карикатура. Да, да, уверяю вас! Они изобразили меня в каком-то рыбьем виде. Быть может, я и на самом деле…

— Нет, нет, что вы, — поторопился я сказать (вблизи, в самом деле, ясно, что ничего похожего на жабры нет, и у меня о жабрах — это было совершенно неуместно).

— Да в конце концов — это и не важно. Но, понимаете: самый поступок. Я, конечно, вызвала Хранителей. Я очень люблю детей, и я считаю, что самая трудная и высокая любовь — это жестокость, — вы понимаете?

Еще бы! Это так пересекалось с моими мыс-

лями. Я не утерпел и прочитал ей отрывок из своей 20-й записи, начиная отсюда: «Тихонько, металлически отчетливо постукивают мысли…»

Не глядя, я видел, как вздрагивают коричнево-розовые щеки и они двигаются ко мне все ближе, и вот в моих руках — сухие, твердые, даже слегка покалывающие пальцы.

— Дайте — дайте это мне! Я сфонографирую это и заставлю детей выучить наизусть. Это нужно не столько вашим венерянам, сколько нам, нам — сейчас, завтра, послезавтра.

Она оглянулась — и совсем тихо:

— Вы слышали: говорят, что в День Единогласия…

Я вскочил:

— Что — что говорят? Что — в День Единогласия?

Уютных стен уже не было. Я мгновенно почувствовал себя выброшенным туда, наружу, где над крышами метался огромный ветер и косые сумеречные облака — все ниже…

Ю обхватила меня за плечи решительно, твердо (хотя я заметил: резонируя мое волнение — косточки ее пальцев дрожали).

— Сядьте, дорогой, не волнуйтесь. Мало ли что говорят… И потом: если только вам это нужно — в этот день я буду около вас, я оставлю своих детей из школы на кого-нибудь другого — и буду с вами, потому что ведь вы, дорогой, вы — тоже

дитя, и вам нужно…

— Нет, нет, — замахал я, — ни за что! Тогда вы в самом деле будете думать, что я какой-то ребенок — что я один не могу… Ни за что! (Сознаюсь: у меня были другие планы относительно этого дня.)

Она улыбнулась; неписаный текст улыбки, очевидно, был: «Ах какой упрямый мальчик!» Потом села. Глаза опущены. Руки стыдливо оправляют снова запавшую между колен складку юнифы — и теперь о другом:

— Я думаю, что я должна решиться… ради вас… Нет, умоляю вас: не торопите меня, я еще должна подумать…

Я не торопил. Хотя и понимал, что должен быть счастлив и что нет большей чести, чем увенчать собою чьи-нибудь вечерние годы.

… Всю ночь — какие-то крылья, и я хожу и закрываю голову руками от крыльев. А потом — стул. Но стул — не наш, теперешний, а древнего образца, из дерева. Я перебираю ногами, как лошадь (правая передняя — и левая задняя, левая передняя и правая задняя), стул подбегает к моей кровати, влезает на нее — и я люблю деревянный стул: неудобно, больно.

Удивительно: неужели нельзя придумать никакого средства, чтобы излечить эту сноболезнь

или сделать ее разумной — может быть, даже полезной.

Запись 22-я.
Конспект:

ОЦЕПЕНЕВШИЕ ВОЛНЫ. ВСЕ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ. Я – МИКРОБ

Вы представьте себе, что стоите на берегу: волны — мерно вверх; и поднявшись — вдруг так и остались, застыли, оцепенели. Вот так же жутко и неестественно было и это — когда внезапно спуталась, смешалась, остановилась наша, предписанная Скрижалью, прогулка. Последний раз нечто подобное, как гласят наши летописи, произошло 119 лет назад, когда в самую чащу прогулки, со свистом и дымом, свалился с неба метеорит.

Мы шли так, как всегда, то есть так, как изображены воины на ассирийских памятниках: тысяча голов — две слитные, интегральные ноги, две интегральные, в размахе, руки. В конце проспекта — там, где грозно гудела аккумулирующая башня, — навстречу нам четырехугольник: по бокам, впереди, сзади — стража; в середине трое, на юнифах этих людей — уже нет золотых нумеров

— и все до жути ясно.

Огромный циферблат на вершине башни — это было лицо: нагнулось из облаков и, сплевывая вниз секунды, равнодушно ждало. И вот ровно в 13 часов и 6 минут — в четырехугольнике произошло замешательство. Все это было совсем близко от меня, мне видны были мельчайшие детали, и очень ясно запомнилась тонкая, длинная шея и на виске — путаный переплет голубых жилок, как реки на географической карте маленького неведомого мира, и этот неведомый мир — видимо, юноша. Вероятно, он заметил кого-то в наших рядах: поднялся на цыпочки, вытянул шею, остановился. Один из стражи щелкнул по нему синеватой искрой электрического кнута; он тонко, по-щенячьи, взвизгнул. И затем — четкий щелк, приблизительно каждые 2 секунды — и взвизг, щелк — взвизг.

Мы по-прежнему, мерно, ассирийски шли — и я, глядя на изящные зигзаги искр, думал: «Все в человеческом обществе безгранично совершенствуется — и должно совершенствоваться. Каким безобразным орудием был древний кнут — и сколько красоты…»

Но здесь, как соскочившая на полном ходу гайка, от наших рядов оторвалась тонкая, упруго-

гибкая женская фигура и с криком: «Довольно! Не сметь!» — бросилась прямо туда, в четырехугольник. Это было — как метеор — 119 лет назад: вся прогулка застыла, и наши ряды — серые гребни скованных внезапным морозом волн.

Секунду я смотрел на нее посторонне, как и все: она уже не была нумером — она была только человеком, она существовала только как метафизическая субстанция оскорбления, нанесенного Единому Государству. Но одно какое-то ее движение — заворачивая, она согнула бедра налево — и мне вдруг ясно: я знаю, я знаю это гибкое, как хлыст, тело — мои глаза, мои губы, мои руки знают его — в тот момент я был в этом совершенно уверен.

Двое из стражи — наперерез ей. Сейчас — в пока еще ясной, зеркальной точке мостовой — их траектории пересекутся — сейчас ее схватят… Сердце у меня глотнуло, остановилось — и не рассуждая: можно, нельзя, нелепо, разумно — я кинулся в эту точку…

Я чувствовал на себе тысячи округленных от ужаса глаз, но это только давало еще больше какой-то отчаянно веселой силы тому дикому, волосаторукому, что вырвался из меня, и он бежал все быстрее. Вот уже два шага, она обернулась

— —

Передо мною дрожащее, забрызганное веснушками лицо, рыжие брови… Не она! не I.

Бешеная, хлещущая радость. Я хочу крикнуть что-то вроде: «Так ее!», «Держи ее!» — но слышу только свой шепот. А на плече у меня — уже тяжелая рука, меня держат, ведут, я пытаюсь объяснить им…

— Послушайте, но ведь вы же должны понять, что я думал, что это…

Но как объяснить всего себя, всю свою болезнь, записанную на этих страницах. И я потухаю, покорно иду… Лист, сорванный с дерева неожиданным ударом ветра, покорно падает вниз, но по пути кружится, цепляется за каждую знакомую ветку, развилку, сучок: так я цеплялся за каждую из безмолвных шаров-голов, за прозрачный лед стен, за воткнутую в облако голубую иглу аккумуляторной башни.

В этот момент, когда глухой занавес окончательно готов был отделить от меня весь этот прекрасный мир, я увидел: невдалеке, размахивая розовыми руками-крыльями, над зеркалом мостовой скользила знакомая, громадная голова. И знакомый, сплющенный голос:

— Я считаю долгом засвидетельствовать, что

нумер Д-503 — болен и не в состоянии регулировать своих чувств. И я уверен, что он увлечен был естественным негодованием.

— Да, да, — ухватился я. — Я даже крикнул: держи ее!

Сзади, за плечами:

— Вы ничего не кричали.

— Да, но я хотел — клянусь Благодетелем, я хотел.

Я на секунду провинчен серыми, холодными буравчиками глаз. Не знаю, увидел ли он во мне, что это (почти) правда, или у него была какая-то тайная цель опять на время пощадить меня, но только он написал записочку, отдал ее одному из державших меня, — и я снова свободен, то есть, вернее, снова заключен в стройные, бесконечные, ассирийские ряды.

Четырехугольник, и в нем веснушчатое лицо, и висок с географической картой голубых жилок — скрылись за углом, навеки. Мы идем — одно миллионоголовое тело, и в каждом из нас — та смиренная радость, какою, вероятно, живут молекулы, атомы, фагоциты. В древнем мире — это понимали христиане, единственные наши (хотя и очень несовершенные) предшественники: смирение — добродетель, а гордыня — порок, и что

— «МЫ» — от Бога, а «Я» — от диавола.

Вот я — сейчас в ногу со всеми — и все-таки отдельно от всех. Я еще весь дрожу от пережитых волнений, как мост, по которому только что прогрохотал древний железный поезд. Я чувствую себя. Но ведь чувствуют себя, сознают свою индивидуальность — только засоренный глаз, нарывающий палец, больной зуб: здоровый глаз, палец, зуб — их будто и нет. Разве не ясно, что личное сознание — это только болезнь?

Я, быть может, уже не фагоцит, деловито и спокойно пожирающий микробов (с голубым виском и веснушчатых): я, быть может, микроб, и, может быть, их — уже тысяча среди нас, еще прикидывающихся, как и я, фагоцитами…

Что, если сегодняшнее, в сущности, маловажное происшествие — что, если все это только начало, только первый метеорит из целого ряда грохочущих горящих камней, высыпанных бесконечностью на наш стеклянный рай?

Запись 23-я.
Конспект:

ЦВЕТЫ. РАСТВОРЕНИЕ КРИСТАЛЛА. ЕСЛИ ТОЛЬКО

Говорят, есть цветы, которые распускаются

только раз в сто лет. Отчего же не быть и таким, какие цветут раз в тысячу — в десять тысяч лет. Может быть, об этом до сих пор мы не знали только потому, что именно сегодня пришло это раз-в-тысячу-лет.

И вот, блаженно и пьяно, я иду по лестнице вниз, к дежурному, и быстро у меня на глазах, всюду кругом неслышно лопаются тысячелетние почки и расцветают кресла, башмаки, золотые бляхи, электрические лампочки, чьи-то темные лохматые глаза, граненые колонки перил, оброненный на ступенях платок, столик дежурного, над столиком — нежно-коричневые, с крапинками щеки Ю. Все — необычайное, новое, нежное, розовое, влажное.

Ю берет у меня розовый талон, а над головой у ней — сквозь стекло стены — свешивается с невиданной ветки луна, голубая, пахучая. Я с торжеством показываю пальцем и говорю:

— Луна, — понимаете?

Ю взглядывает на меня, потом на нумер талона — и я вижу это ее знакомое, такое очаровательно-целомудренное движение: поправляет складки юнифы между углами колен.

— У вас, дорогой, ненормальный, болезненный вид — потому что ненормальность и болезнь

одно и то же. Вы себя губите, и вам этого никто не скажет — никто.

Это «никто» — конечно, равняется нумеру на талоне: I-330. Милая, чудесная Ю! Вы, конечно, правы: я — неблагоразумен, я — болен, у меня — душа, я — микроб. Но разве цветение — не болезнь? Разве не больно, когда лопается почка? И не думаете ли вы, что сперматозоид — страшнейший из микробов?

Я — наверху, у себя в комнате. В широко раскрытой чашечке кресла I. Я на полу, обнял ее ноги, моя голова у ней на коленях, мы молчим. Тишина, пульс… и так: я — кристалл, и я растворяюсь в ней, в I. Я совершенно ясно чувствую, как тают, тают ограничивающие меня в пространстве шлифованные грани — я исчезаю, растворяюсь в ее коленях, в ней, я становлюсь все меньше — и одновременно все шире, все больше, все необъятней. Потому что она — это не она, а вселенная. А вот на секунду я и это пронизанное радостью кресло возле кровати — мы одно: и великолепно улыбающаяся старуха у дверей Древнего Дома, и дикие дебри за Зеленой Стеной, и какие-то серебряные на черном развалины, дремлющие, как старуха, и где-то, невероятно далеко, сейчас хлопнувшая дверь — это все во мне, вместе со

мною, слушает удары пульса и несется сквозь блаженную секунду… В нелепых, спутанных, затопленных словах я пытаюсь рассказать ей, что я — кристалл, и потому во мне — дверь, и потому я чувствую, как счастливо кресло. Но выходит такая бессмыслица, что я останавливаюсь, мне просто стыдно: я — и вдруг…

— Милая I, прости меня! Я совершенно не понимаю: я говорю такие глупости…

— Отчего же ты думаешь, что глупость — это не хорошо? Если бы человеческую глупость холили и воспитывали веками, так же, как ум, может быть, из нее получилось бы нечто необычайно драгоценное.

— Да… (Мне кажется, она права, — как она может сейчас быть неправа?)

— И за одну твою глупость — за то, что ты сделал вчера на прогулке, — я люблю тебя еще больше — еще больше.

— Но зачем же ты меня мучила, зачем же не приходила, зачем присылала свои талоны, зачем заставляла меня…

— А может быть, мне нужно было испытать тебя? Может быть, мне нужно знать, что ты сделаешь все, что я захочу — что ты уж совсем мой?

— Да, совсем!

Она взяла мое лицо — всего меня — в свои ладони, подняла мою голову:

— Ну, а как же ваши «обязанности всякого честного нумера»? А?

Сладкие, острые, белые зубы; улыбка. Она в раскрытой чашечке кресла — как пчела: в ней жало и мед.

Да, обязанности… Я мысленно перелистываю свои последние записи: в самом деле, нигде даже и мысли о том, что, в сущности, я бы должен…

Я молчу. Я восторженно (и, вероятно, глупо) улыбаюсь, смотрю в ее зрачки, перебегаю с одного на другой, и в каждом из них вижу себя: я — крошечный, миллиметровый — заключен в этих крошечных, радужных темницах. И затем опять — пчелы — губы, сладкая боль цветения…

В каждом из нас, нумеров, есть какой-то невидимый, тихо тикающий метроном, и мы, не глядя на часы, с точностью до 5 минут знаем время. Но тогда — метроном во мне остановился, я не знал, сколько прошло, в испуге схватил из-под подушки бляху с часами…

Слава Благодетелю: еще двадцать минут! Но минуты — такие до смешного коротенькие, куцые, бегут, а мне нужно столько рассказать ей — все, всего себя: о письме О и об ужасном вече-

ре, когда я дал ей ребенка; и почему-то о своих детских годах — о математике Пляпе, о √-1, и как я в первый раз был на празднике Единогласия и горько плакал, потому что у меня на юнифе — в такой день — оказалось чернильное пятно.

I подняла голову, оперлась на локоть. По углам губ — две длинные, резкие линии — и темный угол поднятых бровей: крест.

— Может быть, в этот день… — остановилась, и брови еще темнее. Взяла мою руку, крепко сжала ее. — Скажи, ты меня не забудешь, ты всегда будешь обо мне помнить?

— Почему ты так? О чем ты? I, милая?

I молчала, и ее глаза уже — мимо меня, сквозь меня, далекие. Я вдруг услышал, как ветер хлопает о стекло огромными крыльями (разумеется — это было и все время, но услышал я только сейчас), и почему-то вспомнились пронзительные птицы над вершиной Зеленой Стены.

I встряхнула головой, сбросила с себя что-то. Еще раз, секунду, коснулась меня вся — так аэро секундно, пружинно касается земли перед тем, как сесть.

— Ну, давай мои чулки! Скорее!

Чулки — брошены у меня на столе, на раскрытой (193-й) странице моих записей. Второпях

я задел за рукопись, страницы рассыпались, и никак не сложить по порядку, а главное — если и сложить, все равно — не будет настоящего порядка, все равно — останутся какие-то пороги, ямы, иксы.

— Я не могу так, — сказал я. — Ты — вот — здесь, рядом, и будто все-таки за древней непрозрачной стеной: я слышу сквозь стены шорохи, голоса — и не могу разобрать слов, не знаю, что там. Я не могу так. Ты все время что-то недоговариваешь, ты ни разу не сказала мне, куда я тогда попал в Древнем Доме, и какие коридоры, и почему доктор, — или, может быть, ничего этого не было?

I положила мне руки на плечи, медленно, глубоко вошла в глаза.

— Ты хочешь узнать все?

— Да, хочу. Должен.

— И ты не побоишься пойти за мной всюду, до конца — куда бы я тебя ни повела?

— Да, всюду!

— Хорошо. Обещаю тебе: когда кончится праздник, если только… Ах да: а как ваш «*Интеграл*» — все забываю спросить, — скоро?

— Нет: что «если только»? Опять? Что «если только»?

Она (уже у двери):

— Сам увидишь…

Я — один. Все, что от нее осталось, — это чуть слышный запах, похожий на сладкую, сухую, желтую пыль каких-то цветов из-за Стены. И еще: прочно засевшие во мне крючочки-вопросы — вроде тех, которыми пользовались древние для охоты на рыбу (Доисторический Музей).

… Почему она вдруг об «*Интеграле*»?

Запись 24-я.
Конспект:

ПРЕДЕЛ ФУНКЦИИ. ПАСХА. ВСЕ ЗАЧЕРКНУТЬ

Я — как машина, пущенная на слишком большое число оборотов: подшипники накалились, еще минута — закапает расплавленный металл, и все — в ничто. Скорее — холодной воды, логики. Я лью ведрами, но логика шипит на горячих подшипниках и расплывается в воздухе неуловимым белым паром.

Ну да, ясно: чтобы установить истинное значение функции — надо взять ее предел. И ясно, что вчерашнее нелепое «растворение во вселенной», взятое в пределе, есть смерть. Потому что смерть — именно полнейшее растворение меня во вселенной. Отсюда, если через «*Л*» обозначим

любовь, а через «*С*» смерть, то Л = f(С), то есть любовь и смерть…

Да, именно, именно. Потому-то я и боюсь I, я борюсь с ней, я не хочу. Но почему же во мне рядом и «я не хочу» и «мне хочется»? В том-то и ужас, что мне хочется опять этой вчерашней блаженной смерти. В том-то и ужас, что даже теперь, когда логическая функция проинтегрирована, когда очевидно, что она неявно включает в себя смерть, я все-таки хочу ее губами, руками, грудью, каждым миллиметром…

Завтра — День Единогласия. Там, конечно, будет и она, увижу ее, но только издали. Издали — это будет больно, потому что мне надо, меня неудержимо тянет, чтобы — рядом с ней, чтобы — ее руки, ее плечо, ее волосы… Но я хочу даже этой боли — пусть.

Благодетель великий! Какой абсурд — хотеть боли. Кому же не понятно, что болевые — отрицательные — слагаемые уменьшают ту сумму, которую мы называем счастьем. И следовательно…

И вот — никаких «следовательно». Чисто. Голо.

Вечером:

Сквозь стеклянные стены дома — ветреный,

лихорадочно-розовый, тревожный закат. Я поворачиваю кресло так, чтобы передо мною не торчало это розовое, перелистываю записи — и вижу: опять я забыл, что пишу не для себя, а для вас, неведомые, кого я люблю и жалею, — для вас, еще плетущихся где-то в далеких веках, внизу.

Вот — о Дне Единогласия, об этом великом дне. Я всегда любил его — с детских лет. Мне кажется, для нас — это нечто вроде того, что для древних была их «Пасха». Помню, накануне, бывало, составишь себе такой часовой календарик — с торжеством вычеркиваешь по одному часу: одним часом ближе, на один час меньше ждать… Будь я уверен, что никто не увидит, — честное слово, я бы и нынче всюду носил с собой такой календарик и следил по нему, сколько еще осталось до завтра, когда я увижу — хоть издали…

(Помешали: принесли новую, только что из мастерской, юнифу. По обычаю, нам всем выдают новые юнифы к завтрашнему дню. В коридоре — шаги, радостные возгласы, шум.)

Я продолжаю. Завтра я увижу все то же, из года в год повторяющееся и каждый раз по-новому волнующее зрелище: могучую чашу согласия, благоговейно поднятые руки. Завтра — день ежегодных выборов Благодетеля. Завтра мы снова

вручим Благодетелю ключи от незыблемой твердыни нашего счастья.

Разумеется, это непохоже на беспорядочные, неорганизованные выборы у древних, когда — смешно сказать — даже неизвестен был заранее самый результат выборов. Строить государство на совершенно неучитываемых случайностях, вслепую — что может быть бессмысленней? И вот все же, оказывается, нужны были века, чтобы понять это.

Нужно ли говорить, что у нас и здесь, как во всем, — ни для каких случайностей нет места, никаких неожиданностей быть не может. И самые выборы имеют значение скорее символическое: напомнить, что мы единый, могучий миллионоклеточный организм, что мы — говоря словами «Евангелия» древних — единая Церковь. Потому что история Единого Государства не знает случая, чтобы в этот торжественный день хотя бы один голос осмелился нарушить величественный унисон.

Говорят, древние производили выборы как-то тайно, скрываясь, как воры; некоторые наши историки утверждают даже, что они являлись на выборные празднества тщательно замаскированными (воображаю это фантастически мрачное

зрелище: ночь, площадь, крадущиеся вдоль стен фигуры в темных плащах; приседающее от ветра багровое пламя факелов…). Зачем нужна была вся эта таинственность — до сих пор не выяснено окончательно; вероятней всего, выборы связывались с какими-нибудь мистическими, суеверными, может быть, даже преступными обрядами. Нам же скрывать или стыдиться нечего: мы празднуем выборы открыто, честно, днем. Я вижу, как голосуют за Благодетеля все; все видят, как голосую за Благодетеля я, — и может ли быть иначе, раз «все» и «я» — это единое «Мы». Насколько это облагораживающей, искренней, выше, чем трусливая воровская «тайна» у древних. Потом: насколько это целесообразней. Ведь если даже предположить невозможное, то есть какой-нибудь диссонанс в обычной монофонии, так ведь незримые Хранители здесь же, в наших рядах: они тотчас могут установить нумера впавших в заблуждение и спасти их от дальнейших ложных шагов, а Единое Государство — от них самих. И наконец, еще одно…

Сквозь стену слева: перед зеркальной дверью шкафа — женщина торопливо расстегивает юнифу. И на секунду, смутно: глаза, губы, две острых розовых завязи. Затем падает штора, во мне мгно-

венно все вчерашнее, и я не знаю, что «наконец, еще одно», и не хочу об этом, не хочу! Я хочу одного: I. Я хочу, чтобы она каждую минуту, всякую минуту, всегда была со мной — только со мной. И то, что я писал вот сейчас о Единогласии, это все не нужно, не то, мне хочется все вычеркнуть, разорвать, выбросить. Потому что я знаю (пусть это кощунство, но это так): праздник — только с нею, только тогда, если она будет рядом, плечом к плечу. А без нее — завтрашнее солнце будет только кружочком из жести, и небо — выкрашенная синим жесть, и сам я…

Я хватаюсь за телефонную трубку:

— I, это вы?

— Да, я. Как вы поздно!

— Может быть, еще не поздно. Я хочу вас попросить… Я хочу, чтоб вы завтра были со мной. Милая…

«Милая», — я говорю совсем тихо. И почему-то мелькает то, что было сегодня утром на эллинге: в шутку положили под стотонный молот часы — размах, ветром в лицо — и стотонно-нежное, тихое прикосновение к хрупким часам.

Пауза. Мне чудится, я слышу там — в комнате I — чей-то шепот. Потом ее голос:

— Нет, не могу. Ведь вы понимаете: я бы сама…

Нет, не могу. Отчего? Завтра увидите.

Ночь:
Запись 25-я.
Конспект:

СОШЕСТВИЕ С НЕБЕС.
ВЕЛИЧАЙШАЯ
В ИСТОРИИ КАТАСТРОФА.
ИЗВЕСТНОЕ КОНЧИЛОСЬ

Когда, перед началом, все встали и торжественным медленным пологом заколыхался над головами гимн — сотни труб Музыкального Завода и миллионы человеческих голосов — я на секунду забыл все: забыл что-то тревожное, что говорила о сегодняшнем празднике I, забыл, кажется, даже о ней самой. Я был сейчас тот самый мальчик, какой некогда в этот день плакал от крошечного, ему одному заметного пятнышка на юнифе. Пусть никто кругом не видит, в каких я черных несмываемых пятнах, но ведь я-то знаю, что мне, преступнику, не место среди этих настежь раскрытых лиц. Ах, встать бы вот сейчас и захлебываясь выкричать все о себе. Пусть потом конец — пусть! — но одну секунду почувствовать себя чистым, бессмысленным, как это детски синее небо.

Все глаза были подняты туда, вверх: в утренней, непорочной, еще не высохшей от ночных слез синеве — едва заметное пятно, то темное, то одетое лучами. Это с небес нисходил к нам Он — новый Иегова на аэро, такой же мудрый и любяще-жестокий, как Иегова древних. С каждой минутой Он все ближе — и все выше навстречу ему миллионы сердец — и вот уже Он видит нас. И я вместе с ним мысленно озираю сверху: намеченные тонким голубым пунктиром концентрические круги трибун — как бы круги паутины, осыпанные микроскопическими солнцами (– сияние блях); и в центре ее — сейчас сидит белый, мудрый Паук — в белых одеждах Благодетель, мудро связавший нас по рукам и ногам благодетельными тенетами счастья.

Но вот закончилось это величественное Его сошествие с небес, медь гимна замолкла, все сели — и я тотчас же понял: действительно — все тончайшая паутина, она натянута и дрожит, и вот-вот порвется и произойдет что-то невероятное…



Слегка привстав, я оглянулся кругом — и встретился взглядом с любяще-тревожными, перебегающими от лица к лицу глазами. Вот один поднял руку и, еле заметно шевеля пальцами, сигнализирует другому. И вот — ответный сигнал пальцем. И еще… Я понял: они, Хранители. Я понял: они чем-то встревожены, паутина натянута, дрожит. И во мне — как в настроенном на ту же длину волн приемнике радио — ответная дрожь.

На эстраде поэт читал предвыборную оду, но я не слышал ни одного слова: только мерные качанья гекзаметрического маятника, и с каждым его размахом все ближе какой-то назначенный час. И я еще лихорадочно перелистываю в рядах одно лицо за другим — как страницы — и все еще не вижу того единственного, какое я ищу, и его надо скорее найти, потому что сейчас маятник тикнет, а потом — —

Он — он, конечно. Внизу, мимо эстрады, скользя над сверкающим стеклом, пронеслись розовые крылья-уши, темной, двоякоизогнутой петлей буквы S отразилось бегущее тело — он стремился куда-то в запутанные проходы между трибун.

S, I — какая-то нить (между ними — для меня все время какая-то нить; я еще не знаю какая — но когда-нибудь я ее распутаю). Я уцепился за

него глазами, он — клубочком все дальше, и за ним нить. Вот остановился, вот…

Как молнийный, высоковольтный разряд: меня пронзило, скрутило в узел. В нашем ряду, всего в 40 градусах от меня, S остановился, нагнулся. Я увидел I, а рядом с ней — отвратительно негрогубый, ухмыляющийся R-13.

Первая мысль — кинуться туда и крикнуть ей: «Почему ты сегодня с ним? Почему не хотела, чтобы я?» Но невидимая, благодетельная паутина крепко спутала руки и ноги; стиснув зубы, я железно сидел, не спуская глаз. Как сейчас: это острая, физическая боль в сердце. Я, помню, подумал: «Если от нефизических причин — может быть физическая боль, то ясно, что — —»

Вывода я, к сожалению, не достроил: вспоминается только — мелькнуло что-то о «душе», пронеслась бессмысленная древняя поговорка — «душа в пятки». И я замер: гекзаметр смолк. Сейчас начинается… Что?

Установленный обычаем пятиминутный предвыборный перерыв. Установленное обычаем предвыборное молчание. Но сейчас оно не было тем, действительно молитвенным, благоговейным, как всегда: сейчас было как у древних, когда еще не знали наших аккумуляторных башен,

когда неприрученное небо еще бушевало время от времени «грозами». Сейчас было как у древних перед грозой.

Воздух — из прозрачного чугуна. Хочется дышать, широко разинувши рот. До боли напряженный слух записывает: где-то сзади — мышиногрызущий, тревожный шепот. Неподнятыми глазами вижу все время тех двух — I и R — рядом, плечом к плечу, и у меня на коленях дрожат чужие — ненавистные мои — лохматые руки.

В руках у всех — бляхи с часами. Одна. Две. Три… Пять минут… с эстрады — чугунный, медленный голос:

— Кто «за» — прошу поднять руки.

Если бы я мог взглянуть Ему в глаза, как раньше — прямо и преданно: «Вот я весь. Весь. Возьми меня!» Но теперь я не смел. Я с усилием — будто заржавели все суставы — поднял руку.

Шелест миллионов рук. Чей-то подавленный «ах!». И я чувствую, что-то уже началось, стремглав падало, но я не понимал — что, и не было силы — я не смел посмотреть…

— Кто — «против»?

Это всегда был самый величественный момент праздника: все продолжают сидеть неподвижно, радостно склоняя главы благодетельному

игу Нумера из Нумеров. Но тут я с ужасом снова услышал шелест: легчайший, как вздох, — он был слышнее, чем раньше медные трубы гимна. Так последний раз в жизни вздохнет человек еле слышно — а кругом у всех бледнеют лица, у всех — холодные капли на лбу.

Я поднял глаза — и…

Это — сотая доля секунды, волосок. Я увидел: тысячи рук взмахнули вверх — «против» — упали. Я увидел бледное, перечеркнутое крестом лицо I, ее поднятую руку. В глазах потемнело.

Еще волосок; пауза; тихо; пульс. Затем — как по знаку какого-то сумасшедшего дирижера — на всех трибунах сразу треск, крики, вихрь взвеянных бегом юниф, растерянно мечущиеся фигуры Хранителей, чьи-то каблуки в воздухе перед самыми моими глазами — возле каблуков чей-то широко раскрытый, надрывающийся от неслышного крика рот. Это почему-то врезалось острее всего: тысячи беззвучно орущих ртов — как на чудовищном экране.

И как на экране — где-то далеко внизу на секунду передо мной — побелевшие губы О: прижатая к стене в проходе, она стояла, загораживая свой живот сложенными накрест руками. И уже нет ее — смыта, или я забыл о ней, потому что…

Это уже не на экране — это во мне самом, в стиснутом сердце, в застучавших часто висках. Над моей головой слева, на скамье — вдруг выскочил R-13 — брызжущий, красный, бешеный. На руках у него — I, бледная, юнифа от плеча до груди разорвана, на белом — кровь. Она крепко держала его за шею, и он огромными скачками — со скамьи на скамью — отвратительный и ловкий, как горилла, — уносил ее вверх.

Будто пожар у древних — все стало багровым — и только одно: прыгнуть, достать их. Не могу сейчас объяснить себе, откуда взялась у меня такая сила, но я, как таран, пропорол толпу — на чьи-то плечи — на скамьи — и вот уже близко, вот схватил за шиворот R:

— Не сметь! Не сметь, говорю. Сейчас же (к счастью, моего голоса не было слышно — все кричали свое, все бежали).

— Кто? Что такое? Что? — R обернулся, губы, брызгая, тряслись — он, вероятно, думал, что его схватил один из Хранителей.

— Что? А вот — не хочу, не позволю! Долой ее с рук — сейчас же!

Но он только сердито шлепнул губами, мотнул головой и побежал дальше. И тут я — мне невероятно стыдно записывать это, но мне ка-

жется: я все же должен, должен записать, чтобы вы, неведомые мои читатели, могли до конца изучить историю моей болезни, — тут я с маху ударил его по голове. Вы понимаете — ударил! Это я отчетливо помню. И еще помню: чувство какого-то освобождения, легкости во всем теле от этого удара.

I быстро соскользнула у него с рук.

— Уходите, — крикнула она R, — вы же видите: он… Уходите, R, уходите!

R, оскалив белые, негрские зубы, брызнул мне в лицо какое-то слово, нырнул вниз, пропал. А я поднял на руки I, крепко прижал ее к себе и понес.

Сердце во мне билось — огромное, и с каждым ударом выхлестывало такую буйную, горячую, такую радостную волну. И пусть там что-то разлетелось вдребезги — все равно! Только бы так вот нести ее, нести, нести…

Вечером. 22 часа:

Я с трудом держу перо в руках: такая неизмеримая усталость после всех головокружительных событий сегодняшнего утра. Неужели обвалились спасительные, вековые стены Единого Государства? Неужели мы опять без крова, в

диком состоянии свободы — как наши далекие предки? Неужели нет Благодетеля? Против… в День Единогласия — против? Мне за них стыдно, больно, страшно. А впрочем — кто «они»? И кто я сам: «они» или «мы» — разве я — знаю.

Вот: она сидит на горячей от солнца стеклянной скамье — на самой верхней трибуне, куда я ее принес. Правое плечо и ниже — начало чудесной невычислимой кривизны — открыты; тончайшая красная змейка крови. Она будто не замечает, что кровь, что открыта грудь… нет, больше: она видит все это — но это именно то, что ей сейчас нужно, и если бы юнифа была застегнута, — она разорвала бы ее, она…

— А завтра… — она дышит жадно сквозь сжатые, сверкающие острые зубы. — А завтра — неизвестно что. Ты понимаешь: ни я не знаю, никто не знает — неизвестно! Ты понимаешь, что все известное — кончилось? Новое, невероятное, невиданное.

Там, внизу, пенятся, мчатся, кричат. Но это — далеко, и все дальше, потому что она смотрит на меня, она медленно втягивает меня в себя сквозь узкие золотые окна зрачков. Так — долго, молча. И почему-то вспоминается, как однажды сквозь Зеленую Стену я тоже смотрел в чьи-то

непонятные желтые зрачки, а над Стеной вились птицы (или это было в другой раз).

— Слушай: если завтра не случится ничего особенного — я поведу тебя туда, — ты понимаешь?

Нет, я не понимаю. Но я молча киваю головой. Я — растворился, я бесконечно малое, я — точка…

В конце концов — в этом точечном состоянии есть своя логика (сегодняшняя): в точке — больше всего неизвестностей; стоит ей двинуться, шевельнуться — и она может обратиться в тысячи разных кривых, сотни тел.

Мне страшно шевельнуться: во что я обращусь? И мне кажется — все так же, как и я, боятся мельчайшего движения. Вот сейчас, когда я пишу это, все сидят, забившись в свои стеклянные клетки, и чего-то ждут. В коридоре не слышно обычного в этот час жужжания лифта, не слышно смеха, шагов. Иногда вижу: по двое, оглядываясь, проходят на цыпочках по коридору, шепчутся…

Что будет завтра? Во что я обращусь завтра?

Запись 26-я.
Конспект:

МИР СУЩЕСТВУЕТ. СЫПЬ. 41°

Утро. Сквозь потолок — небо по-всегдашнему крепкое, круглое, краснощекое. Я думаю — меня

меньше удивило бы, если бы я увидел над головой какое-нибудь необычайное четырехугольное солнце, людей в разноцветных одеждах из звериной шерсти, каменные, непрозрачные стены. Так что же, стало быть, мир — *наш мир* — еще существует? Или это только инерция, генератор уже выключен, а шестерни еще громыхают и вертятся — два оборота, три оборота — на четвертом замрут…

Знакомо ли вам это странное состояние? Ночью вы проснулись, раскрыли глаза в черноту и вдруг чувствуете — заблудились и скорее, скорее начинаете ощупывать кругом, искать что-нибудь знакомое и твердое — стену, лампочку, стул. Именно так я ощупывал, искал в Единой Государственной Газете — скорее, скорее — и вот:

> «Вчера состоялся давно с нетерпением ожидавшийся всеми День Единогласия. В 48-й раз единогласно избран все тот же, многократно доказавший свою непоколебимую мудрость Благодетель. Торжество омрачено было некоторым замешательством, вызванным врагами счастья, которые тем самым, естественно, лишили себя права стать кирпичами

обновленного вчера фундамента Единого Государства. Всякому ясно, что принять в расчет их голоса было бы так же нелепо, как принять за часть великолепной, героической симфонии – кашель случайно присутствующих в конкретном зале больных...»

О мудрый! Неужели мы все-таки, несмотря ни на что, спасены? Но что же, в самом деле, можно возразить на этот кристальнейший силлогизм?

И дальше — еще две строки:

«Сегодня в 12 состоится соединенное заседание Бюро Административного, Бюро Медицинского и Бюро Хранителей. На днях предстоит важный Государственный акт».

Нет, еще стоят стены — вот они — я могу их ощупать. И уж нет этого странного ощущения, что я потерян, что я неизвестно где, что я заблудился, и нисколько не удивительно, что вижу синее небо, круглое солнце; и все — как обычно — отправляются на работу.

Я шел по проспекту особенно твердо и звонко — и мне казалось, так же шли все. Но вот пере-

кресток, поворот за угол, и я вижу: все как-то странно, стороной огибают угол здания — будто там в стене прорвало какую-то трубу, брызжет холодная вода и по тротуару нельзя пройти.

Еще пять, десять шагов — и меня тоже облило холодной водой, качнуло, сшибло с тротуара… На высоте примерно 2-х метров на стене — четырехугольный листок бумаги, и оттуда — непонятные — ядовито-зеленые буквы:

МЕФИ.

А внизу S-образно изогнутая спина, прозрачно колыхающиеся от гнева или от волнения крылья-уши. Поднявши вверх правую руку и беспомощно вытянув назад левую — как больное, подбитое крыло, он подпрыгивал вверх — сорвать бумажку — и не мог, не хватало вот столько.

Вероятно, у каждого из проходивших мимо была мысль: «Если подойду я, один из всех — не подумает ли он: я в чем-нибудь виноват и именно потому хочу…»

Сознаюсь: та же мысль была и у меня. Но я вспомнил, сколько раз он был настоящим моим ангелом-хранителем, сколько раз он спасал меня, и смело подошел, протянул руку, сорвал листок.

S оборотился, быстро-быстро буравчики в ме-

ня, на дно, что-то достал оттуда. Потом поднял вверх левую бровь, бровью подмигнул на стену, где висело «Мефи». И мне мелькнул хвостик его улыбки — к моему удивлению, как будто даже веселой. А впрочем, чего же удивляться. Томительной, медленно подымающейся температуре инкубационного периода врач всегда предпочтет сыпь и сорокаградусный жар: тут уж, по крайней мере, ясно, что за болезнь. «Мефи», высыпавшее сегодня на стенах, — это сыпь. Я понимаю его улыбку…[12]

Спуск в подземку — и под ногами, на непорочном стекле ступеней — опять белый листок: «Мефи». И на стене внизу, на скамейке, на зеркале в вагоне (видимо, наклеено наспех — небрежно, криво) — везде та же самая белая, жуткая сыпь.

В тишине — явственное жужжание колес, как шум воспаленной крови. Кого-то тронули за плечо — он вздрогнул, уронил сверток с бумагами. И слева от меня — другой: читает в газете все одну и ту же, одну и ту же, одну и ту же строчку, и газета еле заметно дрожит. И я чувствую, как всюду — в колесах, руках, газетах, ресницах — пульс все

[12] Примечания: 12

Должен сознаться, что точное решение этой улыбки я нашел только через много дней, доверху набитых событиями самыми странными и неожиданными.

чаще, и, может быть, сегодня, когда я с I попаду туда, — будет 39, 40, 41 градус — отмеченные на термометре черной чертой…

На эллинге — такая же, жужжащая далеким, невидимым пропеллером, тишина. Станки молча, насупившись, стоят. И только краны, чуть слышно, будто на цыпочках, скользят, нагибаются, хватают клешнями голубые глыбы замороженного воздуха и грузят их в бортовые цистерны «*Интеграла*»: мы уже готовим его к пробному полету.

— Ну что: в неделю кончим погрузку?

Это я — Второму Строителю. Лицо у него — фаянс, расписанный сладко-голубыми, нежно-розовыми цветочками (глаза, губы), но они сегодня — какие-то линялые, смытые. Мы считаем вслух, но я вдруг обрубил на полуслове и стою, разинув рот: высоко под куполом на поднятой краном голубой глыбе — чуть заметный белый квадратик — наклеена бумажка. И меня всего трясет — может быть, от смеха, — да, я сам слышу, как я смеюсь (знаете ли вы это, когда вы сами слышите свой смех?).

— Нет, слушайте… — говорю я. — Представьте, что вы на древнем аэроплане, альтиметр 5000 метров, сломалось крыло, вы турманом вниз и по

дороге высчитываете: «Завтра — от 12 до 2-х… от 2-х до 6… в 6 обед…» Ну не смешно ли? А ведь мы сейчас — именно так!

Голубые цветочки шевелятся, таращатся. Что, если б я был стеклянный и он видел, что через каких-нибудь 3–4 часа…

Запись 27-я.
Конспект:

НИКАКОГО КОНСПЕКТА – НЕЛЬЗЯ

Я один в бесконечных коридорах — тех самых. Немое бетонное небо. Где-то капает о камень вода. Знакомая, тяжелая, непрозрачная дверь — и оттуда глухой гул.

Она сказала, что выйдет ко мне ровно в 16. Но вот уже прошло после 16 пять минут, десять, пятнадцать: никого.

На секунду — прежний я, которому страшно, если откроется эта дверь. Еще — последние пять минут, и если она не выйдет — —

Где-то капает о камень вода. Никого. Я с тоскливой радостью чувствую: спасен. Медленно иду по коридору назад. Дрожащий пунктир лампочек на потолке все тусклее, тусклее…

Вдруг сзади — торопливо брякнула дверь, быстрый топот, мягко отскакивающий от потолка, от

стен, — и она, летучая, слегка запыхавшаяся от бега, дышит ртом.

— Я знала: ты будешь здесь, ты придешь! Я знала: ты-ты…

Копья ресниц отодвигаются, пропускают меня внутрь — и… Как рассказать то, что со мною делает этот древний, нелепый, чудесный обряд, когда ее губы касаются моих? Какой формулой выразить этот, все, кроме нее, в душе выметающий вихрь? Да, да, в душе — смейтесь, если хотите.

Она с усилием, медленно подымает веки — и с трудом, медленно слова:

— Нет, довольно… после: сейчас — пойдем.

Дверь открылась. Ступени — стертые, старые. И нестерпимо пестрый гам, свист, свет…

С тех пор прошли уже почти сутки, все во мне уже несколько отстоялось — и тем не менее мне чрезвычайно трудно дать хотя бы приближенно-точное описание. В голове — как будто взорвали бомбу, а раскрытые рты, крылья, крики, листья, слова, камни — рядом, кучей, одно за другим…

Я помню — первое у меня было: «Скорее, сломя голову, назад». Потому что мне ясно: пока я там, в коридорах, ждал — они как-то взорвали или разрушили Зеленую Стену — и оттуда все ринулось и захлебнуло наш очищенный от низшего

мира город.

Должно быть, что-нибудь в этом роде я сказал I. Она засмеялась:

— Да нет же! Просто — мы вышли за Зеленую Стену…

Тогда я раскрыл глаза — и лицом к лицу со мной, наяву — то самое, чего до сих пор не видел никто из живых иначе, как в тысячу раз уменьшенное, ослабленное, затушеванное мутным стеклом Стены.

Солнце… это не было наше, равномерно распределенное по зеркальной поверхности мостовых солнце: это были какие-то живые осколки, непрестанно прыгающие пятна, от которых слепли глаза, голова шла кругом. И деревья, как свечки, — в самое небо; как на корявых лапах присевшие к земле пауки; как немые зеленые фонтаны… И все это карачится, шевелится, шуршит, из-под ног шарахается какой-то шершавый клубочек, а я — прикован, я не могу ни шагу — потому что под ногами не плоскость — понимаете, не плоскость, — а что-то отвратительно-мягкое, податливое, живое, зеленое, упругое.

Я был оглушен всем этим, я захлебнулся — это, может быть, самое подходящее слово. Я стоял, обеими руками вцепившись в какой-то качаю-

щийся сук.

— Ничего, ничего! Это — только сначала, это пройдет. Смелее!

Рядом с I — на зеленой, головокружительно прыгающей сетке чей-то тончайший, вырезанный из бумаги профиль… нет, не чей-то, а я его знаю. Я помню: доктор, — нет, нет, я очень ясно все понимаю. И вот понимаю: они вдвоем схватили меня под руки и со смехом тащат вперед. Ноги у меня заплетаются, скользят. Там карканье, мох, кочки, клекот, сучья, стволы, крылья, листья, свист…

И — деревья разбежались, яркая поляна, на поляне — люди… или уж я не знаю как: может быть, правильней — существа.

Тут — самое трудное, потому что *это* выходило из всяких пределов вероятия. И мне теперь ясно, отчего I всегда так упорно отмалчивалась: я все равно бы не поверил — даже ей. Возможно, что завтра я и не буду верить и самому себе — вот этой своей записи.

На поляне, вокруг голого, похожего на череп камня шумела толпа в триста — четыреста… человек, — пусть — «человек», мне трудно говорить иначе. Как на трибунах из общей суммы лиц вы в первый момент воспринимаете только

знакомых, так и здесь я сперва увидел только наши серо-голубые юнифы. А затем секунда — и среди юниф, совершенно отчетливо и просто: вороные, рыжие, золотистые, караковые, чалые, белые люди, — по-видимому, люди. Все они были без одежд и все были покрыты короткой блестящей шерстью — вроде той, какую всякий может видеть на лошадином чучеле в Доисторическом Музее. Но у самок были лица точно такие — да, да, точно такие же, — как и у наших женщин: нежно-розовые и не заросшие волосами, и у них свободны от волос были также груди — крупные, крепкие, прекрасной геометрической формы. У самцов без шерсти была только часть лица — как у наших предков.

Это было до такой степени невероятно, до такой степени неожиданно, что я спокойно стоял — положительно утверждаю: спокойно стоял и смотрел. Как весы: перегрузите одну чашку — и потом можете класть туда уже сколько угодно — стрелка все равно не двинется…

Вдруг — один: I уже со мной нет — не знаю, как и куда она исчезла. Кругом — только эти, атласно лоснящиеся на солнце шерстью. Я хватаюсь за чье-то горячее, крепкое, вороное плечо:

— Послушайте — ради Благодетеля, — вы не

видали — куда она ушла? Вот только сейчас — вот сию минуту…

На меня — косматые, строгие брови:

— Ш-ш-ш! Тише, — и косматo кивнули туда, на середину, где желтый, как череп, камень.

Там, наверху, над головами, над всеми — я увидел ее. Солнце прямо в глаза, по ту сторону, и от этого вся она — на синем полотне неба — резкая, угольно-черная, угольный силуэт на синем. Чуть выше летят облака, и так: будто не облака, а камень, и она сама на камне, и за нею толпа, и поляна — неслышно скользят, как корабль, и легкая — уплывает земля под ногами…

— Братья… — это она. — Братья! Вы все знаете: там, за Стеною, в городе — строят «*Интеграл*». И вы знаете: пришел день, когда мы разрушим эту Стену — все стены, — чтобы зеленый ветер из конца в конец — по всей земле. Но «*Интеграл*» унесет эти стены туда, вверх, в тысячи иных земель, какие сегодня ночью зашелестят вам огнями сквозь черные ночные листья…

Об камень — волны, пена, ветер:

— Долой «*Интеграл*»! Долой!

— Нет, братья: не долой. Но «*Интеграл*» должен быть нашим. В тот день, когда он впервые отчалит в небо, — на нем будем мы. Потому что с

нами Строитель «*Интеграла*». Он покинул стены, он пришел со мной сюда, чтобы быть среди вас. Да здравствует Строитель!

Миг — и я где-то наверху, подо мною — головы, головы, головы, широко кричащие рты, выплеснутые вверх и падающие руки. Это было необычайно странное, пьяное: я чувствовал себя над всеми, я — был я, отдельное, мир, я перестал быть слагаемым, как всегда, и стал единицей.

И вот я — с измятым, счастливым, скомканным, как после любовных объятий, телом — внизу, около самого камня. Солнце, голоса сверху — улыбка I. Какая-то золотоволосая и вся атласно-золотая, пахнущая травами женщина. В руках у ней — чаша, по-видимому, из дерева. Она отпивает красными губами — и подает мне, и я жадно, закрывши глаза, пью, чтобы залить огонь, — пью сладкие, колючие, холодные искры.

А затем — кровь во мне и весь мир — в тысячу раз быстрее, легкая земля летит пухом. И все мне — легко, просто, ясно.

Вот теперь я вижу на камне знакомые, огромные буквы: «Мефи» — и почему-то это так нужно, это — простая, прочная нить, связывающая все. Я вижу грубое изображение — может быть, тоже на этом камне: крылатый юноша, прозрачное тело,

и там, где должно быть сердце, — ослепительный, малиново тлеющий уголь. И опять: я понимаю этот уголь… или не то: чувствую его — так же, как, не слыша, чувствую каждое слово (она говорит сверху, с камня) — и чувствую, что все дышат вместе — и всем вместе куда-то лететь, как тогда птицы над Стеной…

Сзади, из густо дышащей чащи тел — громкий голос:

— Но это же безумие!

И, кажется, я — да, думаю, что это был именно я, — вскочил на камень, и оттуда солнце, головы, на синем — зеленая зубчатая пила, и я кричу:

— Да, да, именно! И надо всем сойти с ума, необходимо всем сойти с ума — как можно скорее! Это необходимо — я знаю.

Рядом — I; ее улыбка, две темных черты — от краев рта вверх, углом; и во мне — уголь, и это — мгновенно, легко, чуть больно, прекрасно…

Потом — только застрявшие, разрозненные осколки.

Медленно, низко — птица. Я вижу: она — живая, как я, она, как человек, поворачивает голову вправо, влево, и в меня ввинчиваются черные, круглые глаза…

Еще: спина — с блестящей, цвета старой сло-

новой кости шерстью. По спине ползет темное, с крошечными, прозрачными крыльями насекомое — спина вздрагивает, чтобы согнать насекомое, еще раз вздрагивает…

Еще: от листьев тень — плетеная, решетчатая. В тени лежат и жуют что-то, похожее на легендарную пищу древних: длинный желтый плод и кусок чего-то темного. Женщина сует это мне в руку, и мне смешно: я не знаю, могу ли я это есть.

И снова: толпа, головы, ноги, руки, рты. Выскакивают на секунду лица — и пропадают, лопаются, как пузыри. И на секунду — или, может быть, это только мне кажется — прозрачные, летящие крылья-уши.

Я из всех сил стискиваю руку I. Она оглядывается:

— Что ты?

— Он здесь… Мне показалось…

— Кто он?

— S… Вот только сейчас — в толпе…

Угольно-черные, тонкие брови вздернуты к вискам: острый треугольник, улыбка. Мне не ясно: почему она улыбается — как она может улыбаться?

— Ты не понимаешь — I, ты не понимаешь, что значит, если он или кто-нибудь из них — здесь.

— Смешной! Разве кому-нибудь там, за Стеною, придет в голову, что мы — здесь. Вспомни: вот ты — разве ты когда-нибудь думал, что это возможно? Они ловят нас там — пусть ловят! Ты — бредишь.

Она улыбается легко, весело, и я улыбаюсь, земля — пьяная, веселая, легкая — плывет…

Запись 28-я.
Конспект:

ОБЕ. ЭНТРОПИЯ И ЭНЕРГИЯ. НЕПРОЗРАЧНАЯ ЧАСТЬ ТЕЛА

Вот: если ваш мир подобен миру наших далеких предков, так представьте себе, что однажды в океане вы наткнулись на шестую, седьмую часть света — какую-нибудь Атлантиду, и там — небывалые города-лабиринты, люди, парящие в воздухе без помощи крыльев или аэро, камни, подымаемые вверх силою взгляда, — словом, такое, что вам не могло бы прийти в голову, даже когда вы страдаете сноболезнью. Вот так же и я вчера. Потому что — поймите же — никто и никогда из нас со времени Двухсотлетней Войны не был за Стеною — я уже говорил вам об этом.

Я знаю: мой долг перед вами, неведомые друзья, рассказать подробнее об этом странном и неожи-

данном мире, открывшемся мне вчера. Но пока я не в состоянии вернуться к этому. Все новое и новое, какой-то ливень событий, и меня не хватает, чтобы собрать все: я подставляю полы, пригоршни — и все-таки целые ведра проливаются мимо, а на эти страницы попадают только капли…

Сперва я услышал у себя за дверью громкие голоса — и узнал ее голос, I, упругий, металлический, — и другой, почти негнувшийся — как деревянная линейка — голос Ю. Затем дверь разверзлась с треском и выстрелила их обеих ко мне в комнату. Именно так: выстрелила.

I положила руку на спинку моего кресла и через плечо, вправо — одними зубами улыбалась той. Я не хотел бы стоять под этой улыбкой.

— Послушайте, — сказала мне I, — эта женщина, кажется, поставила себе целью охранять вас от меня, как малого ребенка. Это — с вашего разрешения?

И тогда — другая, вздрагивая жабрами:

— Да, он и есть ребенок. Да! Только потому он и не видит, что вы с ним все это — только затем, чтобы… что все это — комедия. Да! И мой долг…

На миг в зеркале — сломанная, прыгающая прямая моих бровей. Я вскочил и, с трудом удерживая в себе того — с трясущимися волосатыми

кулаками, с трудом протискивая сквозь зубы каждое слово, крикнул ей в упор — в самые жабры:

— С-сию же с-секунду — вон! Сию же секунду!

Жабры вздулись кирпично-красно, потом опали, посерели. Она раскрыла рот что-то сказать и, ничего не сказав, — захлопнулась, вышла.

Я бросился к I:

— Я не прощу — я никогда себе этого не прощу! Она смела — тебя? Но ты же не можешь думать, что я думаю, что… что она… Это все потому, что она хочет записаться на меня, а я…

— Записаться она, к счастью, не успеет. И хоть тысячу таких, как она: мне все равно. Я знаю — ты поверишь не тысяче, но одной мне. Потому что ведь после вчерашнего — я перед тобой вся, до конца, как ты хотел. Я — в твоих руках, ты можешь — в любой момент…

— Что — в любой момент, — и тотчас же понял — *что*, кровь брызнула в уши, в щеки, я крикнул: — Не надо об этом, никогда не говори мне об этом! Ведь ты же понимаешь, что это — тот я, прежний, а теперь…

— Кто тебя знает… Человек — как роман: до самой последней страницы не знаешь, чем кончится. Иначе не стоило бы и читать…

I гладит меня по голове. Лица ее мне не видно,

но по голосу слышу: смотрит сейчас куда-то очень далеко, зацепилась глазами за облако, плывущее неслышно, медленно, неизвестно куда…

Вдруг отстранила меня рукой — твердо и нежно:

— Слушай: я пришла сказать тебе, что, может быть, — мы уже последние дни… Ты знаешь: с сегодняшнего вечера отменены все аудиториумы.

— Отменены?

— Да. И я шла мимо — видела: в зданиях аудиториумов что-то готовят, какие-то столы, медики в белом.

— Но что же это значит?

— Я не знаю. Пока еще никто не знает. И это хуже всего. Я только чувствую: включили ток, искра бежит — и не нынче, так завтра… Но, может быть, они не успеют.

Я уж давно перестал понимать: кто — они и кто — мы. Я не понимаю, чего я хочу: чтобы успели — или не успели. Мне ясно только одно: I сейчас идет по самому краю — и вот-вот…

— Но это безумие, — говорю я. — Вы — и Единое Государство. Это все равно как заткнуть рукою дуло — и думать, что можно удержать выстрел. Это — совершенное безумие!

Улыбка:

— «Надо всем сойти с ума — как можно скорее сойти с ума». Это говорил кто-то вчера. Ты помнишь? Там…

Да, это у меня записано. И следовательно, это было на самом деле. Я молча смотрел на ее лицо: на нем сейчас особенно явственно — темный крест.

— I, милая, — пока еще не поздно… Хочешь — я брошу все, забуду все — и уйдем с тобою туда, за Стену — к этим… я не знаю, кто они.

Она покачала головой. Сквозь темные окна глаз — там, внутри у ней, я видел, пылает печь, искры, языки огня вверх, навалены горы сухих, смоляных дров. И мне ясно: поздно уже, мои слова уже ничего не могут…

Встала — сейчас уйдет. Может быть — уже последние дни, может быть — минуты… Я схватил ее за руку.

— Нет! Еще хоть немного — ну ради… ради…

Она медленно поднимала вверх, к свету мою руку — мою волосатую руку, которую я так ненавидел. Я хотел выдернуть, но она держала крепко.

— Твоя рука… Ведь ты не знаешь — и немногие это знают, что женщинам отсюда, из города, случалось любить тех. И в тебе, наверное, есть

несколько капель солнечной, лесной крови. Может быть, потому я тебя и — —

Пауза — и как странно: от паузы, от пустоты, от ничего — так несется сердце. И я кричу:

— Ага! Ты еще не уйдешь! Ты не уйдешь — пока мне не расскажешь о них — потому что ты любишь… их, а я даже не знаю, кто они, откуда они. Кто они? Половина, какую мы потеряли, H_2 и O — а чтобы получить H_2O — ручьи, моря, водопады, волны, бури, — нужно, чтобы половины соединились…

Я отчетливо помню каждое ее движение. Я помню, как она взяла со стола мой стеклянный треугольник и все время, пока я говорил, прижимала его острым ребром к щеке — на щеке выступил белый рубец, потом наливался розовым, исчезал. И удивительно: я не могу вспомнить ее слов — особенно вначале — и только какие-то отдельные образы, цвета.

Знаю: сперва это было — о Двухсотлетней Войне. И вот — красное на зелени трав, на темных глинах, на синеве снегов — красные, непросыхающие лужи. Потом желтые, сожженные солнцем травы, голые, желтые всклокоченные люди — и всклокоченные собаки — рядом, возле распухшей падали, собачьей или, может быть, человечьей…

Это, конечно, — за стенами; потому что город — уже победил, в городе уже наша теперешняя — нефтяная пища.

И почти с неба донизу — черные, тяжелые складки, и складки колышутся: над лесами, над деревьями медленные столбы, дым. Глухой вой: гонят в город черные бесконечные вереницы — чтобы силою спасти их и научить счастью.

— Ты все это почти знал?

— Да, почти.

— Но ты не знал и только немногие знали, что небольшая часть их все же уцелела и осталась жить там, за Стенами. Голые — они ушли в леса. Они учились там у деревьев, зверей, птиц, цветов, солнца. Они обросли шерстью, но зато под шерстью сберегли горячую красную кровь. С вами хуже: вы обросли цифрами, по вас цифры ползают, как вши. Надо с вас содрать все и выгнать голыми в леса. Пусть научатся дрожать от страха, от радости, от бешеного гнева, от холода, пусть молятся огню. И мы, Мефи, — мы хотим…

— Нет, подожди, — а «Мефи»? Что такое «Мефи»?

— Мефи? Это — древнее имя, это — тот, который… Ты помнишь: там, на камне, — изображен юноша… Или нет: я лучше на твоем языке, так

ты скорее поймешь. Вот: две силы в мире — энтропия и энергия. Одна — к блаженному покою, к счастливому равновесию; другая — к разрушению равновесия, к мучительно-бесконечному движению. Энтропии — наши или, вернее, — ваши предки, христиане, поклонялись, как Богу. А мы, антихристиане, мы…

И вот момент — чуть слышный, шепотом стук в дверь — и в комнату вскочил тот самый сплюснутый, с нахлобученным на глаза лбом, какой не раз приносил мне записки от I.

Он подбежал к нам, остановился, сопел — как воздушный насос — и не мог сказать ни слова, должно быть, бежал во всю мочь.

— Да ну же! Что случилось? — схватила его за руку I.

— Идут — сюда… — пропыхтел наконец насос. Стража… и с ними этот — ну, как это… вроде горбатенького…

— S?

— Ну да! Рядом — в доме. Сейчас будут здесь. Скорее, скорее!

— Пустое! Успеется… — смеялась, в глазах — искры, веселые языки.

Это — или нелепое, безрассудное мужество — или тут было что-то еще непонятное мне.

— І, ради Благодетеля! Пойми же — ведь это…

— Ради Благодетеля, — острый треугольник — улыбка.

— Ну… ну ради меня… Прошу тебя.

— Ах, а мне еще надо было с тобой об одном деле… Ну, все равно: завтра…

Она весело (да: весело) кивнула мне; кивнул и тот — высунувшись на секунду из-под своего лбяного навеса. И я — один.

Скорее — за стол. Развернул свои записи, взял перо — чтобы *они* нашли меня за этой работой на пользу Единого Государства. И вдруг — каждый волос на голове живой, отдельный и шевелится:

«А что, если возьмут и прочтут хотя бы
одну страницу – из этих, из последних?»

Я сидел за столом, не двигаясь, — и я видел, как дрожали стены, дрожало перо у меня в руке, колыхались, сливаясь, буквы…

Спрятать? Но куда: все — стекло. Сжечь? Но из коридора и из соседних комнат — увидят. И потом, я уже не могу, не в силах истребить этот мучительный — и, может быть, самый дорогой мне — кусок самого себя.

Издали — в коридоре — уже голоса, шаги. Я успел только схватить пачку листов, сунуть их

под себя — и вот теперь прикованный к колеблющемуся каждым атомом креслу, и пол под ногами — палуба, вверх и вниз…

Сжавшись в комочек, забившись под навес лба — я как-то исподлобья, крадучись видел: они шли из комнаты в комнату, начиная с правого конца коридора, и все ближе. Одни сидели, застывшие, как я; другие — вскакивали им навстречу и широко распахивали дверь, — счастливцы! Если бы я тоже…

«Благодетель — есть необходимая для человечества усовершенствованнейшая дезинфекция, и вследствие этого в организме Единого Государства никакая перистальтика…» — я прыгающим пером выдавливал эту совершенную бессмыслицу и нагибался над столом все ниже, а в голове — сумасшедшая кузница, и спиною я слышал — брякнула ручка двери, опахнуло ветром, кресло подо мною заплясало…

Только тогда я с трудом оторвался от страницы и повернулся к вошедшим (как трудно играть комедию… ах, кто мне сегодня говорил о комедии?). Впереди был S — мрачно, молча, быстро высверливая глазами колодцы во мне, в моем кресле, во вздрагивающих у меня под рукой листках. Потом на секунду — какие-то знакомые, ежедневные

лица на пороге, и вот от них отделилось одно — раздувающиеся, розово-коричневые жабры…

Я вспомнил все, что было в этой комнате полчаса назад, и мне было ясно, что она сейчас — Все мое существо билось и пульсировало в той (к счастью, непрозрачной) части тела, какою я прикрыл рукопись.

Ю подошла сзади к нему, к S, осторожно тронула его за рукав — и негромко сказала:

— Это — Д-503. Строитель «*Интеграла*». Вы, наверное, слышали? Он — всегда вот так, за столом… Совершенно не щадит себя!

… А я-то? Какая чудесная, удивительная женщина. S заскользил ко мне, перегнулся через мое плечо — над столом. Я заслонил локтем написанное, но он строго крикнул:

— Прошу сейчас же показать мне, что у вас там!

Я, весь полыхая от стыда, подал ему листок. Он прочитал, и я видел, как из глаз выскользнула у него улыбка, юркнула вниз по лицу и, чуть пошевеливая хвостиком, присела где-то в правом углу рта…

— Несколько двусмысленно, но все-таки… Что же, продолжайте: мы больше не будем вам мешать.

Он зашлепал — как плицами по воде — к двери, и с каждым его шагом ко мне постепенно возвращались ноги, руки, пальцы — душа снова равномерно распределялась по всему телу, я дышал…

Последнее: Ю задержалась у меня в комнате, подошла, нагнулась к уху — и шепотом:

— Ваше счастье, что я…

Непонятно: что она хотела этим сказать?

Вечером, позже, узнал: они увели с собой троих.

Впрочем, вслух об этом, равно как и о всем происходящем, никто не говорит (– воспитательное влияние невидимо присутствующих в нашей среде Хранителей). Разговоры — главным образом о быстром падении барометра и о перемене погоды.

Запись 29-я.
Конспект:

НИТИ НА ЛИЦЕ. РОСТКИ. ПРОТИВОЕСТЕСТВЕННАЯ КОМПРЕССИЯ

Странно: барометр идет вниз, а ветра все еще нет, тишина. Там, наверху, уже началась — еще неслышная нам — буря. Во весь дух несутся тучи. Их пока мало — отдельные зубчатые обломки. И

так: будто наверху уже низринут какой-то город, и летят вниз куски стен и башен, растут на глазах с ужасающей быстротой — все ближе, — но еще дни им лететь сквозь голубую бесконечность, пока не рухнут на дно, к нам, вниз.

Внизу — тишина. В воздухе — тонкие, непонятные, почти невидимые нити. Их каждую осень приносит оттуда, из-за Стены. Медленно плывут — и вдруг вы чувствуете: что-то постороннее, невидимое у вас на лице, вы хотите смахнуть — и нет: не можете, никак не отделаться…

Особенно много таких нитей — если идти около Зеленой Стены, где я шел сегодня утром: I назначила мне увидеться с нею в Древнем Доме — в той, нашей «квартире». ‹Вдали я уже заметил непрозрачно-красную› громаду Древнего Дома, когда сзади услышал чьи-то мелкие, торопливые шаги, частое дыхание. Оглянулся — и увидал: меня догоняла О.

Вся она была как-то по-особенному, законченно, упруго кругла. Руки и чаши грудей, и все ее тело, такое мне знакомое, круглилось и натягивало юнифу: вот сейчас прорвет тонкую материю — и наружу, на солнце, на свет. Мне представляется: там, в зеленых дебрях, весною так же упрямо пробиваются сквозь землю ростки — чтобы ско-

рее выбросить ветки, листья, скорее цвести.

Несколько секунд она молчала, сине сияла мне в лицо.

— Я видела вас — тогда, в День Единогласия.

— Я тоже вас видел… — И сейчас же мне вспомнилось, как она стояла внизу, в узком проходе, прижавшись к стене и закрыв живот руками. Я невольно посмотрел на ее круглый под юнифой живот.

Она, очевидно, заметила — вся стала кругло-розовая, и розовая улыбка:

— Я так счастлива — так счастлива… Я полна — понимаете: вровень с краями. И вот — хожу и ничего не слышу, что кругом, а все слушаю внутри, в себе…

Я молчал. На лице у меня — что-то постороннее, оно мешало — и я никак не мог от этого освободиться. И вдруг неожиданно, еще синее сияя, она схватила мою руку — и у себя на руке я почувствовал ее губы… Это — первый раз в моей жизни. Это была какая-то неведомая мне до сих пор древняя ласка, и от нее — такой стыд и боль, что я (пожалуй, даже грубо) выдернул руку.

— Слушайте — вы с ума сошли! И не столько это — вообще вы… Чему вы радуетесь? Неужели вы можете забыть о том, что вас ждет? Не сейчас

— так все равно через месяц, через два месяца…

Она — потухла; все круги — сразу прогнулись, покоробились. А у меня в сердце — неприятная, даже болезненная компрессия, связанная с ощущением жалости (сердце — не что иное, как идеальный насос; компрессия, сжатие — засасывание насосом жидкости — есть технический абсурд; отсюда ясно: насколько, в сущности, абсурдны, противоестественны, болезненны все «любви», «жалости» и все прочее, вызывающее такую компрессию).

Тишина. Мутно-зеленое стекло Стены — слева. Темно-красная громада — впереди. И эти два цвета, слагаясь, дали во мне в виде равнодействующей — как мне кажется, блестящую идею.

— Стойте! Я знаю, как спасти вас. Я избавлю вас от этого: увидать своего ребенка — и затем умереть. Вы сможете выкормить его — понимаете, — вы будете следить, как он у вас на руках будет расти, круглеть, наливаться, как плод…

Она вся так и затряслась, так и вцепилась в меня.

— Вы помните ту женщину… ну, тогда, давно, на прогулке. Так вот: она сейчас здесь, в Древнем Доме. Идемте к ней, и ручаюсь: я все устрою немедля.

Я уже видел, как мы вдвоем с I ведем ее коридорами — вот она уже там, среди цветов, трав, листьев… Но она отступила от меня назад, рожки розового ее полумесяца дрожали и изгибались вниз.

— Это — та самая, — сказала она.

— То есть… — я почему-то смутился. — Ну да: та самая.

— И вы хотите, чтобы я пошла к ней — чтобы я просила ее — чтобы я… Не смейте больше никогда мне об этом!

Согнувшись, она быстро пошла от меня. Будто еще что-то вспомнила — обернулась и крикнула:

— И умру — да, пусть! И вам никакого дела — не все ли вам равно?

Тишина. Падают сверху, с ужасающей быстротой растут на глазах — куски синих башен и стен, но им еще часы — может быть, дни — лететь сквозь бесконечность; медленно плывут невидимые нити, оседают на лицо — и никак их не стряхнуть, никак не отделаться от них.

Я медленно иду к Древнему Дому. В сердце — абсурдная, мучительная компрессия…

Запись 30-я.

Конспект:

ПОСЛЕДНЕЕ ЧИСЛО. ОШИБКА ГАЛИЛЕЯ. НЕ ЛУЧШЕ ЛИ?

Вот мой разговор с I — там, вчера, в Древнем Доме, среди заглушающего логический ход мыслей пестрого шума — красные, зеленые, бронзово-желтые, белые, оранжевые цвета… И все время — под застывшей на мраморе улыбкой курносого древнего поэта.

Я воспроизвожу этот разговор буква в букву — потому что он, как мне кажется, будет иметь огромное, решающее значение для судьбы Единого Государства — и больше: Вселенной. И затем — здесь вы, неведомые мои читатели, быть может, найдете некоторое оправдание мне…

I сразу, без всякой подготовки, обрушила на меня все:

— Я знаю: послезавтра у вас — первый, пробный полет «*Интеграла*». В этот день — мы захватим его в свои руки.

— Как? Послезавтра?

— Да. Сядь, не волнуйся. Мы не можем терять ни минуты. Среди сотен, наудачу взятых вчера Хранителями, — попало 12 Мефи. И упустить

два-три дня — они погибнут.

Я молчал.

— Чтобы наблюдать за ходом испытания — к вам должны прислать электротехников, механиков, врачей, метеорологов. И ровно в 12 — запомни — когда прозвонят к обеду и все пройдут в столовую, мы останемся в коридоре, запрем всех в столовой — и «*Интеграл*» наш… Ты понимаешь: это нужно, во что бы то ни стало. «*Интеграл*» в наших руках — это будет оружие, которое поможет кончить все сразу, быстро, без боли. Их аэро… ха! Это будет просто ничтожная мошкара против коршуна. И потом: если уж это будет неизбежно — можно будет направить вниз дула двигателей и одной только их работой…

Я вскочил.

— Это немыслимо! Это нелепо! Неужели тебе не ясно: то, что вы затеваете, — это революция?

— Да, революция! Почему же это нелепо?

— Нелепо — потому что революции не может быть. Потому что наша — это не ты, а я говорю — наша революция была последней. И больше никаких революций не может быть. Это известно всякому…

Насмешливый, острый треугольник бровей:

— Милый мой: ты — математик. Даже — боль-

ше: ты философ — от математики. Так вот: назови мне последнее число.

— То есть? Я… я не понимаю: какое — последнее?

— Ну — последнее, верхнее, самое большое.

— Но, I, — это же нелепо. Раз число чисел — бесконечно, какое же ты хочешь последнее?

— А какую же ты хочешь последнюю революцию? Последней — нет, революции — бесконечны. Последняя — это для детей: детей бесконечность пугает, а необходимо — чтобы дети спокойно спали по ночам…

— Но какой смысл — какой же смысл во всем этом — ради Благодетеля? Какой смысл, раз все уже счастливы?

— Положим… Ну, хорошо: пусть даже так. А что дальше?

— Смешно! Совершенно ребяческий вопрос. Расскажи что-нибудь детям — все до конца, а они все-таки непременно спросят: а дальше, а зачем?

— Дети — единственно смелые философы. И смелые философы — непременно дети. Именно так, как дети, всегда и надо: а что дальше?

— Ничего нет дальше! Точка. Во всей Вселенной — равномерно, повсюду — разлито…

— Ага: равномерно, повсюду! Вот тут она самая

и есть — энтропия, психологическая энтропия. Тебе, математику, — разве не ясно, что только разности — разности — температур, только тепловые контрасты — только в них жизнь. А если всюду, по всей Вселенной, одинаково теплые — или одинаково прохладные, тела… Их надо столкнуть — чтобы огонь, взрыв, геенна. И мы — столкнем.

— Но, I, — пойми же, пойми: наши предки — во время Двухсотлетней Войны — именно это и сделали…

— О, и они были правы — тысячу раз правы. У них только одна ошибка: позже они уверовали, что они есть последнее число — какого нет в природе, нет. Их ошибка — ошибка Галилея: он был прав, что Земля движется вокруг Солнца, но он не знал, что вся Солнечная система — движется еще вокруг какого-то центра, он не знал, что настоящая, не относительная, орбита Земли — вовсе не наивный круг…

— А вы?

— А мы — пока знаем, что нет последнего числа. Может быть, забудем. Нет: даже наверное — забудем, когда состаримся, — как неминуемо старится все. И тогда мы — тоже неизбежно вниз — как осенью листья с дерева — как послезавтра

вы… Нет, нет, милый, — не ты. Ты же — с нами, ты — с нами!

Разгоревшаяся, вихревая, сверкучая — я никогда еще не видел ее такой, — она обняла меня собою, вся. Я исчез… Последнее — глядя прочно, твердо в глаза мне:

— Так помни же: в 12.

И я сказал:

— Да, я помню.

Ушла. Я один — среди буйного, разноголосого гама — синих, красных, зеленых, бронзово-желтых, оранжевых…

Да, в 12… — и вдруг нелепое ощущение чего-то постороннего, осевшего на лицо — чего никак не смахнуть. Вдруг — вчерашнее утро, Ю — и то, что она кричала тогда в лицо I… Почему? Что за абсурд.

Я поторопился выйти наружу — и скорее домой, домой…

Где-то сзади я слышал пронзительный писк птиц над Стеной. А впереди, в закатном солнце — из малинового кристаллизованного огня — шары куполов, огромные пылающие кубы-дома, застывшей молнией в небе — шпиц аккумуляторной башни. И все это — всю эту безукоризненную, геометрическую красоту — я должен буду сам,

своими руками… Неужели — никакого выхода, никакого пути?

Мимо какого-то аудиториума (нумер его не помню). Внутри — грудой сложены скамьи; посредине — столы, покрытые простынями из белоснежного стекла; на белом пятно розовой солнечной крови. И во всем этом скрыто какое-то неведомое — потому жуткое — завтра. Это противоестественно: мыслящему — зрячему существу жить среди незакономерностей, неизвестных, иксов. Вот если бы вам завязали глаза и заставили так ходить, ощупывать, спотыкаться, и вы знаете, что где-то тут вот совсем близко — край, один только шаг — и от нас останется только сплющенный, исковерканный кусок мяса. Разве это не то же самое?

… А что, если не дожидаясь — самому вниз головой? Не будет ли это единственным и правильным, сразу распутывающим все?

Запись 31-я.
Конспект:

ВЕЛИКАЯ ОПЕРАЦИЯ. Я ПРОСТИЛ ВСЕ. СТОЛКНОВЕНИЕ ПОЕЗДОВ

Спасены! В самый последний момент, когда уже казалось — не за что ухватиться, казалось

— уже все кончено…

Так: будто вы по ступеням уже поднялись к грозной Машине Благодетеля, и с тяжким лязгом уже накрыл вас стеклянный колпак, и вы в последний раз в жизни — скорее — глотаете глазами синее небо…

И вдруг: все это — только «сон». Солнце — розовое и веселое, и стена — такая радость погладить рукой холодную стену — и подушка — без конца упиваться ямкой от вашей головы на белой подушке…

Вот приблизительно то, что пережил я, когда сегодня утром прочитал Государственную Газету. Был страшный сон, и он кончился. А я, малодушный, я, неверующий, — я думал уже о своевольной смерти. Мне стыдно сейчас читать последние, написанные вчера, строки. Но все равно: пусть, пусть они останутся, как память о том невероятном, что могло быть — и чего уже не будет… да, не будет!..

На первой странице Государственной Газеты сияло:

«Радуйтесь,

Ибо отныне вы – совершенны! До сего дня ваши же детища, механизмы – были

совершеннее вас.

Чем?

Каждая искра динамо – искра чистейшего разума; каждый ход поршня – непорочный силлогизм. Но разве не тот же безошибочный разум и в вас?

Философия у кранов, прессов и насосов – законченна и ясна, как циркульный круг. Но разве ваша философия менее циркульна?

Красота механизма – в неуклонном и точном, как маятник, ритме. Но разве вы, с детства вскормленные системой Тэйлора, – не стали маятниково-точны?

И только одно:

У механизма нет фантазии.

Вы видели когда-нибудь, чтобы во время работы на физиономии у насосного цилиндра – расплывалась далекая, бессмысленно-мечтательная улыбка? Вы слышали когда-нибудь, чтобы краны по ночам, в часы, назначенные для отдыха, беспокойно ворочались и вздыхали?

Нет!

А у вас – краснейте! – Хранители все чаще видят эти улыбки и вздохи. И – прячьте

глаза – историки Единого Государства просят отставки, чтобы не записывать постыдных событий.

Но это не ваша вина – вы больны. Имя этой болезни: фантазия.

Это – червь, который выгрызает черные морщины на лбу. Это – лихорадка, которая гонит вас бежать все дальше – хотя бы это „дальше“ начиналось там, где кончается счастье. Это – последняя баррикада на пути к счастью.

И радуйтесь: она уже взорвана.

Путь свободен.

Последнее открытие Государственной Науки: центр фантазии – жалкий мозговой узелок в области Варолиева моста. Трехкратное прижигание этого узелка *X*-лучами – и вы излечены от фантазии – навсегда.

Вы – совершенны, вы – машиноравны, путь к стопроцентному счастью – свободен. Спешите же все – стар и млад, – спешите подвергнуться Великой Операции. Спешите в аудиториумы, где производится Великая Операция. Да здравствует Великая Операция! Да здравствует Еди-

ное Государство, да здравствует Благодетель!»

… Вы — если бы вы читали все это не в моих записях, похожих на какой-то древний, причудливый роман — если бы у вас в руках, как у меня, дрожал вот этот еще пахнущий краской газетный лист — если бы вы знали, как я, что все это самая настоящая реальность, не сегодняшняя, так завтрашняя, — разве не чувствовали бы вы то же самое, что я? Разве — как у меня сейчас — не кружилась бы у вас голова? Разве — по спине и рукам — не бежали бы у вас эти жуткие, сладкие ледяные иголочки? Разве не казалось бы вам, что вы — гигант, Атлас — и если распрямиться, то непременно стукнетесь головой о стеклянный потолок?

Я схватил телефонную трубку:

— I-330… Да, да: 330. — И потом, захлебываясь, крикнул: — Вы дома, да? Вы — читали — вы читаете? Ведь это же, это же… Это изумительно!

— Да… — долгое, темное молчание. Трубка чуть слышно жужжала, думала что-то… — Мне непременно надо вас увидеть сегодня. Да, у меня после 16. Непременно.

Милая! Какая-какая милая! «Непременно»… Я

чувствовал: улыбаюсь — и никак не могу остановиться, и так вот понесу по улице эту улыбку — как фонарь, высоко над головой…

Там, снаружи, на меня налетел ветер. Крутил, свистел, сек. Но мне только еще веселее. Вопи, вой — все равно: теперь тебе уже не свалить стен. И над головой рушатся чугунно-летучие тучи — пусть: вам не затемнить солнца — мы навеки приковали его цепью к зениту — мы, Иисусы Навины.

На углу — плотная кучка Иисус-Навинов стояла, влипши лбами в стекло стены. Внутри на ослепительно белом столе уже лежал один. Виднелись из-под белого развернутые желтым углом босые подошвы, белые медики — нагнулись к изголовью, белая рука — протянула руке наполненный чем-то шприц.

— А вы — что ж не идете, — спросил я — никого, или, вернее, всех.

— А вы, — обернулся ко мне чей-то шар.

— Я — потом. Мне надо еще сначала…

Я, несколько смущенный, отошел. Мне действительно сначала надо было увидеть ее, I. Но почему «сначала» — я не мог ответить себе…

Эллинг. Голубовато-ледяной, посверкивал, искрился «*Интеграл*». В машинном гудела динамо

— ласково, одно и то же какое-то слово повторяя без конца — как будто мое, знакомое слово. Я нагнулся, погладил длинную, холодную трубу двигателя. Милая… какая-какая милая. Завтра ты — оживешь, завтра — первый раз в жизни содрогнешься от огненных жгучих брызг в твоем чреве…

Какими глазами я смотрел бы на это могучее стеклянное чудовище, если бы все оставалось, как вчера? Если бы я знал, что завтра в 12 — я предам его… да, предам…

Осторожно — за локоть сзади. Обернулся: тарелочное, плоское лицо Второго Строителя.

— Вы уже знаете, — сказал он.

— Что? Операция? Да, не правда ли? Как — все, все — сразу…

— Да нет, не то: пробный полет отменили, до послезавтра. Все из-за Операции этой… Зря гнали, старались…

«Все из-за Операции»… Смешной, ограниченный человек. Ничего не видит дальше своей тарелки. Если бы он знал, что не будь Операции — завтра в 12 он сидел бы под замком в стеклянной клетке, метался бы там и лез на стену…

У меня в комнате, в 15.30. Я вошел — и увидел Ю. Она сидела за моим столом, — костяная, пря-

мая, твердая, — утвердив на руке правую щеку. Должно быть, ждала уже давно: потому что, когда вскочила навстречу мне, — на щеке у ней так и остались пять ямок от пальцев.

Одну секунду во мне — то самое несчастное утро, и вот здесь же, возле стола, — она рядом с I, разъяренная… Но только секунду — и сейчас же смыто сегодняшним солнцем. Так бывает, если в яркий день вы, входя в комнату, по рассеянности повернули штепсель — лампочка загорелась, но как будто ее и нет — такая смешная, бедная, ненужная…

Я, не задумываясь, протянул ей руку, я простил все — она схватила мои обе, крепко, колюче стиснула их и, взволнованно вздрагивая свисающими, как древние украшения, щеками, — сказала:

— Я ждала… я только на минуту… я только хотела сказать: как я счастлива, как я рада за вас! Вы понимаете: завтра-послезавтра — вы совершенно здоровы, вы заново — родились…

Я увидел на столе листок — последние две страницы вчерашней моей записи: как оставил их там с вечера — так и лежали. Если бы она видела, что я писал там… Впрочем, все равно: теперь это — только история, теперь это — до смешного далекое, как сквозь перевернутый бинокль…

— Да, — сказал я, — и знаете: вот я сейчас шел по проспекту, и впереди меня человек, и от него — тень на мостовой. И понимаете: тень — светится. И мне кажется — ну вот я уверен, — завтра совсем не будет теней, ни от одного человека, ни от одной вещи, солнце — сквозь все…

Она — нежно и строго:

— Вы — фантазер! Детям у меня в школе — я бы не позволила говорить так…

И что-то о детях, и как она их всех сразу, гуртом, повела на Операцию, и как их там пришлось связать, и о том, что «любить — нужно беспощадно, да, беспощадно», и что она, кажется, наконец решится…

Оправила между колен серо-голубую ткань, молча, быстро — обклеила всего меня улыбкой, ушла.

И — к счастью, солнце сегодня еще не остановилось, солнце бежало, и вот уже 16, я стучу в дверь — сердце стучит…

— Войдите!

На пол — возле ее кресла, обняв ее ноги, закинув голову вверх, смотреть в глаза — поочередно, в один и в другой — и в каждом видеть себя — в чудесном плену…

А там, за стеною, буря, там — тучи все чугуннее:

пусть! В голове — тесно, буйные — через край — слова, и я вслух вместе с солнцем лечу куда-то… нет, *теперь* мы уже знаем куда — и за мною планеты — планеты, брызжущие пламенем и населенные огненными, поющими цветами, — и планеты немые, синие, где разумные камни объединены в организованные общества, — планеты, достигшие, как наша Земля, вершины абсолютного, стопроцентного счастья… И вдруг — сверху:

— А ты не думаешь, что вершина — это именно объединенные в организованное общество камни? И все острее, все темнее треугольник:

— А счастье… Что же? Ведь желания — мучительны, не так ли? И ясно: счастье — когда нет уже никаких желаний, нет ни одного… Какая ошибка, какой нелепый предрассудок, что мы до сих пор перед счастьем — ставили знак плюс, перед абсолютным счастьем — конечно, минус — божественный минус.

Я — помню — растерянно пробормотал:

— Абсолютный минус — 273°…

— Минус 273 — именно. Немного прохладно, но разве это-то самое и не доказывает, что мы — на вершине.

Как тогда, давно — она говорила как-то за меня,

мною — развертывала до конца мои мысли. Но было в этом что-то такое жуткое — я не мог — и с усилием вытащил из себя «нет».

— Нет, — сказал я. — Ты… ты шутишь…

Она засмеялась, громко — слишком громко. Быстро, в секунду, досмеялась до какого-то края — отступилась — вниз… Пауза.

Встала. Положила мне руки на плечи. Долго, медленно смотрела. Потом притянула к себе — и ничего нет: только ее острые, горячие губы.

— Прощай!

Это — издалека, сверху, и дошло до меня не скоро — может быть, через минуту, через две.

— Как так «прощай»?

— Ты же болен, ты из-за меня совершал преступления, — разве тебе не было мучительно? А теперь Операция — и ты излечишься от меня. И это — прощай.

— Нет, — закричал я.

Беспощадно-острый, черный треугольник на белом:

— Как? Не хочешь счастья?

Голова у меня расскакивалась, два логических поезда столкнулись, лезли друг на друга, крушили, трещали…

— Ну, что же, я жду — выбирай: Операция и

стопроцентное счастье — или…

— «Не могу без тебя, не надо без тебя», — сказал я или только подумал — не знаю; но I слышала.

— Да, я знаю, — ответила мне. И потом — все еще держа у меня на плечах свои руки и глазами не опуская моих глаз: — Тогда — до завтра. Завтра — в 12: ты помнишь?

— Нет. Отложено на один день… Послезавтра…

— Тем лучше для нас. В 12 — послезавтра…

Я шел один — по сумеречной улице. Ветер крутил меня, нес, гнал — как бумажку, обломки чугунного неба летели, летели — сквозь бесконечность им лететь еще день, два… Меня задевали юнифы встречных — но я шел один. Мне было ясно: все спасены, но мне спасения уже нет, *я не хочу спасения*…

Запись 32-я.
Конспект:

Я НЕ ВЕРЮ. ТРАКТОРЫ. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЩЕПОЧКА

Верите ли вы в то, что *вы умрете?* Да, человек смертен, я — человек: следовательно… Нет, не то: я знаю, что вы это знаете. А я спрашиваю: случалось ли вам *поверить* в это, поверить окончательно, поверить не умом, а *телом*, почувствовать,

что однажды пальцы, которые держат вот эту самую страницу, — будут желтые, ледяные…

Нет: конечно, не верите — и оттого до сих пор не прыгнули с десятого этажа на мостовую, оттого до сих пор едите, перевертываете страницу, бреетесь, улыбаетесь, пишете…

То же самое — да, именно то же самое — сегодня со мной. Я знаю, что эта маленькая черная стрелка на часах сползет вот сюда, вниз, к полночи, снова медленно подымется вверх, перешагнет какую-то последнюю черту — и настанет невероятное завтра. Я знаю это, но вот все же как-то *не верю* — или, может быть, мне кажется, что двадцать четыре часа — это двадцать четыре года. И оттого я могу еще что-то делать, куда-то торопиться, отвечать на вопросы, взбираться по трапу вверх на «*Интеграл*». Я чувствую еще, как он покачивается на воде, и понимаю — что надо ухватиться за поручень — и под рукою холодное стекло. Я вижу, как прозрачные живые краны, согнув журавлиные шеи, вытянув клювы, заботливо и нежно кормят «*Интеграл*» страшной взрывной пищей для двигателей. И внизу на реке — я вижу ясно синие, вздувшиеся от ветра водяные жилы, узлы. Но так: все это очень отдельно от меня, посторонне, плоско — как чертеж на

листе бумаги. И странно, что плоское, чертежное лицо Второго Строителя — вдруг говорит:

— Так как же: сколько берем топлива для двигателей? Если считать три… ну три с половиной часа…

Передо мною — в проекции, на чертеже — моя рука со счетчиком, логарифмический циферблат, цифра 15.

— Пятнадцать тонн. Но лучше возьмите… да: возьмите сто…

Это потому, что я все-таки ведь знаю, что завтра — И я вижу со стороны — как чуть заметно начинает дрожать моя рука с циферблатом.

— Сто? Да зачем же такую уйму? Ведь это — на неделю. Куда — на неделю: больше!

— Мало ли что… кто знает…

— Я знаю…

Ветер свистит, весь воздух туго набит чем-то невидимым до самого верху. Мне трудно дышать, трудно идти — и трудно, медленно, не останавливаясь ни на секунду, — ползет стрелка на часах аккумуляторной башни, там, в конце проспекта. Башенный шпиц — в тучах — тусклый, синий и глухо воет: сосет электричество. Воют трубы Музыкального Завода.

Как всегда — рядами, по четыре. Но ряды

— какие-то непрочные и, может быть, от ветра — колеблются, гнутся. И все больше. Вот обо что-то на углу ударились, отхлынули, и уже сплошной, застывший, тесный, с частым дыханием комок, у всех сразу — длинные, гусиные шеи.

— Глядите! Нет, глядите — вон там, скорей!

— Они! Это они!

— … А я — ни за что! Ни за что — лучше голову в Машину…

— Тише! Сумасшедший…

На углу, в аудиториуме — широко разинута дверь, и оттуда — медленная, грузная колонна, человек пятьдесят. Впрочем, «человек» — это не то: не ноги — а какие-то тяжелые, скованные, ворочающиеся от невидимого привода колеса; не люди — а какие-то человекообразные тракторы. Над головами у них хлопает по ветру белое знамя с вышитым золотым солнцем — и в лучах надпись: «Мы первые! Мы — уже оперированы! Все за нами!»

Они медленно, неудержимо пропахали сквозь толпу — и ясно, будь вместо нас на пути у них стена, дерево, дом — они все же, не останавливаясь, пропахали бы сквозь стену, дерево, дом. Вот — они уже на середине проспекта. Свинтившись под руку — растянулись в цепь, лицом к нам. И

мы — напряженный, ощетинившийся головами комок — ждем. Шеи гусино вытянуты. Тучи. Ветер свистит.

Вдруг крылья цепи, справа и слева, быстро загнулись — и на нас — все быстрее — как тяжелая машина под гору — обжали кольцом — и к разинутым дверям, в двери, внутрь…

Чей-то пронзительный крик:

— Загоняют! Бегите!



И все ринулось. Возле самой стены — еще узенькие живые ворота, все — туда, головами вперед — головы мгновенно заострились клиньями, и острые локти, ребра, плечи, бока. Как струя воды, стиснутая пожарной кишкой, разбрызнулись веером и кругом сыплются топающие ноги, взмахивающие руки, юнифы. Откуда-то на миг в глаза мне — двоякоизогнутое, как буква S, тело, прозрачные крылья-уши — и уж его нет, сквозь землю — и я один — среди секундных рук, ног — бегу…

Передохнуть в какой-то подъезд — спиною крепко к дверям — и тотчас же ко мне, как ветром, прибило маленькую человеческую щепочку.

— Я все время… я за вами… Я не хочу — понимаете, — не хочу. Я согласна…

Круглые, крошечные руки у меня на рукаве, круглые синие глаза: это она, О. И вот как-то вся скользит по стене и оседает наземь. Комочком согнулась там, внизу, на холодных ступенях, и я — над ней, глажу ее по голове, по лицу — руки мокрые. Так: будто я очень большой, а она — совсем маленькая, — маленькая часть меня же самого. Это совершенно другое, чем к I, и мне сейчас представляется: нечто подобное могло быть у древних по отношению к их частным детям.

Внизу — сквозь руки, закрывающие лицо, — еле слышно:

— Я каждую ночь… Я не могу — если меня вылечат… Я каждую ночь — одна, в темноте думаю о нем — какой он будет, как я его буду… Мне же нечем тогда жить — понимаете? И вы должны — вы должны…

Нелепое чувство — но я в самом деле уверен: да, должен. Нелепое — потому что этот мой долг — еще одно преступление. Нелепое — потому что белое не может быть одновременно черным, долг и преступление — не могут совпадать. Или нет в жизни ни черного, ни белого, и цвет зависит только от основной логической посылки. И если посылкой было то, что я противозаконно дал ей ребенка…

— Ну, хорошо — только не надо, только не надо… — говорю я. — Вы понимаете: я должен повести вас к I — как я тогда предлагал, — чтобы она…

— Да (– тихо, не отнимая рук от лица).

Я помог встать ей. И молча, каждый о своем — или, может быть, об одном и том же — по темнеющей улице, среди немых свинцовых домов, сквозь тугие, хлещущие ветки ветра…

В какой-то прозрачной, напряженной точке — я

сквозь свист ветра услышал сзади знакомые, вышлепывающие, как по лужам, шаги. На повороте оглянулся — среди опрокинуто несущихся, отраженных в тусклом стекле мостовой туч — увидел S. Тотчас же у меня — посторонние, не в такт размахивающие руки, и я громко рассказываю О — что завтра… да, завтра — первый полет «*Интеграла*», это будет нечто совершенно небывалое, чудесное, жуткое.

О — изумленно, кругло, сине смотрит на меня, на мои громко, бессмысленно размахивающие руки. Но я не даю сказать ей слова — я говорю, говорю. А внутри, отдельно — это слышно только мне — лихорадочно жужжит и постукивает мысль: «Нельзя… надо как-то… Нельзя вести его за собою к I — …»

Вместо того чтобы свернуть влево — я сворачиваю вправо. Мост подставляет свою покорно, рабски согнутую спину — нам троим: мне, О — и ему, S, сзади. Из освещенных зданий на том берегу сыплются в воду огни, разбиваются в тысячи лихорадочно прыгающих, обрызганных бешеной белой пеной искр. Ветер гудит — как где-то невысоко натянутая канатно-басовая струна. И сквозь бас — сзади все время — —

Дом, где живу я. У дверей О остановилась, нача-

ла было что-то:

— Нет! Вы же обещали…

Но я не дал ей кончить, торопливо втолкнул в дверь — и мы внутри, в вестибюле. Над контрольным столиком — знакомые, взволнованно-вздрагивающие, обвислые щеки; кругом — плотная кучка нумеров — какой-то спор, головы, перевесившиеся со второго этажа через перила, — поодиночке сбегают вниз. Но это — потом, потом… А сейчас я скорее увлек О в противоположный угол, сел спиною к стене (там, за стеною, я видел: скользила по тротуару взад и вперед темная, большеголовая тень), вытащил блокнот.

О — медленно оседала в своем кресле, — будто под юнифой испарялось, таяло тело, и только одно пустое платье и пустые — засасывающие синей пустотой — глаза. Устало:

— Зачем вы меня сюда? Вы меня обманули?

— Нет… Тише! Смотрите туда: видите — за стеной?

— Да. Тень.

— Он — все время за мной… Я не могу. Понимаете — мне нельзя. Я сейчас напишу два слова — вы возьмете и пойдете одна. Я знаю: он останется здесь.

Под юнифой — снова зашевелилось налитое тело, чуть-чуть закруглел живот, на щеках — чуть заметный рассвет, заря.

Я сунул ей в холодные пальцы записку, крепко сжал руку, последний раз зачерпнул глазами из ее синих глаз.

— Прощайте! Может быть, еще когда-нибудь…

Она вынула руку. Согнувшись, медленно пошла — два шага — и быстро повернулась — и вот опять рядом со мной. Губы шевелятся — глазами, губами — вся — одно и то же, одно и то же мне какое-то слово — и какая невыносимая улыбка, какая боль…

А потом согнутая человеческая щепочка в дверях, крошечная тень за стеной — не оглядываясь, быстро — все быстрее…

Я подошел к столику Ю. Взволнованно, негодующе раздувая жабры, она сказала мне:

— Вы понимаете — все как с ума сошли! Вот он уверяет, будто сам видел около Древнего Дома какого-то человека — голый и весь покрыт шерстью…

Из пустой, ощетинившейся головами кучки — голос:

— Да! И еще раз повторяю: видел, да.

— Ну, как вам это нравится, а? Что за бред!

И это «бред» — у нее такое убежденное, негнущееся, что я спросил себя: «Не бред ли и в самом деле все это, что творится со мною и вокруг меня за последнее время?»

Но взглянул на свои волосатые руки — вспомнилось: «В тебе, наверно, есть капля лесной крови… Может быть, я тебя оттого и…»

Нет: к счастью — не бред. Нет: к несчастью — не бред.

Запись 33-я.
Конспект:

(ЭТО БЕЗ КОНСПЕКТА, НАСПЕХ, ПОСЛЕДНЕЕ)

Этот день — настал.

Скорей за газету: быть может — там… Я читаю газету глазами (именно так: мои глаза сейчас — как перо, как счетчик, которые держишь, чувствуешь в руках — это постороннее, это инструмент).

Там — крупно, во всю первую страницу:

> «Враги счастья не дремлют. Обеими руками держитесь за счастье! Завтра приостанавливаются работы – все нумера явятся для Операции. Неявившиеся

– подлежат Машине Благодетеля».

Завтра! Разве может быть — разве будет какое-нибудь завтра?

По ежедневной инерции я протянул руку (инструмент) к книжной полке — вложил сегодняшнюю газету к остальным, в украшенный золотом переплет. И на пути:

> «Зачем? Не все ли равно? Ведь сюда, в эту комнату, – я уже никогда больше, никогда…»

И газета из рук — на пол. А я стою и оглядываю кругом всю, всю, всю комнату, я поспешно забираю с собою — я лихорадочно запихиваю в невидимый чемодан все, что жалко оставить здесь. Стол. Книги. Кресло. На кресле тогда сидела I — а я внизу, на полу… Кровать…

Потом минуту, две — нелепо жду какого-то чуда, быть может — зазвонит телефон, быть может, она скажет, чтоб…

Нет. Нет чуда…

Я ухожу — в неизвестное. Это мои последние строки. Прощайте — вы, неведомые, вы, любимые, с кем я прожил столько страниц, кому я, заболевший душой, — показал всего себя, до

последнего смолотого винтика, до последней лопнувшей пружины…

Я ухожу.

Запись 34-я.
Конспект:

ОТПУЩЕННИКИ. СОЛНЕЧНАЯ НОЧЬ. РАДИОВАЛЬКИРИЯ

О, если бы я действительно разбил себя и всех вдребезги, если бы я действительно — вместе с нею — оказался где-нибудь за Стеной, среди скалящих желтые клыки зверей, если бы я действительно уже больше никогда не вернулся сюда. В тысячу — в миллион раз легче. А теперь — что же? Пойти и задушить эту — Но разве это чему-нибудь поможет?

Нет, нет, нет! Возьми себя в руки, Д-503. Насади себя на крепкую логическую ось — хоть ненадолго навались изо всех сил на рычаг — и, как древний раб, ворочай жернова силлогизмов — пока не запишешь, не обмыслишь всего, что случилось…

Когда я вошел на «*Интеграл*» — все уже были в сборе, все на местах, все соты гигантского, стеклянного улья были полны. Сквозь стекло палуб — крошечные муравьиные люди внизу — возле

телеграфов, динамо, трансформаторов, альтиметров, вентилей, стрелок, двигателей, помп, труб. В кают-компании — какие-то над таблицами и инструментами — вероятно, командированные Научным Бюро. И возле них — Второй Строитель с двумя своими помощниками.

У всех троих головы по-черепашьи втянуты в плечи, лица — серые, осенние, без лучей.

— Ну, что? — спросил я.

— Так… Жутковато… — серо, без лучей улыбнулся один. — Может, придется спуститься неизвестно где. И вообще — неизвестно…

Мне было нестерпимо смотреть на них, — на них, кого я, вот этими самыми руками, через час навсегда выкину из уютных цифр Часовой Скрижали, навсегда оторву от материнской груди Единого Государства. Они напомнили мне трагические образы «Трех Отпущенников» — история которых известна у нас любому школьнику. Эта история о том, как троих нумеров, в виде опыта, на месяц освободили от работы: делай что хочешь, иди куда хочешь[13]. Несчастные слонялись возле места привычного труда и голодными глазами заглядывали внутрь; останавливались

[13] Примечания: 13
Это давно, еще в III веке после Скрижали.

на площадях — и по целым часам проделывали те движения, какие в определенное время дня были уже потребностью их организма: пилили и стругали воздух, невидимыми молотами побрякивали, бухали в невидимые болванки. И наконец, на десятый день не выдержали: взявшись за руки, вошли в воду и под звуки Марша погружались все глубже, пока вода не прекратила их мучений…

Повторяю: мне было тяжело смотреть на них, я торопился уйти.

— Я только проверю в машинном, — сказал я, — и потом — в путь.

О чем-то меня спрашивали — какой вольтаж взять для пускового взрыва, сколько нужно водяного балласта в кормовую цистерну. Во мне был какой-то граммофон: он отвечал на все вопросы быстро и точно, а я, не переставая, — внутри, о своем.

И вдруг в узеньком коридорчике — одно попало мне туда, внутрь — и с того момента, в сущности, началось.

В узеньком коридорчике мелькали мимо серые юнифы, серые лица, и среди них на секунду одно: низко нахлобученные волосы, глаза исподлобья — тот самый. Я понял: они здесь, и мне не уйти

от всего этого никуда, и остались только минуты — несколько десятков минут… Мельчайшая, молекулярная дрожь во всем теле (она потом не прекращалась уже до самого конца) — будто поставлен огромный мотор, а здание моего тела — слишком легкое, и вот все стены, переборки, кабели, балки, огни — все дрожит…

Я еще не знаю: здесь ли она. Но сейчас уже некогда — за мной прислали, чтобы скорее наверх, в командную рубку: пора в путь… Куда?

Серые, без лучей, лица. Напруженные синие жилы внизу, на воде. Тяжкие, чугунные пласты неба. И так чугунно мне поднять руку, взять трубку командного телефона.

— Вверх — 45°!

Глухой взрыв — толчок — бешеная бело-зеленая гора воды в корме — палуба под ногами уходит — мягкая, резиновая — и все внизу, вся жизнь, навсегда… На секунду — все глубже падая в какую-то воронку, все кругом сжималось — выпуклый сине-ледяной чертеж города, круглые пузырьки куполов, одинокий свинцовый палец аккумуляторной башни. Потом — мгновенная ватная занавесь туч — мы сквозь нее — и солнце, синее небо. Секунды, минуты, мили — синее быстро твердеет, наливается темнотой, каплями

холодного серебряного пота проступают звезды…

И вот — жуткая, нестерпимо яркая, черная, звездная, солнечная ночь. Как если бы внезапно вы оглохли: вы еще видите, что ревут трубы, но только видите: трубы немые, тишина. Такое было — немое — солнце.

Это было естественно, этого и надо было ждать. Мы вышли из земной атмосферы. Но так как-то все быстро, врасплох — что все кругом оробели, притихли. А мне — мне показалось даже легче под этим фантастическим, немым солнцем: как будто я, скорчившись последний раз, уже переступил неизбежный порог — и мое тело где-то там, внизу, а я несусь в новом мире, где все и должно быть непохожее, перевернутое…

— Так держать, — крикнул я в машину — или не я, а тот самый граммофон во мне — и граммофон механической, шарнирной рукой сунул командную трубку Второму Строителю. А я, весь одетый тончайшей, молекулярной, одному мне слышной дрожью, — побежал вниз, искать…

Дверь в кают-компанию — та самая: через час она тяжко звякнет, замкнется… Возле двери — какой-то незнакомый мне низенький, с сотым, тысячным, пропадающим в толпе лицом, и только руки необычайно длинные, до колен: будто по

ошибке, наспех взяты из другого человеческого набора.

Длинная рука вытянулась, загородила:

— Вам куда?

Мне ясно: он не знает, что я знаю все. Пусть: может быть — так нужно. И я сверху, намеренно резко:

— Я Строитель «*Интеграла*». И я — распоряжаюсь испытаниями. Понял?

Руки нет.

Кают-компания. Над инструментами, картами — объезженные серой щетиной головы — и головы желтые, лысые, спелые. Быстро всех в горсть — одним взглядом — и назад, по коридору, по трапу, вниз, в машинное. Там жар и грохот от раскаленных взрывами труб, в отчаянной пьяной присядке сверкающие мотыли, в не перестающей ни на секунду, чуть заметной дрожи — стрелки на циферблатах…

И вот — наконец — возле тахометра — он, с низко нахлобученным над записной книжкой лбом…

— Послушайте… (Грохот: надо кричать в самое ухо.) — Она здесь? Где она?

В тени — исподлобья — улыбка:

— Она? Там. В радиотелефонной…

И я — туда. Там их — трое. Все — в слуховых крылатых шлемах. И она — будто на голову выше, чем всегда, крылатая, сверкающая, летучая — как древние валькирии, и будто огромные, синие искры наверху, на радиошпице — это от нее, и от нее здесь — легкий, молнийный, озонный запах.

— Кто-нибудь… нет, хотя бы — вы… — сказал я ей, задыхаясь (от бега). — Мне надо передать вниз, на землю, на эллинг… Пойдемте, я продиктую…

Рядом с аппаратной — маленькая коробочка-каюта. За столом, рядом. Я нашел, крепко сжал ее руку:

— Ну что же? Что же будет?

— Не знаю. Ты понимаешь, как это чудесно: не зная — лететь — все равно куда… И вот скоро 12 — и неизвестно что? И ночь… где мы с тобой будем ночью? Может быть — на траве, на сухих листьях…

От нее — синие искры и пахнет молнией, и дрожь во мне — еще чаще.

— Запишите, — говорю я громко и все еще задыхаясь (от бега). — Время 11.30. Скорость: 6800…

Она — из-под крылатого шлема, не отрывая глаз от бумаги, тихо:

— … Вчера вечером пришла ко мне с твоей запиской… Я знаю — я все знаю: молчи. Но ведь

ребенок — твой? И я ее отправила — она уже там, за Стеною. Она будет жить…

Я — снова в командной рубке. Снова — бредовая, с черным звездным небом и ослепительным солнцем, ночь; медленно с одной минуты на другую перехрамывающая стрелка часов на стене; и все, как в тумане, одето тончайшей, чуть заметной (одному мне) дрожью.

Почему-то показалось: лучше, чтоб все это произошло не здесь, а где-то внизу, ближе к земле.

— Стоп, — крикнул я в машину.

Все еще вперед — по инерции — но медленней, медленней. Вот теперь «*Интеграл*» зацепился за какой-то секундный волосок, на миг повис неподвижно, потом волосок лопнул — и «*Интеграл*», как камень, вниз — все быстрее. Так в молчании, минуты, десятки минут — слышен пульс — стрелка перед глазами все ближе к 12. И мне ясно: это я — камень, I — земля, а я — кем-то брошенный камень — и камню нестерпимо нужно упасть, хватиться оземь, чтоб вдребезги… А что, если… — внизу уже твердый, синий дым туч… — а что, если…

Но граммофон во мне — шарнирно, точно, взял трубку, скомандовал «малый ход» — камень перестал падать. И вот устало пофыркивают лишь

четыре нижних отростка — два кормовых и два носовых — только, чтобы парализовать вес «*Интеграла*», и «*Интеграл*», чуть вздрагивая, прочно, как на якоре, — стал в воздухе, в каком-нибудь километре от земли.

Все высыпали на палубу (сейчас — 12, звонок на обед) и, перегнувшись через стеклянный планшир, торопливо, залпом глотали неведомый, застойный мир — там, внизу. Янтарное, зеленое, синее: осенний лес, луга, озеро. На краю синего блюдечка — какие-то желтые, костяные развалины, грозит желтый, высохший палец — должно быть, чудом уцелевшая башня древней церкви.

— Глядите, глядите! Вон там — правее!

Там — по зеленой пустыне — коричневой тенью летало какое-то быстрое пятно. В руках у меня бинокль, механически поднес его к глазам: по грудь в траве, взвеяв хвостом, скакал табун коричневых лошадей, а на спинах у них — те, караковые, белые, вороные…

Сзади меня:

— А я вам говорю: видел — лицо.

— Подите вы! Рассказывайте кому другому!

— Ну нате, нате бинокль…

Но уже исчезли. Бесконечная зеленая пустыня…

И в пустыне — заполняя всю ее, и всего меня, и всех — пронзительная дрожь звонка: обед, через минуту — 12.

Раскиданный на мгновенные, несвязные обломки — мир. На ступеньках — чья-то звонкая золотая бляха — и это мне все равно: вот теперь она хрустнула у меня под каблуком. Голос: «А я говорю — лицо!» Темный квадрат: открытая дверь кают-компании. Стиснутые, белые, остроулыбающиеся зубы…

И в тот момент, когда бесконечно медленно, не дыша от одного удара до другого, начали бить часы и передние ряды уже двинулись — квадрат двери вдруг перечеркнут двумя знакомыми, неестественно длинными руками:

— Стойте!

В ладонь мне впились пальцы — это I, это она рядом:

— Кто? Ты знаешь его?

— А разве… а разве это не…

Он — на плечах. Над сотнею лиц — его сотое, тысячное и единственное из всех лицо:

— От имени Хранителей… Вам — кому я говорю, те слышат, каждый из них слышит меня — вам я говорю: мы знаем. Мы еще не знаем ваших номеров — но мы знаем все. «*Интеграл*» — вашим не

будет! Испытание будет доведено до конца, и вы же — вы теперь не посмеете шевельнуться, — вы же, своими руками, сделаете это. А потом… Впрочем, я кончил…

Молчание. Стеклянные плиты под ногами — мягкие, ватные, и у меня мягкие, ватные ноги. Рядом у нее — совершенно белая улыбка, бешеные, синие искры. Сквозь зубы — на ухо мне:

— А, так это вы? Вы — «исполнили долг»? Ну, что же…

Рука — вырвалась из моих рук, валькирийный, гневно-крылатый шлем — где-то далеко впереди. Я — один застыло, молча, как все, иду в кают-компанию…

> «Но ведь не я же – не я! Я же об этом ни с кем, никому, кроме этих белых, немых страниц…»

Внутри себя — неслышно, отчаянно, громко — я кричал ей это. Она сидела через стол, напротив — и она даже ни разу не коснулась меня глазами. Рядом с ней — чья-то спело-желтая лысина. Мне слышно (это — I):

— «Благородство»? Но, милейший профессор, ведь даже простой филологический анализ этого слова — показывает, что это предрассудок, пере-

житок древних, феодальных эпох. А мы…

Я чувствовал: бледнею — и вот сейчас все увидят это… Но граммофон во мне проделывал 50 установленных жевательных движений на каждый кусок, я заперся в себе, как в древнем непрозрачном доме — я завалил дверь камнями, я завесил окна…

Потом — в руках у меня командная трубка, и лет — в ледяной, последней тоске — сквозь тучи — в ледяную, звездно-солнечную ночь. Минуты, часы. И, очевидно, во мне все время лихорадочно, полным ходом — мне же самому неслышный логический мотор. Потому что вдруг в какой-то точке синего пространства: мой письменный стол, над ним — жаберные щеки Ю, забытый лист моих записей. И мне ясно: никто, кроме нее, — мне все ясно…

Ах, только бы — только бы добраться до радио… Крылатые шлемы, запах синих молний… Помню — что-то громко говорил ей и помню — она, глядя сквозь меня, как будто я был стеклянный, — издалека:

— Я занята: принимаю снизу. Продиктуйте вот ей…

В крошечной коробочке-каюте, минуту подумав, я твердо продиктовал:

— Время — 14.40. Вниз! Остановить двигатели. Конец всего.

Командная рубка. Машинное сердце «*Интеграла*» остановлено, мы падаем, и у меня сердце — не поспевает падать, отстает, подымается все выше к горлу. Облака — и потом далеко зеленое пятно — все зеленее, все явственней — вихрем мчится на нас — сейчас конец —

Фаянсово-белое, исковерканное лицо Второго Строителя. Вероятно, это он — толкнул меня со всего маху, я обо что-то ударился головой и, уже темнея, падая — туманно услышал:

— Кормовые — полный ход!

Резкий скачок вверх… Больше ничего не помню.

Запись 35-я.
Конспект:

В ОБРУЧЕ. МОРКОВКА. УБИЙСТВО

Всю ночь не спал. Всю ночь — об одном…

Голова после вчерашнего у меня туго стянута бинтами. И так: это не бинты, а обруч; беспощадный, из стеклянной стали, обруч наклепан мне на голову, и я — в одном и том же кованом кругу: убить Ю. Убить Ю, — а потом пойти к той и сказать: «Теперь — веришь?» Противней всего, что

убить как-то грязно, древне, размозжить чем-то голову — от этого странное ощущение чего-то отвратительно сладкого во рту, и я не могу проглотить слюну, все время сплевываю ее в платок, во рту сухо.

В шкафу у меня лежал лопнувший после отливки тяжелый поршневый шток (мне нужно было посмотреть структуру излома под микроскопом). Я свернул в трубку свои записи (пусть она прочтет всего меня — до последней буквы), сунул внутрь обломок штока и пошел вниз. Лестница — бесконечная, ступени — какие-то противно-скользкие, жидкие, все время — вытирать рот платком…

Внизу. Сердце бухнуло. Я остановился, вытащил шток — к контрольному столику — —

Но Ю там не было: пустая, ледяная доска. Я вспомнил: сегодня — все работы отменены; все должны на операцию, и понятно: ей незачем, некого записывать здесь…

На улице. Ветер. Небо из несущихся чугунных плит. И так, как это было в какой-то момент вчера: весь мир разбит на отдельные, острые, самостоятельные кусочки, и каждый из них, падая стремглав, на секунду останавливался, висел передо мной в воздухе — и без следа испарялся.

Как если бы черные, точные буквы на этой

странице — вдруг сдвинулись, в испуге рассказались какая куда — и ни одного слова, только бессмыслица: пуг — скак — как — . На улице — вот такая же рассыпанная, не в рядах, толпа — прямо, назад, наискось, поперек.

И уже никого. И на секунду, несясь стремглав, застыло: вон, во втором этаже, в стеклянной, повисшей на воздухе клетке — мужчина и женщина — в поцелуе, стоя — она всем телом сломанно отогнулась назад. Это навеки, последний раз…

На каком-то углу — шевелящийся колючий куст голов. Над головами — отдельно, в воздухе — знамя, слова: «Долой Машины! Долой Операцию!» И отдельно (от меня) — я, думающий секундно: «Неужели у каждого такая боль, какую можно исторгнуть изнутри — только вместе с сердцем, и каждому нужно что-то сделать, прежде чем —» И на секунду ничего во всем мире, кроме (моей) звериной руки с чугунно-тяжелым свертком…

Теперь — мальчишка: весь — вперед, под нижней губой — тень. Нижняя губа — вывернута, как обшлаг засученного рукава — вывернуто все лицо — он ревет — и от кого-то со всех ног — за ним топот…

От мальчишки: «Да, Ю — должна быть теперь в школе, нужно скорей». Я побежал к ближайшему

спуску подземки.

В дверях кто-то бегом:

— Не идут! Поезда сегодня не идут! Там — —

Я спустился. Там был — совершенный бред. Блеск граненых хрустальных солнц. Плотно утрамбованная головами платформа. Пустой, застывший поезд.

И в тишине — голос. Ее — не видно, но я знаю, я знаю этот упругий, гибкий, как хлыст, хлещущий голос — и где-нибудь там вздернутый к вискам острый треугольник бровей… Я закричал:

— Пустите же! Пустите меня туда! Я должен —

Но чьи-то клещи меня — за руки, за плечи, гвоздями.

И в тишине — голос:

— … Нет: бегите наверх! Там вас — вылечат, там вас до отвалу накормят сдобным счастьем, и вы, сытые, будете мирно дремать, организованно, в такт, похрапывая, — разве вы не слышите этой великой симфонии храпа? Смешные: вас хотят освободить от извивающихся, как черви, мучительно грызущих, как черви, вопросительных знаков. А вы здесь стоите и слушаете меня. Скорее — наверх — к Великой Операции! Что вам за дело, что я останусь здесь одна? Что вам за дело — если я не хочу, чтобы за меня хотели другие, я

хочу хотеть сама, — если я хочу невозможного…

Другой голос — медленный, тяжелый:

— Ага! Невозможного? Это значит — гонись за твоими дурацкими фантазиями, а они чтоб перед носом у тебя вертели хвостом? Нет: мы — за хвост да под себя, а потом…

— А потом — слопаете, захрапите — и нужен перед носом новый хвост. Говорят, у древних было такое животное: осел. Чтобы заставить его идти все вперед, все вперед — перед мордой, к оглобле, привязывали морковь так, чтоб он не мог ухватить. И если ухватил, слопал…

Вдруг клещи меня отпустили, я кинулся в середину, где говорила она, — и в тот же момент все посыпалось, стиснулось — сзади крик: «Сюда, сюда идут!» Свет подпрыгнул, погас — кто-то перерезал провод — и лавина, крики, хрип, головы, пальцы…

Я не знаю, сколько времени мы катились так в подземной трубе. Наконец: ступеньки — сумерки — все светлее — и мы снова на улице веером, в разные стороны…

И вот — один. Ветер, серые, низкие — совсем над головой — сумерки. На мокром стекле тротуара — очень глубоко — опрокинуты огни, стены, движущиеся вверх ногами фигуры. И невероятно

тяжелый сверток в руке — тянет меня вглубь, ко дну.

Внизу, за столиком, Ю опять не было, и пустая, темная — ее комната.

Я поднялся к себе, открыл свет. Туго стянутые обручем виски стучали, я ходил, — закованный все в одном и том же кругу: стол, на столе белый сверток, кровать, дверь, стол, белый сверток… В комнате слева опущены шторы. Справа: над книгой — шишковатая лысина, и лоб — огромная желтая парабола. Морщины на лбу — ряд желтых неразборчивых строк. Иногда мы встречаемся глазами — и тогда я чувствую: эти желтые строки — обо мне.

… Произошло ровно в 21. Пришла Ю — сама. Отчетливо осталось в памяти только одно: я дышал так громко, что слышал, как дышу, и все хотел как-нибудь потише — и не мог.

Она села, расправила на коленях юнифу. Розово-коричневые жабры трепыхались.

— Ах, дорогой, — так это правда, вы ранены? Я как только узнала — сейчас же…

Шток передо мною на столе. Я вскочил, дыша еще громче. Она услышала, остановилась на полслове, тоже почему-то встала. Я видел уже это место на голове, во рту отвратительно-сладко…

платок, но платка нет — сплюнул на пол.

Тот, за стеной справа — желтые, пристальные морщины — обо мне. Нужно, чтобы он не видел, еще противней — если он будет смотреть… Я нажал кнопку — пусть никакого права, разве это теперь не все равно, — шторы упали.

Она, очевидно, почувствовала, поняла, метнулась к двери. Но я опередил ее — и, громко дыша, ни на секунду не спуская глаз с этого места на голове…

— Вы… вы с ума сошли! Вы не смеете… — она пятилась задом — села, вернее, упала на кровать — засунула, дрожа, сложенные ладонями руки между колен. Весь пружинный, все так же крепко держа ее глазами на привязи, я медленно протянул руку к столу — двигалась только одна рука — схватил шток.

— Умоляю вас! День — только один день! Я завтра — завтра же — пойду и все сделаю…

О чем она? Я замахнулся —

И я считаю: я убил ее. Да, вы, неведомые мои читатели, вы имеете право назвать меня убийцей. Я знаю, что спустил бы шток на ее голову, если бы она не крикнула:

— Ради… ради… Я согласна — я… сейчас.

Трясущимися руками она сорвала с себя юнифу

— просторное, желтое, висячее тело опрокинулось на кровать… И только тут я понял: она думала, что я шторы — это для того, чтобы — что я хочу…

Это было так неожиданно, так глупо, что я расхохотался. И тотчас же туго закрученная пружина во мне — лопнула, рука ослабела, шток громыхнул на пол. Тут я на собственном опыте увидел, что смех — самое страшное оружие: смехом можно убить все — даже убийство.

Я сидел за столом и смеялся — отчаянным, последним смехом — и не видел никакого выхода из всего этого нелепого положения. Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы развивалось естественным путем — но тут вдруг новая, внешняя, слагающая: зазвонил телефон.

Я кинулся, стиснул трубку: может быть, она? — и в трубке чей-то незнакомый голос:

— Сейчас.

Томительное, бесконечное жужжание. Издали — тяжелые шаги, все ближе, все гулче, все чугунней — и вот…

— Д-503? Угу… С вами говорит Благодетель. Немедленно ко мне!

Динь, — трубка повешена, — динь.

Ю все еще лежала в кровати, глаза закрыты,

жабры широко раздвинуты улыбкой. Я сгреб с полу ее платье, кинул на нее сквозь зубы:

— Ну! Скорее — скорее!

Она приподнялась на локте, груди сплеснулись набок, глаза круглые, вся повосковела.

— Как?

— Так. Ну — одевайтесь же!

Она — вся узлом, крепко вцепившись в платье, голос вплющенный.

— Отвернитесь…

Я отвернулся, прислонился лбом к стеклу. На черном, мокром зеркале дрожали огни, фигуры, искры. Нет: это — я, это — во мне… Зачем Он меня? Неужели Ему уже известно о ней, обо мне, обо всем?

Ю, уже одетая, у двери. Два шага к ней — стиснул ей руки так, будто именно из ее рук сейчас по каплям выжму то, что мне нужно:

— Слушайте… Ее имя — вы знаете о ком, — вы ее называли? Нет? Только правду — мне это нужно… мне все равно — только правду…

— Нет.

— Нет? Но почему же — раз уж вы пошли туда и сообщили…

Нижняя губа у ней — вдруг наизнанку, как у того мальчишки, — и из щек, по щекам капли…

— Потому что я… я боялась, что если ее… что за это вы можете… вы перестанете лю… О, я не могу — я не могла бы…

Я понял: это — правда. Нелепая, смешная, человеческая правда! Я открыл дверь.

Запись 36-я.
Конспект:

ПУСТЫЕ СТРАНИЦЫ. ХРИСТИАНСКИЙ БОГ. О МОЕЙ МАТЕРИ

Тут странно — в голове у меня, как пустая, белая страница: как я туда шел, как ждал (знаю, что ждал) — ничего не помню, ни одного звука, ни одного лица, ни одного жеста. Как будто были перерезаны все провода между мною и миром.



Очнулся — уже стоя перед Ним, и мне страшно поднять глаза: вижу только Его огромные, чугунные руки — на коленях. Эти руки давили Его самого, подгибали колени. Он медленно шевелил пальцами. Лицо — где-то в тумане, вверху, и будто вот только потому, что голос Его доходил ко мне с такой высоты, — он не гремел как гром, не оглушал меня, а все же был похож на обыкновенный человеческий голос.

— Итак — вы тоже? Вы — Строитель «*Интеграла*»? Вы — кому дано было стать величайшим конкистадором. Вы — чье имя должно было начать новую, блистательную главу истории Единого Государства… Вы?

Кровь плеснула мне в голову, в щеки — опять белая страница: только в висках — пульс, и вверху гулкий голос, но ни одного слова. Лишь когда он замолк, я очнулся, я увидел: рука двинулась стопудово — медленно поползла — на меня уставился палец.

— Ну? Что же вы молчите? Так или нет? Палач?

— Так, — покорно ответил я. И дальше ясно слышал каждое его слово.

— Что же? Вы думаете — я боюсь этого слова? А вы пробовали когда-нибудь содрать с него

скорлупу и посмотреть, что там внутри? Я вам сейчас покажу. Вспомните: синий холм, крест, толпа. Одни — вверху, обрызганные кровью, прибивают тело к кресту; другие — внизу, обрызганные слезами, смотрят. Не кажется ли вам, что роль тех, верхних, — самая трудная, самая важная. Да не будь их, разве была бы поставлена вся эта величественная трагедия? Они были освистаны темной толпой: но ведь за это автор трагедии — Бог — должен еще щедрее вознаградить их. А сам христианский, милосерднейший Бог, медленно сжигающий на адском огне всех непокорных, — разве он не палач? И разве сожженных христианами на кострах меньше, чем сожженных христиан? А все-таки — поймите это, все-таки этого Бога веками славили, как Бога любви. Абсурд? Нет, наоборот: написанный кровью патент на неискоренимое благоразумие человека. Даже тогда — дикий, лохматый — он понимал: истинная, алгебраическая любовь к человечеству — непременно бесчеловечна, и непременный признак истины — ее жестокость. Как у огня — непременный признак тот, что он сжигает. Покажите мне не жгучий огонь? Ну, — доказывайте же, спорьте!

Как я мог спорить? Как я мог спорить, когда это

были (прежде) мои же мысли — только я никогда не умел одеть их в такую кованую, блестящую броню. Я молчал…

— Если это значит, что вы со мной согласны, — так давайте говорить, как взрослые, когда дети ушли спать: все до конца. Я спрашиваю: о чем люди — с самых пеленок — молились, мечтали, мучились? О том, чтобы кто-нибудь раз навсегда сказал им, что такое счастье, — и потом приковал их к этому счастью на цепь. Что же другое мы теперь делаем, как не это? Древняя мечта о рае… Вспомните: в раю уже не знают желаний, не знают жалости, не знают любви, там — блаженные, с оперированной фантазией (только потому и блаженные) — ангелы, рабы Божьи… И вот в тот момент, когда мы уже догнали эту мечту, когда мы схватили ее вот так (Его рука сжалась: если бы в ней был камень — из камня брызнул бы сок), когда уже осталось только освежевать добычу и разделить ее на куски — в этот самый момент вы — вы…

Чугунный гул внезапно оборвался. Я — весь красный, как болванка на наковальне под бухающим молотом. Молот молча навис, и ждать — это еще… страш…

Вдруг:

— Вам сколько лет?

— Тридцать два.

— А вы ровно вдвое — шестнадцатилетне наивны! Слушайте: неужели вам в самом деле ни разу не пришло в голову, что ведь им — мы еще не знаем их имен, но уверен, от вас узнаем, — что им вы нужны были только как Строитель «*Интеграла*» — только для того, чтобы через вас…

— Не надо! Не надо, — крикнул я.

… Так же, как заслониться руками и крикнуть это пуле: вы еще слышите свое смешное «не надо», а пуля — уже прожгла, уже вы корчитесь на полу.

— Да, да: Строитель «*Интеграла*»… Да, да… — и тотчас же: разъяренное, со вздрагивающими кирпично-красными жабрами лицо Ю — в то утро, когда они обе вместе у меня в комнате…

Помню очень ясно: я засмеялся — поднял глаза. Передо мной сидел лысый, сократовски лысый человек, и на лысине — мелкие капельки пота.

Как все просто. Как все величественно-банально и до смешного просто.

Смех душил меня, вырывался клубами. Я заткнул рот ладонью и опрометью кинулся вон.

Ступени, ветер, мокрые, прыгающие осколки огней, лиц, и на бегу: «Нет! Увидеть ее! Только

еще раз увидеть ее!»

Тут — снова пустая, белая страница. Помню только: ноги. Не люди, а именно — ноги: нестройно топающие, откуда-то сверху падающие на мостовую сотни ног, тяжелый дождь ног. И какая-то веселая, озорная песня, и крик — должно быть, мне: «Эй, Эй! Сюда, к нам!»

Потом — пустынная площадь, доверху набитая тугим ветром. Посредине — тусклая, грузная, грозная громада: Машина Благодетеля. И от нее — во мне такое, как будто неожиданное, эхо: ярко-белая подушка; на подушке закинутая назад с полузакрытыми глазами голова; острая, сладкая полоска зубов… И все это как-то нелепо, ужасно связано с Машиной — я знаю как, но я еще не хочу увидеть, назвать вслух — не хочу, не надо.

Я закрыл глаза, сел на ступенях, идущих наверх, к Машине. Должно быть, шел дождь: лицо у меня мокрое. Где-то далеко, глухо — крики. Но никто не слышит, никто не слышит, как я кричу: спасите же меня от этого — спасите!

Если бы у меня была мать — как у древних: моя — вот именно — мать. И чтобы для нее — я не Строитель «*Интеграла*», и не нумер Д-503, и не молекула Единого Государства, а простой человеческий кусок — кусок ее же самой — ис-

топтанный, раздавленный, выброшенный… И пусть я прибиваю или меня прибивают — может быть, это одинаково, — чтобы она услышала то, чего никто не слышит, чтобы ее старушечьи, заросшие морщинами губы — —

Запись 37-я.
Конспект:

ИНФУЗОРИЯ. СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ. ЕЕ КОМНАТА

Утром в столовой — сосед слева испуганно шепнул мне:

— Да ешьте же! На вас смотрят!

Я — изо всех сил — улыбнулся. И почувствовал это — как какую-то трещину на лице: улыбаюсь — края трещины разлезаются все шире — и мне от этого все больнее…

Дальше — так: едва я успел взять кубик на вилку, как тотчас же вилка вздрогнула у меня в руке и звякнула о тарелку — и вздрогнули, зазвенели столы, стены, посуда, воздух, и снаружи — какой-то огромный, до неба, железный круглый гул — через головы, через дома — и далеко замер чуть заметными, мелкими, как на воде, кругами.

Я увидел во мгновение слинявшие, выцветшие лица, застопоренные на полном ходу рты, замерз-

шие в воздухе вилки.

Потом все спуталось, сошло с вековых рельс, все вскочили с мест (не пропев гимна) — кое-как, не в такт, дожевывая, давясь, хватались друг за друга: «Что? Что случилось? Что?» И — беспорядочные осколки некогда стройной великой Машины — все посыпались вниз, к лифтам — по лестнице — ступени — топот — обрывки слов — как клочья разорванного и взвихренного ветром письма…

Так же сыпались изо всех соседних домов, и через минуту проспект — как капля воды под микроскопом: запертые в стеклянно-прозрачной капле инфузории растерянно мечутся вбок, вверх, вниз.

— Ага, — чей-то торжествующий голос — передо мною затылок и нацеленный в небо палец — очень отчетливо помню желто-розовый ноготь и внизу ногтя — белый, как вылезающий из-за горизонта, полумесяц. И это как компас: сотни глаз, следуя за этим пальцем, повернулись к небу.

Там, спасаясь от какой-то невидимой погони, мчались, давили, перепрыгивали друг через друга тучи — и, окрашенные тучами, темные аэро Хранителей с свисающими черными хоботами труб — и еще дальше — там, на западе, что-то похожее — —

Сперва никто не понимал, что это — не понимал даже и я, кому (к несчастью) было открыто больше, чем всем другим. Это было похоже на огромный рой черных аэро: где-то в невероятной высоте — еле заметные быстрые точки. Все ближе; сверху хриплые, гортанные капли — наконец над головами у нас птицы. Острыми, черными, пронзительными, падающими треугольниками заполнили небо, бурей сбивало их вниз, они садились на купола, на крыши, на столбы, на балконы.

— Ага-а, — торжествующий затылок повернулся — я увидел того, исподлобного. Но в нем теперь осталось от прежнего только одно какое-то заглавие, он как-то весь вылез из этого вечного своего подлобья, и на лице у него — около глаз, около губ — пучками волос росли лучи, он улыбался.

— Вы понимаете, — сквозь свист ветра, крыльев, карканье, — крикнул он мне. — Вы понимаете: Стену — Стену взорвали! По-ни-ма-ете?

Мимоходом, где-то на заднем плане, мелькающие фигуры — головы вытянуты — бегут скорее внутрь, в дома. Посредине мостовой — быстрая и все-таки будто медленная (от тяжести) лавина оперированных, шагающих туда — на запад.

… Волосатые пучки лучей около губ, глаз. Я

схватил его за руку:

— Слушайте: где она — где I? Там, за Стеной, — или… Мне нужно — слышите? Сейчас же, я не могу…

— Здесь! — крикнул он мне пьяно, весело — крепкие, желтые зубы. — Здесь она, в городе, действует. Ого — мы действуем!

Кто — мы? Кто — я?

Около него — было с полсотни таких же, как он — вылезших из своих темных подлобий, громких, веселых, крепкозубых. Глотая раскрытыми ртами бурю, помахивая такими на вид смирными и нестрашными электрокуторами (где они их достали?), — они двинулись туда же, на запад, за оперированными, но в обход — параллельным, 48-м проспектом…

Я спотыкался о тугие, свитые из ветра канаты и бежал к ней. Зачем? Не знаю. Я спотыкался, пустые улицы, чужой, дикий город, неумолчный, торжествующий птичий гам, светопреставление. Сквозь стекло стен — в нескольких домах я видел (врезалось): женские и мужские нумера бесстыдно совокуплялись — даже не спустивши штор, без всяких талонов, среди бела дня…

Дом — ее дом. Открытая настежь, растерянная дверь. Внизу, за контрольным столиком — пусто.

Лифт застрял посередине шахты. Задыхаясь, я побежал наверх по бесконечной лестнице. Коридор. Быстро — как колесные спицы — цифры на дверях: 320, 326, 330… I-330, да!

И сквозь стеклянную дверь: все в комнате рассыпано, перепутано, скомкано. Впопыхах опрокинутый стул — ничком всеми четырьмя ногами вверх — как издохшая скотина. Кровать — как-то нелепо, наискось отодвинутая от стены. На полу — осыпавшиеся, затоптанные лепестки розовых талонов.

Я нагнулся, поднял один, другой, третий: на всех было Д-503 — на всех был я — капли меня, расплавленного, переплеснувшего через край. И это все, что осталось…

Почему-то нельзя было, чтобы они так вот, на полу, и чтобы по ним ходили. Я захватил еще горсть, положил на стол, разгладил осторожно, взглянул — и… засмеялся.

Раньше я этого не знал — теперь знаю, и вы это знаете: смех бывает разного цвета. Это — только далекое эхо взрыва внутри вас: может быть — это праздничные, красные, синие, золотые ракеты, может быть — взлетели вверх клочья человеческого тела…

На талонах мелькнуло совершенно незнакомое

мне имя. Цифр я не запомнил — только букву: Ф. Я смахнул все талоны со стола на пол, наступил на них — на себя — каблуком — вот так, так — и вышел…

Сидел в коридоре на подоконнике против двери — все чего-то ждал, тупо, долго. Слева зашлепали шаги. Старик: лицо — как проколотый, пустой, осевший складками пузырь — и из прокола еще сочится что-то прозрачное, медленно стекает вниз. Медленно, смутно понял: слезы. И только когда старик был уже далеко — я спохватился и окликнул его:

— Послушайте — послушайте, вы не знаете: нумер I-330…

Старик обернулся, отчаянно махнул рукой и заковылял дальше…

В сумерках я вернулся к себе, домой. На западе небо каждую секунду стискивалось бледно-синей судорогой — и оттуда глухой, закутанный гул. Крыши усыпаны черными потухшими головешками: птицы.

И лег на кровать — и тотчас же зверем навалился, придушил меня сон…

Запись 38-я.

Конспект:

(НЕ ЗНАЮ, КАКОЙ. МОЖЕТ БЫТЬ, ВЕСЬ КОНСПЕКТ – ОДНО: БРОШЕННАЯ ПАПИРОСА)

Очнулся — яркий свет, глядеть больно. Зажмурил глаза. В голове — какой-то едучий синий дымок, все в тумане. И сквозь туман:

«Но ведь я не зажигал свет – как же…»

Я вскочил — за столом, подперев рукою подбородок, с усмешкой глядела на меня I…

За тем же самым столом я пишу сейчас. Уже позади эти десять — пятнадцать минут, жестоко скрученных в самую тугую пружину. А мне кажется, что вот только сейчас закрылась за ней дверь и еще можно догнать ее, схватить за руки — и, может быть, она засмеется и скажет…

I сидела за столом. Я кинулся к ней.

— Ты, ты! Я был — я видел твою комнату — я думал, ты — —

Но на полдороге наткнулся на острые, неподвижные копья ресниц, остановился. Вспомнил: так же она взглянула на меня тогда, на «Интеграле». И вот надо сейчас же все, в одну секунду, суметь сказать ей — так, чтобы поверила, — ина-

че уж никогда…

— Слушай, I, — я должен… я должен тебе все… Нет, нет, я сейчас — я только выпью воды…

Во рту — сухо, все как обложено промокательной бумагой. Я наливал воду — и не мог: поставил стакан на стол и крепко взялся за графин обеими руками.

Теперь я увидел: синий дымок — это от папиросы. Она поднесла к губам, втянула, жадно проглотила дым — так же, как я воду, и сказала:

— Не надо. Молчи. Все равно — ты видишь: я все-таки пришла. Там, внизу, — меня ждут. И ты хочешь, чтобы эти наши последние минуты…

Она швырнула папиросу на пол, вся перевесилась через ручку кресла назад (там в стене кнопка, и ее трудно достать) — и мне запомнилось, как покачнулось кресло и поднялись от пола две его ножки. Потом упали шторы.

Подошла, обхватила крепко. Ее колени сквозь платье — медленный, нежный, теплый, обволакивающий все яд…

И вдруг… Бывает: уж весь окунулся в сладкий и теплый сон — вдруг что-то прокололо, вздрагиваешь, и опять глаза широко раскрыты… Так сейчас: на полу в ее комнате затоптанные розовые талоны, и на одном: буква Ф и какие-то

цифры… Во мне они — сцепились в один клубок, и я даже сейчас не могу сказать, что это было за чувство, но я стиснул ее так, что она от боли вскрикнула…

Еще одна минута — из этих десяти или пятнадцати, на ярко-белой подушке — закинутая назад с полузакрытыми глазами голова; острая, сладкая полоска зубов. И это все время неотвязно, нелепо, мучительно напоминает мне о чем-то, о чем нельзя, о чем сейчас — не надо. И я все нежнее, все жесточе сжимаю ее — все ярче синие пятна от моих пальцев…

Она сказала (не открывая глаз — это я заметил):

— Говорят, ты вчера был у Благодетеля? Это правда?

— Да, правда.

И тогда глаза распахнулись — и я с наслаждением смотрел, как быстро бледнело, стиралось, исчезало ее лицо: одни глаза.

Я рассказал ей все. И только — не знаю почему… нет, неправда, знаю — только об одном промолчал — о том, что Он говорил в самом конце, о том, что я им был нужен только…

Постепенно, как фотографический снимок в проявителе, выступило ее лицо: щеки, белая по-

лоска зубов, губы. Встала, подошла к зеркальной двери шкафа.

Опять сухо во рту. Я налил себе воды, но пить было противно — поставил стакан на стол и спросил:

— Ты за этим и приходила — потому что тебе нужно было узнать?

Из зеркала на меня — острый, насмешливый треугольник бровей, приподнятых вверх, к вискам. Она обернулась, что-то сказать мне, но ничего не сказала.

Не нужно. Я знаю.

Проститься с ней? Я двинул свои — чужие — ноги, задел стул, — он упал ничком, мертвый, как там — у нее в комнате. Губы у нее были холодные — когда-то такой же холодный был пол вот здесь, в моей комнате возле кровати.

А когда ушла — я сел на пол, нагнулся над брошенной ее папиросой — —

Я не могу больше писать — я не хочу больше!

Запись 39-я.
Конспект:

КОНЕЦ

Все это было как последняя крупинка соли, брошенная в насыщенный раствор: быстро, ко-

лючась, иглами, поползли кристаллы, отвердели, застыли. И мне было ясно: все решено — и завтра утром я *сделаю это*. Было это то же самое, что убить себя — но, может быть, только тогда я и воскресну. Потому что ведь только убитое и может воскреснуть.

На западе ежесекундно в синей судороге содрогалось небо. Голова у меня горела и стучала. Так я просидел всю ночь и заснул только часов в семь утра, когда тьма уже втянулась, зазеленела и стали видны усеянные птицами кровли…

Проснулся: уже десять (звонка сегодня, очевидно, не было).

На столе — еще со вчерашнего — стоял стакан с водой. Я жадно выглотал воду и побежал: мне надо было все это скорее, как можно скорее.

Небо — пустынное, голубое, дотла выеденное бурей. Колючие углы теней, все вырезано из синего осеннего воздуха — тонкое — страшно притронуться, сейчас же хрупнет, разлетится стеклянной пылью. И такое — во мне: нельзя думать, не надо думать, не надо думать, иначе —

И я не думал, даже, может быть, не видел по-настоящему, а только регистрировал. Вот на мостовой — откуда-то ветки, листья на них зеленые, янтарные, малиновые. Вот наверху

— перекрещиваясь, мечутся птицы и аэро. Вот — головы, раскрытые рты, руки машут ветками. Должно быть, все это орет, каркает, жужжит…

Потом — пустые, как выметенные какой-то чумой, улицы. Помню: споткнулся обо что-то нестерпимо мягкое, податливое и все-таки неподвижное. Нагнулся: труп. Он лежал на спине, раздвинув согнутые ноги, как женщина. Лицо…

Я узнал толстые, негрские и как будто даже сейчас еще брызжущие смехом, зубы. Крепко зажмурившись глаза, он смеялся мне в лицо. Секунда — я перешагнул через него и побежал — потому что я уже не мог, мне надо было сделать все скорее, иначе — я чувствовал — сломаюсь, прогнусь, как перегруженный рельс…

К счастью — это было уже в двадцати шагах, уже вывеска — золотые буквы «Бюро Хранителей». На пороге я остановился, хлебнул воздуху, сколько мог, — и вошел.

Внутри, в коридоре — бесконечной цепью, в затылок, стояли нумера, с листками, с толстыми тетрадками в руках. Медленно подвигались на шаг, на два — и опять останавливались.

Я заметался вдоль цепи, голова расскакивалась, я хватал их за рукава, я молил их — как больной молит дать ему скорее чего-нибудь такого, что

секундной острейшей мукой сразу перерубило бы все.

Какая-то женщина, туго перетянутая поясом поверх юнифы, отчетливо выпячены два седалищных полушара, и она все время поводила ими по сторонам, как будто именно там у нее были глаза. Она фыркнула на меня:

— У него живот болит! Проводите его в уборную — вон, вторая дверь направо…

И на меня — смех: и от этого смеха что-то к горлу, и я сейчас закричу или… или…

Вдруг сзади кто-то схватил меня за локоть. Я обернулся: прозрачные, крылатые уши. Но они были не розовые, как обыкновенно, а пунцовые: кадык на шее ерзал — вот-вот прорвет тонкий чехол.

— Зачем вы здесь? — спросил он, быстро ввинчиваясь в меня.

Я так и вцепился в него:

— Скорее — к вам в кабинет… Я должен все — сейчас же! Это хорошо, что именно вам… Это, может быть, ужасно, что именно вам, но это хорошо, это хорошо…

Он тоже знал *ее*, и от этого мне было еще мучительней, но, может быть, он тоже вздрогнет, когда услышит, и мы будем убивать уже вдвоем,

я не буду один в эту последнюю мою секунду…

Захлопнулась дверь. Помню: внизу под дверью прицепилась какая-то бумажка и заскребла по полу, когда дверь закрывалась, а потом, как колпаком, накрыло какой-то особенной, безвоздушной тишиной. Если бы он сказал хоть одно слово — все равно какое — самое пустяковое слово, я бы все сдвинул сразу. Но он молчал.

И весь напрягшись до того, что загудело в ушах, — я сказал (не глядя):

— Мне кажется — я всегда ее ненавидел, с самого начала. Я боролся… А впрочем — нет, нет, не верьте мне: я мог и не хотел спастись, я хотел погибнуть, это было мне дороже всего… то есть не погибнуть, а чтобы она… И даже сейчас — даже сейчас, когда я уже все знаю… Вы знаете, вы знаете, что меня вызывал Благодетель?

— Да, знаю.

— Но то, что Он сказал мне… Поймите же — это вот все равно, как если сейчас выдернуть из-под вас пол — и вы со всем, что вот тут на столе — с бумагой, чернилами… чернила выплеснутся и все в кляксу…

— Дальше, дальше! И торопитесь. Там ждут другие.

И тогда я — захлебываясь, путаясь — все, что

было, все, что записано здесь. О себе настоящем и о себе лохматом, и то, что она сказала тогда о моих руках — да, именно с этого все и началось, — и как я тогда не хотел исполнить свой долг, и как обманывал себя, и как она достала подложные удостоверения, и как я ржавел день ото дня, и коридоры внизу, и как там — за Стеною…

Все это — несуразными комьями, клочьями — я захлебывался, слов не хватало. Кривые двояковогнутые губы с усмешкой пододвигали ко мне нужные слова — я благодарно кивал: да, да… И вот (что же это?) — вот уже говорит за меня он, а я только слушаю: «Да, а потом… Так именно и было, да, да!»

Я чувствую: как от эфира — начинает холодеть вот тут, вокруг ворота, и с трудом спрашиваю:

— Но как же — но этого вы ниоткуда не могли…

У него усмешка — молча — все кривее… И затем:

— А знаете — вы хотели кой-что от меня утаить, вот вы перечислили всех, кого заметили там за Стеной, но одного забыли. Вы говорите — нет? А не помните ли вы, что там мельком, на секунду — вы видели там… меня? Да, да: меня.

Пауза.

И вдруг — мне молнийно, до головы, бесстыдно ясно: он — он тоже их… И весь я, все мои муки, все то, что я, изнемогая, из последних сил, принес сюда, как подвиг, — все это только смешно, как древний анекдот об Аврааме и Исааке. Авраам — весь в холодном поту — уже замахнулся ножом над своим сыном — над собою — вдруг сверху голос: «Не стоит! Я пошутил…»

Не отрывая глаз от кривеющей все больше усмешки, я уперся руками о край стола, медленно, медленно вместе с креслом отъехал, потом сразу — себя всего — схватил в охапку — и мимо криков, ступеней, ртов — опрометью.

Не помню, как я очутился внизу, в одной из общественных уборных при станции подземной дороги. Там, наверху, все гибло, рушилась величайшая и разумнейшая во всей истории цивилизация, а здесь — по чьей-то иронии — все оставалось прежним, прекрасным. И подумать: все это — осуждено, все это зарастет травой, обо всем этом — будут только «мифы»…

Я громко застонал. И в тот же момент чувствую — кто-то ласково поглаживает меня по плечу.

Это был мой сосед, занимавший сиденье слева. Лоб — огромная лысая парабола, на лбу желтые неразборчивые строки морщин. И эти строки

обо мне.

— Я вас понимаю, вполне понимаю, — сказал он. — Но все-таки успокойтесь: не надо. Все это вернется, неминуемо вернется. Важно только, чтобы все узнали о моем открытии. Я говорю об этом вам первому: я вычислил, что бесконечности нет!

Я дико посмотрел на него.

— Да, да, говорю вам: бесконечности нет. Если мир бесконечен — то средняя плотность материи в нем должна быть равна нулю. А так как она не нуль — это мы знаем — то, следовательно, Вселенная — конечна, она — сферической формы, и квадрат вселенского радиуса, y^2 = средней плотности, умноженной на… Вот мне только и надо — подсчитать числовой коэффициент, и тогда… Вы понимаете: все — конечно, все просто, все — вычислимо; и тогда мы победим философски, — понимаете? А вы, уважаемый, мешаете мне закончить вычисление, вы — кричите…



Не знаю, чем я больше был потрясен — его открытием или его твердостью в этот апокалиптический час: в руках у него (я увидел это только теперь) была записная книжка и логарифмический циферблат. И я понял: если даже все погибнет, мой долг (перед вами, мои неведомые, любимые) — оставить свои записки в законченном виде.

Я попросил у него бумаги — и здесь я записал эти последние строки…

Я хотел уже поставить точку — так, как древние ставили крест над ямами, куда они сваливали мертвых, но вдруг карандаш затрясся и выпал у меня из пальцев…

— Слушайте, — дергал я соседа. — Да слушайте же, говорю вам! Вы должны — вы должны мне ответить: а там, где кончается ваша конечная Вселенная? Что там — дальше?

Ответить он не успел; сверху — по ступеням — топот — —

Запись 40-я.
Конспект:

ФАКТЫ. КОЛОКОЛ. Я УВЕРЕН

День. Ясно. Барометр 760.

Неужели я, Д-503, написал эти двести двадцать

страниц? Неужели я когда-нибудь чувствовал — или воображал, что чувствую это?

Почерк — мой. И дальше — тот же самый почерк, но — к счастью, только почерк. Никакого бреда, никаких нелепых метафор, никаких чувств: только факты. Потому что я здоров, я совершенно, абсолютно здоров. Я улыбаюсь — я не могу не улыбаться: из головы вытащили какую-то занозу, в голове легко, пусто. Точнее: не пусто, но нет ничего постороннего, мешающего улыбаться (улыбка — есть нормальное состояние нормального человека).

Факты — таковы. В тот вечер моего соседа, открывшего конечность Вселенной, и меня, и всех, кто был с нами, — взяли как не имеющих удостоверения об Операции — и отвезли в ближайший аудиториум (нумер аудиториума — почему-то знакомый: 112). Здесь мы были привязаны к столам и подвергнуты Великой Операции.

На другой день я, Д-503, явился к Благодетелю и рассказал ему все, что мне было известно о врагах счастья. Почему раньше это могло мне казаться трудным? Непонятно. Единственное объяснение: прежняя моя болезнь (душа).

Вечером в тот же день — за одним столом с Ним, с Благодетелем, — я сидел (впервые) в зна-

менитой Газовой комнате. Привели ту женщину. В моем присутствии она должна была дать свои показания. Эта женщина упорно молчала и улыбалась. Я заметил, что у ней острые и очень белые зубы и что это красиво.

Затем ее ввели под Колокол. У нее стало очень белое лицо, а так как глаза у нее темные и большие — то это было очень красиво. Когда из-под Колокола стали выкачивать воздух — она откинула голову, полузакрыла глаза, губы стиснуты — это напомнило мне что-то. Она смотрела на меня, крепко вцепившись в ручки кресла, — смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащили, с помощью электродов быстро привели в себя и снова посадили под Колокол. Так повторялось три раза — и она все-таки не сказала ни слова. Другие, приведенные вместе с этой женщиной, оказались честнее: многие из них стали говорить с первого же раза. Завтра они все взойдут по ступеням Машины Благодетеля.

Откладывать нельзя — потому что в западных кварталах — все еще хаос, рев, трупы, звери и — к сожалению — значительное количество нумеров, изменивших разуму.

Но на поперечном, 40-м проспекте, удалось сконструировать временную стену из высоко-

вольтных волн. И я надеюсь — мы победим. Больше: я уверен — мы победим. Потому что разум должен победить.

‹1921›

Уездное
Повесть



1. Четырехугольный



Отец бесперечь пилит: «Учись да учись, а то будешь, как я, сапоги тачать».

А как тут учиться, когда в журнале записан

первым, и, стало быть, как только урок, сейчас же и тянут:

— Барыба Анфим. Пожалуйте-с.

И стоит Анфим Барыба, потеет, нахлобучивает и без того низкий лоб на самые брови.

— Опять ни бельмеса? А-а-ах, а ведь малый-то ты на возрасте, замуж пора. Садись, брат.

Садился Барыба. И сидел основательно — года по два в классе. Так испрохвала, не торопясь, добрался Барыба и до последнего.

Было ему о ту пору годов пятнадцать, а то и побольше. Высыпали уж, как хорошая озимь, усы, и бегал с другими ребятами на Стрелецкий пруд — глядеть, как бабы купаются. А ночью после — хоть и спать не ложись: такие полезут жаркие сны, такой хоровод заведут, что…

Встанет Барыба наутро смурый и весь день колобродит. Зальется до ночи в монастырский лес. Училище? А, да пропадай оно пропадом!

Вечером отец возьмется его бузовать: «Опять сбежал, неслух, заворотень?» А он хоть бы что, совсем оголтелый: зубы стиснет, не пикнет. Только еще колючей повыступят все углы чудного его лица.

Уж и правда: углы. Не зря прозвали его утюгом ребята-уездники. Тяжкие железные челюсти,

широченный, четырехугольный рот и узенький лоб: как есть утюг, носиком кверху. Да и весь-то Барыба какой-то широкий, громоздкий, громыхающий, весь из жестких прямых и углов. Но так одно к одному пригнано, что из нескладных кусков как будто и лад какой-то выходит: может, и дикий, может, и страшный, а все же лад.

Ребята побаивались Барыбы: зверюга, под тяжелую руку в землю вобьет. Дразнили из-за угла, за версту. Зато, когда голоден бывал Барыба, кормили его булками и тут уж потешались всласть.

— Эй, Барыба, за полбулки разгрызи.

И суют ему камушки, выбирают, какие потверже.

— Мало, — угрюмо бурчит Барыба, — булку.

— Вот черт, едун! — но найдут и булку. И начнет Барыба на потеху ребятам грызть камушки, размалывать их железными своими давилками — знай подкладывай! Потеха ребятам, диковина.

Забавы забавами, а как экзамены настали, пришлось и забавникам за книги засесть, даром что зеленый май на дворе.

Восемнадцатого, на царицу Александру, по закону экзамен — первый из выпускных. Вот, вечером как-то, отец отложил в сторону дратву и сапог, очки снял да и говорит:

— Ты это помни, Анфимка, заруби на носу. Коли и теперь не выдержишь — со двора сгоню.

Как будто чего уж лучше: три дня подготовки. Да на грех завязалась у ребят орлянка — ох и завлекательная же игра! Два дня не везло Анфимке, весь свой капитал проиграл: семь гривен и новый пояс с пряжкой. Хоть топись. Да на третий день, слава те Господи, все вернул и чистых еще выиграл больше полтинника.

Восемнадцатого, понятно, Барыбу вызвали первым. Ни гугу уездники, ждут: ну, сейчас поплывет, бедняга.

Вытянул Барыба — и уставился в белый листок билета. От белизны этой и от страха слегка затошнило. Ухнули куда-то все слова: ни одного.

На первых партах подсказчики нашептали:

— Тигр и Ефрат… Сад, в котором жили… Месопотамия. Месо-по-та… Черт глухой!

Барыба заговорил — одно за другим стал откалывать, как камни, слова — тяжкие, редкие.

— Адам и Ева. Между Тигром и… этим… Ефратом. Рай был огромный сад. В котором водились месопотамы. И другие животные…

Поп кивнул, как будто очень ласково. Барыба приободрился.

— Это кто же-с месопотамы-то? А, Анфим? Объ-

ясни-ка нам, Анфимушка.

— Месопотамы… Это такие. Допотопные звери. Очень хищные. И вот в раю они. Жили рядом…

Поп хрюкал от смеха и прикрывался отогнутой кверху бородой, ребята полегли на парты.

Домой Барыба не пошел. Уж знал — отец человек правильный, слов не пускает на ветер. Что сказано, то и сделает. Разве к тому же еще и ремнем хорошенько взбучит.

2. С собаками

Жили-были Балкашины, купцы почтенные, на заводе своем солод варили-варили, да в холерный год все как-то вдруг и примерли. Сказывают, далеко гдей-то в большом городе живут наследники ихние, да вот все не едут. Так и горюет-пустует выморочный дом. Похилилась деревянная башня, накрест досками заколотили окна, засел бурьян во дворе. Через забор швыряют на балкашинский двор слепых щенят да котят, под забором с улицы лазят за добычей бродячие собаки.

Тут вот и поселился Барыба. Облюбовал старую коровью закуту, благо двери не заперты и стоят в закуте ясли, из досок сколочены: чем не кровать? Благодать Барыбе теперь: учиться не надо, делай,

что тебе в голову взбредет, купайся, пока зубами не заляскаешь, за шарманщиком хоть целый день по посаду броди, в монастырском лесу — днюй и ночуй.

Все бы хорошо, да есть скоро нечего стало. Рублишка какого-нибудь там надолго ли хватит?

Стал Барыба за поживой ходить на базар. С нескладной звериной ловкостью, длиннорукий, спрятавшись внутрь себя и выглядывая исподлобья, шнырял он между поднятых кверху белых оглобель, жующих овес лошадей, без устали молотящих языком баб: чуть которая-нибудь зазевалась матрена — ну, и готово, добыл себе Барыба обед.

Не вывезет на базаре — побежит Барыба в Стрелецкую слободу. Где пешком, где ползком — рыщет по задам, загуменникам, огородам. Уедливый запах полыни щекочет ноздри, а чихнуть — боже избави: хозяюшка вон она — вон, грядку полет, и ныряет в зелени красный платок. Наберет Барыба картошки, моркови, испечет дома — на балкашинском дворе, ест, обжигаясь, без соли — вот вроде как будто и сыт. Не до жиру, конечно: быть бы живу.

Не задастся, не повезет иной день — сидит Барыба голодный и волчьими, завистливыми

глазами глядит на собак: хрустят костью, весело играют костью. Глядит Барыба…

Дни, недели, месяцы. Ох, и осточертело же с собаками голодными жить на балкашинском дворе! Зачиврел, зачерствел Барыба, оброс, почернел; от худобы еще жестче углами выперли челюсти и скулы, еще тяжелей, четырехугольней стало лицо.

Убежать бы от собачьей жизни. Людей бы, по-людски бы чего-нибудь: чаю бы горяченького попить, под одеялом поспать.

Бывали дни — целый день Барыба лежал в закуте своей, ничком на соломе. Бывали дни — целый день Барыба метался по двору балкашинскому, искал людей, людского чего-нибудь.

На соседнем, чеботаревском, дворе — с утра народ: кожемяки в кожаных фартуках, возчики с подводами кож. Увидят — чей-то глаз вертится в заборной дыре, ширнут кнутовищем:

— Эй, кто там?

— Ай хозяин-дворовой остался на балкашинском дворе?

Барыба — прыжками волчиными — в закуту к себе, в солому, и лежит. Ух попадись ему возчики эти самые: уж он бы им — уж он бы их…

С полудня на чеботаревском дворе — ножами

на кухне стучат, убоиной жареной пахнет. Инда весь затрясется Барыба у щелки у своей у заборной и не отлипнет потуда, покуда обедать там не кончат.

Кончат обедать — как будто и ему полегче станет. Кончат, и выползает на двор Чеботариха сама: красная, наседалась, от перекорма ходить не может.

— У-ух… — железом по железу — заскрипит зубами Барыба.

По праздникам над балкашинским двором, наверху переулочка, звонила Покровская церковь — и от звона было еще лютее Барыбе. Звонит и звонит, в уши гудит, перезванивает…

«Да ведь вот же куда — в монастырь, к Евсею!» — осенило звоном Барыбу.

Малым мальчишкой еще, после порки бегивал Барыба к Евсею. И всегда, бывало, чаем напоит Евсей, с кренделями с монастырскими. Поит — а сам приговаривает, так что-нибудь, абы бы утешить:

— Эх, малый! Меня намедни игумен за святые власы схватил, я и то… Эх, мал… А ты ревешь?

Веселый прибежал в монастырь Барыба: ушел теперь от собак балкашинских.

— Отец Евсей дома?

Послушник прикрыл рот рукой, загоготал:

— Во-она! Его и с гончими не разыщешь: запил, всю неделю в Стрельцах крутит отец Евсей.

Нету Евсея. Конец, больше некуда. Опять на балкашинский двор…

3. Цыплята

После всенощной либо после обедни догонит Чеботариху батюшка Покровский, головой покачает и скажет:

— Неподобно это, мать моя. Ходить нужно, проминаж делать. А то, гляди-ка, плоть совсем одолеет.

А Чеботариха на линейке своей расползется, как тесто, и, губы поджавши, скажет:

— Никак ни можно, батюшка, бизпридстанно биение сердца.

И катит Чеботариха дальше по пыли, облепляя линейку — одно целое с ней, грузное, плывущее, рессорное. Так, на своих ногах, без колес, — никто Чеботариху на улице и не видел. Уж чего ближе — до бани ихней чеботаревской (завод кожевенный и баню торговую муж ей оставил), так и то на линейке ездила, по пятницам — в бабий день.

И потому линейка эта самая, и мерин половопегий, и кучер Урванка — у Чеботарихи в большом

почете. А уж особо Урванка: кучерявый, силища, черт, и черный весь — цыган он был, что ли. Закопченный какой-то, приземистый, жилистый, весь как узел из хорошей веревки. Поговаривали, что он, мол, у Чеботарихи не только что в кучерах. Да из-под полы говорили, громко-то боялись: попадись-ка к нему, к Урванке, — взлупцует, брат, так, что… Человека до полусмерти избить — Урванке первое удовольствие: потому — самого очень бивали, в конокрадах был.

А вот была-таки и любовь у Урванки: лошадей он любил и кур. Лошадей скребет-скребет, бывало, гриву своим медным гребнем чешет, а то разговаривать с ними возьмется на каковском-то языке. Может, и правда — нехристь был?

А кур любил Урванка за то, что весною были они цыплятами — желтыми, кругленькими, мягкими. Гоняется, бывало, за ними по всему по двору: ути-ути-ути! Под водовозку залезет, под крыльцо заползет на карачках — а уж изловит, на руки посадит и — первое его удовольствие — духом цыпленка греть. И так, чтобы рожи его о ту пору никто не видал. Бог его знает, какая она бывала. Так, не поглядевши, и не представить: Урванка этот самый — и цыпленок. Чудно!

Вышло так на горе Барыбино, что и он цыплят

урванкиных полюбил: вкусны очень, повадился их таскать. Другого, третьего нет — заприметил Урванка. А куда запропастились цыплята — и ума не приложит. Хорек разве завелся?

После полдён лежит как-то Урванка под сараем в телеге. Жарынь, в дрему клонит. Цыплята — и то под сарай запрятались, в тень у стеночки присели, глаза отонком закрыли, носом клюют.

И не видят, бедняги, что доска сзади оторвана, и тянется через дыру, тянется к ним рука. Цоп — и заверещал, затекал цыпленок в барыбином кулаке.

Вскочил, заорал Урванка. Мигом перемахнул через забор.

— Держи, держи его, держи вора!

Дикий звериный бег. Добежал, запятился Барыба в свои ясли, залез под солому, но Урванка нашел и там. Вытащил, поставил на ноги.

— Ну, погоди же ты у меня! Я тебе — за цыплят за моих…

И поволок за шиворот — к Чеботарихе: пусть уж она казнь вору придумает.

4. Смилостивился

Кухарку — Анисью толстомордую прогнала Чеботариха. За что? А за то самое, чтобы к Урванке

не подкатывалась. Прогнала, а теперь вот хоть разорвись. Нету по всему посаду кухарок. Пришлось взять Польку — так, девчонку ледащую.

И вот в Покровской церкви к вечерне вызванивали, Полька эта самая в зальце пол мела, посыпав спитым чаем, как Чеботариха учила. А Чеботариха сама тут же сидела на крытом кретоном диване и помирала от скуки, глядя в стеклянную мухоловку: в мухоловке — квас, а в квасу утопились со скуки мухи. Чеботариха зевала, крестила рот. «Ох, Господи-батюшка, помилуй…»

И смилостивился: какой-то топот и гвалт в сенях — и Урванка впихнул Барыбу. Так оторопел Барыба — увидел Чеботариху самое, — что и вырываться перестал, только глаза, как мыши, метались по всем углам.

Про цыпляточек Чеботариха услыхала — раскипелась, слюнями забрызгала.

— На цыпляточек, на андельчиков Божиих, руку поднял? Ах, злодей, ах, негодник! Полюшка, веник неси. Неси, неси, и знать ничего не хочу!

Урванка зубы оскалил, саданул сзади коленкой — и мигом на полу Барыба. Закусался было, змеем завился — да куда уж ему против Урванки-черта: разложил, оседлал, штаны дырявые мигом содрал

с Барыбы и ждал только слова Чеботарихина — расправу начать.

А Чеботариха — от смеху слова-то и не могла сказать, такая смехота напала. Насилу уж раскрыла глаза: чтой-то они там на полу затихли?

Раскрыла — и оступился смех, ближе нагнулась к напруженному, зверино-крепкому телу Барыбы.

— Уйди-кось, Урван. Слезь, говорю, слезь! Дай поспрошать его толком… — на Урванку Чеботариха не глядела, отвела глаза в угол.

Медленно слез Урванка, на пороге — обернулся, со всех сил хлопнул дверью.

Барыба вскочил, метнулся скорей за штанами: батюшки, от штанов-то одни лохмоты! Ну, бежать без оглядки…

Но Чеботариха крепко держала за руку:

— Вы чьих же это, мальчик, будете?

Еще оттопыривала нижнюю губу, вместо «мальчик» сказала «мыльчик», еще напускала важность, но уж что-то другое учуял Барыба.

— Са-сапожников я… — и сразу вспомнил всю свою жизнь, заскулил, завыл. — За экза-амен меня отец прогнал, я жи-ил… на бал… На балкаши-и…

Всплеснула Чеботариха руками, запела слад-

ко-жалобно:

— Ах, сиротинушка ты моя, ах, бессчастная! Из дому — сына родного, а? Тоже отец называется…

Пела — и за руку волокла куда-то Барыбу, и тоскливо-покорно Барыба шел.

— … И добру-то поучить тебя некому. А враг-то — вот он: украдь да украдь цыпленочка — верно?

Спальня. Огромная, с горою перин, кровать. Лампадка. Поблескивают ризы у икон.

На какой-то коврик пихнула Барыбу:

— На коленки, на коленки-то стань. Помолись, Анфимушка, помолись. Господь милосливый, он простит. И я прощу…

И сама где-то осела сзади, яростно зашептала молитву. Обалдел, не шевелясь, стоял на коленях Барыба. «Встать бы, уйти. Встать…»

— Да ты что ж это, а? Как тебя креститься-то учили? — схватила Чеботариха барыбину руку. — Ну, вот так вот: на лоб, на живот… — облепила сзади, дышала в шею.

Вдруг, неожиданно для себя, обернулся Барыба и, стиснув челюсти, запустил глубоко руки в мягкое что-то, как тесто.

— Ах ты етакой, а? Да ты что ж это, вон что, а? Ну, так уж и быть, для тебя согрешу, для си-

ротинки.

Потонул Барыба в сладком и жарком тесте.

На ночь Полька ему постелила войлок на рундуке в передней. Помотал головой Барыба: ну и чудеса на свете. Уснул сытый, довольный.

5. Жисть

Да, тут уж не то, что на балкашинском дворе, жизнь. На всем на готовеньком, в спокое, на мягких перинах, в жарко натопленных старновкою комнатах. Весь день бродил в сладком бездельи. В сумерках прикорнуть на лежаночке рядом с мурлыкающим во все тяжкие Васькой. Есть до отвалу. Эх, жисть!

Есть до того, что в жар бросит, до поту. Есть с утра до вечера, живот в еде класть. Так уж у Чеботарихи заведено.

Утром — чай, с молоком топленым, с пышками ржаными на юраге. Чеботариха в ночной кофте белой (не очень уж, впрочем), голова косынкой покрыта.

— И что это в косынке вы все? — скажет Барыба.

— То-то тебя учили-то. Да нешто можно женщине простоволосой ходить? Чай, я не девка, ведь грех. Чай, венцом покрытая с мужем жила.

Это непокрытые которые живут, непутевые…

А то другой какой разговор заведут пользительный для еды: о снах, о соннике, о Мартыне Задеке, о приметах да о присухах разных.

Туда-сюда — ан, глядь, уже двенадцатый час. Полудновать пора. Студень, щи, сомовина, а то сазан соленый, кишки жареные с гречневой кашей, требуха с хреном, моченые арбузы да яблоки, да и мало ли там еще что.

В полдень — ни спать, ни купаться на реке нельзя: бес-то полуденный вот он — как раз и прихватит. А спать, конечно, хочется, нечистый блазнит, зевоту нагоняет.

Со скуки зеленой пойдет Барыба на кухню к Польке: дура-дура, а все жив человек. Разыщет там кота, любимца полькина, и давай его в сапог сажать. Визг, содом на кухне. Полька, как угорелая, мыкается кругом.

— Анфим Егорыч, Анфим Егорыч, да отпустите вы Васеньку, Христа ради!

Скалит зубы Анфимка, пихает кота еще глубже. И Полька умоляет уж Васеньку:

— Васенька, ну, не плачь, ну, потерпи, ребеночек, потерпи! Сейчас, сейчас отпустит.

Истошным голосом кричит кот. У Польки — глаза круглые, косенка наперед, перевалилась,

тянет за рукав Барыбу слабой своей рукой.

— Уйд-ди, а то самое сапогом так вот и шкрыкну!

Запустит в угол Барыба сапог вместе с котом и доволен, грохочет — громыхает по ухабам телегой.

Ужинали рано, в девятом часу. Принесет Полька еду — и отсылает ее Чеботариха спать, чтобы глаз не мозолила. Потом вынимает из горки графинчик.

— Выкушайте, Анфимушка, выкушайте еще рюмочку.

Молча пьют. Тоненько пищит и коптит лампа. Долго никто не видит.

«Коптит. Сказать бы?» — думает Барыба.

Но не повернуть тонущие мысли, не выговорить. Чеботариха подливает ему и себе. Под тухнущим светом лампы — в одно тусклое пятно стирается у ней все лицо. И виден, и кричит только один жадный рот — красная мокрая дыра. Все лицо — один рот. И все ближе к Барыбе запах ее потного, липкого тела.

Долго, медленно умирает в тоске лампа. Черный снег копоти летает в столовой. Смрад.

А в спальне — лампадка, мельканье фольговых риз. Раскрыта кровать, и на коврике возле бьет

Чеботариха поклоны.

И знает Барыба: чем больше поклонов, чем ярее замаливает она грехи, тем дольше будет мучить его ночью.

«Забиться бы куда-нибудь, залезть в какую-нибудь щель тараканом…»

Но некуда: двери замкнуты, окно запечатано тьмой.

* * *

Нелегкая, что и говорить, у Барыбы служба. Да зато уж Чеботариха в нем все больше, день ото дня, души не чает. Такую он силу забрал, что только у Чеботарихи теперь и думы, чем бы это еще такое Анфимушку ублажить.

— Анфимушка, еще тарелочку скушай…

— Ох, и чтой-то стыдь на дворе ноне! Анфимушка, дай-ка я тебе шарфик подвяжу, а?

— Анфимушка, ай опять живот болит? Вот грехи-то! На-кося, вот водка с горчицей да с солью, выпей — первое средствие.

Сапоги-бутылки, часы серебряные на шейной цепочке, калоши новые резиновые — и ходит Барыба рындиком этаким по чеботаревскому

двору, распорядки наводит.

— Эй, ты, гамай, гужеед, где кожи вывалил? Тебе куда велено?

Глядишь — и оштрафовал на семитку, и мнет уж мужик дырявую свою шапчонку, и кланяется.

Одного только на версту и обходит Барыба — Урванку. А то ведь и на Чеботариху самое взъестся подчас. Терпит, терпит, а иной раз такая посчастливится ночь… Наутро мутное все, сбежал бы на край света. Запрется Барыба в зальце и мыкается, и мыкается, как в клетке.

Осядет Чеботариха, притихнет. Зовет Польку.

— Полюшка, поди — погляди, как он там? А то обедать зови.

Бежит, хихикая, Полька обратно:

— Нейдеть. Зёл, зёл, и-и, так поперек полу и ходить!

И ждет Чеботариха с обедом час, два.

А уж если с обедом ждет, уж если час святой обеденный нарушает — уж это значит…

6. В чуриловском трактире

Раздобрел Барыба на приказчицком положении да на хороших хлебах.

Встретил его на Дворянской почтальон Чернобыльников, старый знакомец, — так прямо

руками развел:

— И не узнать. Ишь купцом каким!

Завидовал Барыбе Чернобыльников: хорошо парню живется. Уж как-никак, а должен, видно, Барыба спрыснуть, угостить друзей в трактире: что ему, богатею, стоит.

Уговорил, улестил малого.

К семи часам, как уговор был, пришел Барыба в чуриловский трактир. Ну, и место же веселое, о Господи! Шум, гам, огни. Половые белые шмыгают, голоса пьяные мелькают спицами в колесе.

Голова кругом пошла у Барыбы, опешил, и никак Чернобыльникова не разыскать.

А Чернобыльников уж кричит издали:

— Э-эй, купец, сюда!

Поблескивают пуговицы почтальонские у Чернобыльникова. И рядом с ним какой-то еще человечек.

Маленький, востроносый, сидит — и не на стуле будто сидит, а так, на жердочке прыгает, вроде — воробей.

Чернобыльников кивнул на воробья:

— Тимоша это, портной. Разговорчивый.

Улыбнулся Тимоша — зажег теплую лампадку на остром своем лице:

— Портной, да. Мозги перешиваю.

Барыба разинул рот, хотел спросить, да сзади толкнули в плечо. Половой, с подносом на отлете, у самой головы, уж ставил пиво на стол. Галдели, путались голоса, и надо всеми стоял один — рыжий мещанин, маклак лошадий, орал:

— Митька, эй, Митька, скугаревая башка, да принесешь ты ай нет?

И запевал опять:

По тебе, широка улица,
Последний раз иду…

Узнал Тимоша, что из уездного Барыба, обрадовался.

— Самый этот поп тебе, значит, и подложил свинью? Ну, как же, зна-аю его, знаю. Шивал ему. Да не любит он меня, страсть!

— За что же не любит-то?

— А за разговоры мои разные. Намедни говорю ему: «Как это, мол, святые-то наши на том свете, в раю будут? Тимофей-то милосливый, ангел мой и покровитель, увидит он, как я в аду буду поджариваться, а сам опять за райское яблоко возьмется? Вот те и многомилосливый, вот те и святая душа! А не видеть меня, не знать — не может он, по катехизису должон». Ну, и заткнулся поп, не знал, что сказать.

— Ловко! — заржал Барыба, загромыхал, засмеялся.

— «Ты бы, — поп мне говорит, — лучше добрые дела делал, чем языком-то так трепать». А я ему: «Зачем, говорю, мне добрые дела делать? Я лучше злые буду. Злые для ближних моих пользительней, потому, по Евангелью, за зло мое им Господь Бог на том свете сторицею добром воздаст...» Ах, и ругался же поп!

— Так его, попа, так его, — ликовал Барыба. Полюбил бы вот сейчас Тимошу за это, за то, что попа так ловко отделал, — полюбил бы, да тяжел был Барыба, круто заквашен, не проворотить его было для любви.

За столиком, где сидел рыжий мещанин, зазвенели стаканы. Страшный, рыжими волосами обросший кулак драбазнул по столу. Мещанин вопил:

— А ну, скажи? А ну, еще раз скажи? А ну-ка, а ну?

Повскакали соседи, сгрудились, повытянули шеи: ох, любят у нас скандалы, медом их не корми!

Какой-то длинношеий верзила вывернулся из свалки, подошел к столику, здоровался с Чернобыльниковым. Под мышкой держал фуражку с

кокардой.

— Удивительно… И уж сейчас все лезут, как бараны, — сказал он гусиным тонким голосом и выпятил презрительно губы.

Сел. На Тимошу с Барыбой — ноль внимания. Говорил с Чернобыльниковым: почтальон — все-таки вроде чиновник.

Тимоша, не обинуясь, вслух объяснил Барыбе:

— Казначейский зять он. Женил его казначей на последней своей, на засиделой, и местишко ему устроил, в казначействе писцом — ну, он и пыжится.

Казначейский зять будто не слушал и еще громче говорил Чернобыльникову:

— И вот после ревизии представили его к губернскому секретарю…

Чернобыльников почтительно протянул:

— К губе-е-рнскому?

Тимоше невтерпеж стало — влез в разговор.

— Почтальон, Чернобыльников, а помнишь, как его намедни исправник-то из дворянской… энтим самым местом выпихнул?

— Просил бы… Пок-корнейше просил бы! — сказал казначейский зять свирепо.

А Тимоша досказывал:

— «… Ан не пойдешь!» — «Ан пойду!» Ну, слово

за слово, — об заклад. Влез он в дворянскую. А на бильярде-то как раз казначей с исправником играл. Наш франтик — к тестю: на ухо пошептал, будто за каким делом пришел. Да там и остался стоять. А исправник — начал кием нацеливаться, все пятился, пятился да невзначай будто так его и выпихнул, энтим самым местом. Ох, Господи, вот смеху-то было!

Надрывались со смеху Барыба с Чернобыльниковым.

Казначейский зять встал и ушел, не глядя.

— Ну, еще помиримся, — сказал Тимоша. — И ничего ведь малый был. А теперь — на лбу кокарда, а во лбу — барда.

7. Апельсинное дерево

У Польки, у дуры босоногой, на кухне только одно окошечко и есть, да и на том стекло зацвело, от старости заразноцветилось. А на окне у Польки — баночка.

Посадила — давно уж, с полгода будет — в баночку эту Полька апельсинное зерно. А теперь, гляди, уж и целое деревцо выросло: раз, два, три, четыре листочка, малюсеньких, глянцевых.

Помыкается на кухне, погремит Полька горшками — да и опять подойдет к деревцу, листочки

понюхает.

— Чудно. Было зерно, а вот…

Берегла-холила. Кто-то сказал, что, мол, хорошо это для росту — стала деревцо поливать супом, коли оставался от обеда.

Раз Барыба из трактира вернулся поздно, встал утром злючий-презлючий, чаю глонул — и сейчас в кухню, душу отвести. Звала его теперь Полька не иначе как барином: очень лестно.

Полька как раз у окна своего возилась, около деревца любезного.

— Где кот?

Полька, не обертываясь, копошилась. Робея, отвечала:

— Они, барин, ушли. Да где-нибудь на дворе, наверно, где же еще?

— Ты это что там стряпаешь?

Притихла, сробела, молчала. Блюдце с супом в руке.

— Су-упом? Траву поливаешь? Для этого тебе суп даден, дуреха ты этакая? Сейчас подай сюда!

— Ды-к, это пельсин, барин…

Полька затрепыхалась от страха: ох, и что теперь будет?

— Я те покажу пельсин! Супом поливать, дура, а?

Барыба схватил баночку с апельсином. Полька заревела. Да что тут долго с ней, дурой, вожжаться? Выхватил с корнем деревцо, да за окно, а баночку поставил на место. Очень даже просто.

Полька ревела в голос, грязные полосы наследились от слез на лице, причитала по-бабьи:

— Пельсин мой, ды-ы батюшка, да как же я без тебя буду-у…

Барыба весело поддал ей сзади пару, и она выкатилась из двери, по двору — да прямо в погреб.

Разгрыз какой-то камень, вот тут, с Полькой, с апельсином этим — и полегчало сразу. Скалил зубы Барыба, пьянел.

Увидал в окно, как Полька спустилась в погреб. Повернулся в голове медленно какой-то жернов — и заколотилось вдруг сердце.

Вышел на двор, огляделся по сторонам и юркнул в погреб. Плотно закрыл за собой дверь…

После солнца — да в темь: совсем ослеп. Шарил по сырым стенам, спотыкался.

— Полька, где ты? Ты там где, дура, зачихачилась?

Слышно, где-то хлюпает Полька, хнычет, а где…

Затхло, могильно, сыро. Щупал руками по картошкам, кадушкам, свалил деревянный кружок с

крынки какой-то.

Вот она, Полька: на куче картошек сидит, размазывая слезы. Крошечная какая-то дырочка вверху — пролез один хитрый, прищуренный лучик и отрезал кусок косы у Польки с тряпичной лентой, пальцы, грязную щеку.

— Будя, будя, не реви, засохни!

Барыба легонько налегнул на нее, и она повалилась. Послушно двигалась и была вся, как тряпочная кукла. Только еще чаще захныкала.

Во рту пересохло, язык еле ворочался у Барыбы. Плел что-то — так, чтоб занять ее голову, отвлечь от того, что он делал:

— Да, ишь ты, штука какая, пельсин! А ты и реветь? Мы тебе вместо пельсина, дай-кось, ерань купим… Ерань — она… это самое… духовитая…

Полька тряслась вся и хныкала, и в этом была своя особая сладость Барыбе.

— Так, та-ак! Реви теперь, ну, реви вовсю, — приговаривал Барыба.

Польку выпроводил. Сам остался еще, растянулся на куче картошек, отдыхая.

Вдруг заулыбался Барыба до ушей, довольный. Сказал вслух Чеботарихе:

— Что, перина старая, съела, ага?

И показал в темноте кукиш.

Вышел из погреба, зажмурился: солнце. Поглядел под сарай: там копошился, спиною к нему, Урванка.

8. Тимоша

Сидели в трактире за чаем. Тимоша приглядывался все к Барыбе.

— Неуютный ты какой-то, погляжу я. Бивали тебя, должно быть, вот как.

— Бивали, как же, — засмеялся Барыба. Лестно даже было: бивали — а теперь вот поди-ка, сунься.

— То-то ты и вышел такой, чадушко. Души-то, совести у тебя — ровно у курицы…

И завел свое — о Боге: нет, мол, его, а все выходит, жить надо по-Божьи; и о вере, и о книгах. Непривычно было Барыбе так много молоть своим жерновом, томили тимошины мудреные слова. Но слушал — тяжелой телегой тащился за Тимошей. Кого же и слушать, как не Тимошу: голова-парень.

А Тимоша уж дошел до самого своего главного:

— Вот, покажется иной раз — есть. А опять повернешь, прикинешь — и опять ничего нет. Ничего: ни Бога, ни земли, ни воды — одна зыбь поднебесная. Одна видимость только.

Тимоша повертел по-воробьиному головкой, теснило что-то.

— Одна видимость. Дойти-то до этого, что-о! Нет, а вот с одним ничем-то этим с глазу на глаз пожить, воздухом-то попитаться. Вот тут, брат…

И увидел, что заблудился уж Барыба, отстал, спотыкнулся.

Махнул Тимоша рукой:

— Э, да что! Ни к чему тебе это, ты-то утробой живешь… У тебя Бог-то съедобный.

Вышли из трактира. Ночь июньская, нежаркая, липой пахнет, сверчки в траве заливаются. А Тимоша в ватное обряхался, ну и чудак же!

— Ты что ж это, Тимоша, кутафья кутафьей?

— А, да ну! Не спрашивал бы. Ту-бер-ку-лоз, брат. Так фершал в больнице и сказал. Простужаться — ни Боже мой.

«Ишь ты, то-то он квелый такой», — и как-то увесисто почуял вдруг Барыба тяжесть своего звериного, крепкого тела. Шел тяжко-довольный: было приятно ступать на землю, попирать землю, давить ее — так! Вот так!

У Тимоши, в комнатушке с драными обоями, сидели за некрашеным столом трое ребят, веснушчатых, востроносых.

— Мать где? — крикнул Тимоша. — Опять нету.

— К земскому ушла, приходили, — робко сказала девочка. И стала в углу надевать полсапожки: неловко босиком-то, чужой какой-то пришел.

Тимоша насупился.

— Давай кулеш, Фенька. Да бутылку из выхода принеси.

— Мамаша не велела бутылку.

— Я те дам мамашу. Живо, живо! Садись, Барыба.

Сели за стол. Наверху пищала тоненько лампа с жестяным абажуром, увешанным дохлыми мухами.

Фенька из миски стала было отливать в долбленку кулеш ребятам. Тимоша на нее крикнул:

— Это что? Отцом родным требуете? Мать подучает все? Ну, я ее подучу, дай-ка, придет вот! Шляется…

Ребята стали хлебать из общей миски, не в охотку, понуро. Тимоша хихикнул криво и сказал Барыбе:

— Вот — Господа Бога искушаю. В больнице говорят — она, мол, прилипчивая, чахотка-то. Ну, вот и погляжу: прилипнет к ребятам ай нет? Поднимется у него, у Господа Бога, рука на ребят несмысленых, — поднимется ай нет?

В окно постучали чуть-чуть, робко.

Тимоша торопливо распахнул раму и пропел ядовито:

— А-а, пожаловала?

И потом Барыбе:

— Ну, брат, сбирай свои манатки. Больше тебе тут глядеть нечего. Тут дело пойдет сурьезное.

9. Ильин день

Под Ильин день вечер — особенный, и благовест — свой особенный: в соборе — престол, в монастыре — престол, стряпухи во всех домах пироги к завтрему пекут, а в небе Илья-пророк громы заготавливает. И небо-то под Ильин день какое: чисто да тихо, как в избе, вымытой к празднику. Все-то спешат по своим церквам: не дай бог к Ильину тропарю опоздать, будут весь год слезы литься, как дождь, от века положенный на Ильин день.

Ну, уж это кто-то опоздает, да не Чеботариха только: первая она богомольница в Покровской церкви. Во-он когда, загодя еще, запрег лошадей Урванка.

Запрег, идет по двору — как раз мимо погреба. Глядь — а дверь открыта. Буркнул Урванка:

— Ишь, дьяволы, и дверь-то расхлябячили. Люди Богу молиться идут, а они — на-ка тебе.

Охальники!

И посолил словечком покрепче. Хотел было дверь закрыть, да нет. Постоял, ухмыльнулся.

Пришел доложить Чеботарихе: все, мол, готово.

— А только дозвольте вас просить через черный ход выйтить… — и узлом завязал Урванка улыбку на закопченном своем лице: поди-кось, раскуси, что она такое означает.

— Чтой-то мудришь ты, Урванка! — сказала Чеботариха. Однако ж поплыла, шурша шелковым, коричневым с цветочками платьем.

Спустилась, пыхтя, по ступенькам. Прошла мимо погреба.

— Дверь-то бы закрыл, догадался. Все им скажи да покажи… — Чеботариха женщина степенная, хозяйственная, а такая мимо раскрытой двери разве пройдет спокойно? Хоть и не надо, а закроет.

— А их-то как же, припереть там прикажете?

— Кого такое — их?

— Как кого? А Анфим-то Егорыча с Полькой? Чать, и им бы надо под Ильин-то день ко всенощной сходить?

— Брешешь, пыдлец ты этакой! Ни в жисть не поверю, чтоб Анфимка с ней…

— Да вот разрази меня Илья завтра громом, коли ежели я вру.

— А ну, перекрестись!

Урванка перекрестился. Стало быть — правда.

Побелесела Чеботариха и затряслась, словно опара, взбухшая до самых краев дежи. Урванка подумал: «Ну, завоет». Нет, вспомнила, видно, что на ней шелковое платье. Выпятила важно губу и сказала, будто ничего такого и не было:

— Урван, дверку-то закройте. Пора нам, пора в церкву.

— Слушаю, матушка.

Щелкнул засовом, отвязал лошадей, запылила по дороге знаменитая линейка Чеботарихина.

Чеботариха стояла, как всегда, впереди, у правого клироса. Сложила на животе руки и уперлась глазами в одну точку, на правом дьяконовом сапоге. К сапогу прилипла какая-то бумажка, дьякон стоял перед Чеботарихой на амвоне, и бумажка не давала покоя.

— «Недугующих и страждущих»… И меня, стало быть, страждущую. Ах ты, господи, ну и подлец же Анфимка!

Кланялась в землю, а бумажка на сапоге — вот она, так и мельтешится перед глазами.

Ушел дьякон — еще того хуже: нейдет из головы

Анфимка проклятый. А она-то его холила, а?

Только во время «Хвалите» Чеботариха и развлеклась немного, о Барыбе чуть позабыла. Нет, каково: дьяконова-то Ольгуня, образованная-то, столбом стоит! Вот оно, образование-то, все чтоб по-своему, не как все. Не-ет, надо дьякону про это напеть…

Сторож в оставном солдатском мундире тушил в церкви свечи. Дьякон вынес Чеботарихе на тарелочке хлебец: прихожанка она была примерная, богобоязненная, хорошо платила.

Чеботариха притянула его за рукав и долго про Ольгуню шептала на ухо и качала головой.

Урванка налегнул, отодвинул засов. Выскочил Барыба, как ошпаренный.

— Чай кушать пожалуйте, — сказал, ухмыляясь, Урванка.

«Неужто не сказал?» — подумал Барыба.

Чванная, в шелковом, лубом стоящем, платье сидела Чеботариха, ломала на кусочки поднесенный дьяконом хлебец и глотала, как пилюли, очень громко: кто же святой хлеб жует?

«Ну, уж говорила скорей бы», — ждал Барыба, сердце трепыхалось и ныло.

— К чаю-то, может, молочка топленого велеть принести? — поглядела Чеботариха как будто и

ласково.

«Измывается либо? А может, и впрямь – не знает?»

— Да где ее, Польку-то, теперь сыщешь? Кургузить начинает, вешала-девчонка. Вы бы, Анфимушка, приглядели за ней.

Так вот, просто, будто бы и ничего, говорила себе Чеботариха, глотала хлебец по кусочкам, сметала со стола святые крошки и ссыпала в рот.

«А ведь не знает, как Бог свят», — вдруг Барыба уверился. Развеселился, улыбался четырехугольной своей улыбкой, ржал — рассказывал, как дуреха эта, Полька, супом поливала пельсинное дерево.

Солнце садилось медное, ярое: задаст Илья завтра грозу. Алели белые чашки, тарелки на столе. Важная, молчаливая сидела Чеботариха и не усмехнулась ни един раз.

Весело отбивал Барыба поклоны в спальне, рядом с Чеботарихой, и благодарил неведомых каких-то угодников: миновало, пронесло, не сказал Урванка!

Загасла лампадка. Ночь душная, тяжкая под Ильин день. В темноте спальни — жадный, зияю-

щий, пьющий рот — и частое дыхание загнанного зверя.

У Барыбы перестало биться сердце, заерзали перед глазами зеленые круги, слиплись на лбу волосы.

— Да ты что, али рехнулась? — сказал он, выпутываясь из ее тела.

Но она облепила, как паук.

— Не-ет, миленький, не-ет, дружок! Не уйдешь, нет!

И томила его невидными и непонятными в темноте, злыми ласками и сама всхлипывала: замочила слезами все лицо у Барыбы.

До утра. Сквозь каменный сон услышал Барыба колокол — к Ильинской обедне. Во сне услышал какое-то пение и ворочал окаменевшие мысли, силился сообразить.

Но проснулся только, когда кончили петь. Вскочил сразу, как встрепанный. «Да ведь это попы молебен в зале отпели!»

Оделся, глаза слипались, голова чужая.

Попы уже ушли. Чеботариха одна сидела в зальце, на кретоновом диване. Была опять в шелковом, лубом стоящем, платье и в кружевной парадной наколке.

— Проспали молебен-то Ильинский, а? Анфим

Егорыч?

Может, оттого, что и правда — проспал и было уже около полудня, а может, оттого, что пахло в зальце ладаном — стало Барыбе неловко как-то, не по себе.

— Садитесь, Анфим Егорыч, садитесь, побеседуем.

Помолчала. Потом закрыла глаза и лицо сделала, будто и не лицо, а так — пирог сдобный. Голову набок — и сладким голосом:

— Так-то вот, грехи наши тяжкие. И не замолить их. А на том свете — Он-то, батюшка, все припомнит, Он, батюшка, в геене серной дурь-то всю-ю выкурит.

Барыба молчал. «И куда это она гнет?»

Вдруг Чеботариха распялила вовсю глаза и, брызгая слюной, закричала:

— Да ты что же, пыдлец ты етакой, молчишь, как воды в рот набрал? Ай, думаешь, я про шашни твои с Полькой ничего не знаю? Девчонку спортить, пыдлец ты етакой развратной, — нипочем тебе?

Ошарашенный, Барыба, молча, ворочал челюстями и думал: «А ведь вчера поросенка-то зарезали — это, поди, нынче к обеду».

Чеботариха совсем раскипелась от молчания

Барыбина. Затопала, сидя, ногами.

— Вон, вон из мово дому! Змей подколодный! Я его на груде отогрела, паршивца, а он — на-кося! На Польку — это меня-то, а?

Не понимая, не в силах повернуть чем-то налитых мыслей, сидел Барыба, как урытый, молча. Глядел на Чеботариху. «Ишь, как брыжжет-то, брыжжет-то, а?»

Опомнился, когда в зальцу вошел Урванка и сказал ему с улыбкой, с веселой:

— Ну, нечего, брат, нечего. Проваливай-ка. Твово тут, брат, ничего нету.

И сзади нахлобучил Барыбе картуз.

Перед Ильинскою грозою пекло солнце. Ждали — воробьи, деревья, камни. Засохли, томились.

Барыба, очумелый, шатался по городу, присаживаясь на всех лавочках по Дворянской.

«Что ж теперь дальше-то, а? Что ж теперь? Куда?»

Мотал головой и все никак не мог этого стряхнуть: балкашинский двор, ясли, собаки голодные дерутся из-за кости…

Бродил потом по каким-то задним улицам, по мураве зеленой. Проезжал мимо водовоз, у одного колеса соскочила, позванивала шина. Почуял

Барыба, что и правда пить-то ведь хочется. Попросил, напился.

А с севера, от монастыря, насела уж туча, разломила небо на две половинки: голубую, веселую, и синюю, страшную. Синяя все росла, пухла.

Как-то, себя не помня, очутился Барыба под навесом, у чуриловского трактира в подъезде. Лил дождь; сбились в подъезде какие-то бабы, задрав на голову подолы; громыхал Илья. Эх, все равно — валяй, греми, лей!

Само собой как-то вышло, что пошел Барыба ночевать к Тимоше. А Тимоша даже и не удивился нисколечко, как будто каждый день к нему Барыба ночевать ходил.

10. Сумерки в келье

Летом в четыре часа — самое глухое по нашим местам время. Никто из хороших людей на улицу и носу не высунет: жарынь — несусветная. Ставни все позакрыты, с полной утробой сладко спится после обеда. Одни вихорьки, серенькие, полуденными бесами приплясывают по пустым улицам. К калитке какой-нибудь подойдет почтальон, стучит, стучит. Да уж нет, не прогневайся: не откроют.

Непристанный, шатущий, бредет в эту пору

Барыба. Как будто и сам не знает — куда. А ноги несут — в монастырь. Да и куда же еще? От Тимоши — к Евсею в монастырь, от Евсея — к Тимоше.

Стена зубчатая, позаросшая мохом. Будочка, вроде собачьей, у обитых железом ворот. А из будочки выходит, кривляясь, с кружкой Арсентьюшка блаженненький — виттопляска с ним — вратарь, даяния собирает, неотвязный.

— Ишь, пристал, наяный!

Положил ему Барыба семитку и пошел по белым накаленным плитам, мимо могил именитых горожан за позолоченными решетками. Любили именитые тут хорониться: всякому лестно в монастыре лежать, и чтоб денно и нощно о нем ангельские чины молились.

Постучал Барыба в Евсееву келью. Никто не ответил. Он открыл дверь.

За столом без подрясников, в одних белых штанах и рубахах, сидели двое: Евсей и Иннокентий.

Евсей зашипел на Барыбу свирепо: ш-ш-ш! И опять уставился, не мигая, наливной, стеклянноглазый, — в стакан свой с чаем. А Иннокентий, губошлепый, баба с усами, — замер над своим стаканом.

Барыба у притолоки остановился, глядел, гля-

дел: да что они, ополоумели, что ли?

У другой притолоки стоял Савка-послушник: масленые, прямые палки-волосы, красные, рачьи ручищи.

Савка почтительно фыркнул в сторону:

— Ф-фы! Да-к, к отцу Евсею-то в стакан муха того и гляди сядет. Ай не видите, что ли?

Ничего не понимая, лупил Барыба глаза.

— Да-к, как же? Это у них теперича самая разлюбезная игра. Пятак там, гривенник поставят — и ждут, и ждут. К которому батюшке первому муха в стакан попадет — тот, стало быть, и выиграл.

Савке охота побалакать с мирским. Говорит, все время закрывая из почтения рот огромной красной ручищей.

— Гляньте-кось, гляньте-кось, отец Евсей-то…

Евсей — сизый, наливной, наклонился к стакану, щерился рот у него все шире — и вдруг грохнул, хлопнул себя по коленке рукой:

— Е-эсть! Вот она, голубушка! Мой пятак! — и пальцем выловил муху из стакана. — Ну, малый, чуть не подкузьмил меня. Спугнул ведь было мушку-то, матушку.

Он подошел к Барыбе поближе, уставился стеклянными своими глазами, забубукал:

— А мы, малый, и видеть тебя не чаяли. Слы-

шали, совсем бландахрыстом стал. Думали, до смерти баба тебя заездит. Ведь Чеботариха-то, она баба — я те дам, жадёна!

Усадил чай пить Барыбу, сам допивал стакан, из которого выловил мушку-матушку. Да какая ж без зеленого вина встреча? — выставил Евсей и косушку на стол.

Савка подал второй самовар. На столе — медяки, Псалтырь, крендели, рюмки с отколотыми ножками.

Иннокентий что-то расстроился после водки, глазки у него слипались, то и дело клал голову на стол, подперев кулачком. Жалобно вдруг запел «Свете тихий». Евсей и Савка подтянули. Савка пел басом, откашливаясь в сторону и прикрывая красной ручищей рот. Барыба подумал: «Эх, все равно!» — и тоже горестно стал подвывать.

Вдруг Евсей оборвал и заорал:

— Сто-ой! Стой — тебе говорю!

А Савка все еще тянул. Евсей кинулся к нему, схватил за глотку и притиснул к спинке стула, полоумный, дикарь. Задушит.

Иннокентий встал, согбенный, старушечьими шажками подошел сзади к Евсею и пощекотал ему подмышки.

Евсей захохотал, забулькал, замахал руками,

как пьяная мельница, отпустил Савку. Потом сел на пол и затянул:

На-а горе сидит калека,
У-бил чем-то человека…

Все молча, усердно подтягивали, как раньше — «Свете тихий».

Смерклось, слилось, закачалось все в пьяной келье. Огня не зажигали. Иннокентий ныл и приставал ко всем, шамкая, — старушонка с усами и седой бородой. Попритчилось вот ему, что поперхнулся он чем-то. Застряло вот в глотке, да и только. Колупал-колупал пальцем: не помогает.

— Ну-ка, попробуй ты, Савушка, миленочек, пальчиком? Может, и ощутишь что.

Савушка лез, вытирал потом палец о полу подрясника.

— Ничего, ваше преподобие, нету. Так это, пьяный бес блазнит.

Евсей прикорнул на кровати и долго лежал так, ни слуху ни духу. Потом вскочил вдруг, лохмами своими затряс.

— По мне, ребятки, в Стрельцы бы, этта, теперь махануть. На радостях встречных. Барыба, малый, а, ты как? Деньжат бы вот только перехватить где. У келаря разве? Как, Савка, а?

Невидный у двери заржал Савка. Барыба подумал:

«Что ж, отшибет, пожалуй. Позабыть бы все».

— Коли отдашь завтра… У меня есть малость денег-то, последние, — сказал он Евсею.

Евсей живо взбодрился, мотал, как веселый пес, головой, выпялил стеклянные свои глаза.

— Да я, перед Истинным вот, завтра отдам, у меня есть ведь, да только далеко спрятаны.

Шли вчетвером мимо могил. Полумертвый месяц мигал из-за облака. Иннокентий зацепился подрясником за решетку, струхнул, закрестился, свернул назад. Трое полезли через стену по нарочно, для ходу, выломанным кирпичам.

11. Брокаровская баночка

Вот и опять тяжко-жаркий, дремучий послеполудень. Белые плиты на монастырской дорожке. Липовая аллея, жужжание пчел.

Впереди Евсей, в черном клобуке, с приквашенными лохмами: нынче ему черед вечерню служить. А сзади — Барыба. Идет, да нет-нет и опять растворит, как ворота, четырехугольную

свою улыбку.

— Уж больно ты, Евсей, в клобуке-то чудной да непригожий. Гречневик бы тебе мужицкий или папаху, куды бы гожее было.

— Да я, малый, и то — в юнкера хотел идти, да запьянствовал ненароком. Вот под монастырь и угодил.

Эх, Евсей! Какой бы краснорожий, сизоносый казацкий есаул из тебя вышел. Или бы писарь волостной, пьяница, мужикам панибрат. А вот, поди ж ты, изволением Божиим…

— А как ты, Евсей, плясовую-то вчера в Стрельцах откатал, а?

Во монахи поступили,

Самовары закупили…

Евсей заухмылялся, передернул было плечами. Да уж нет, в этом бабьем наряде — куда там. Вчера — вот это так: рубаху веревочкой подпоясал по-деревенски, под самые подмышки, порты крашенинные белые с синими полосочками, борода рыжая лопатой, зенки того и гляди выскочат, — настоящий лешак деревенский, и плясать ловкач. То-то нахохотались стрелецкие девки вдосталь!

Пришли. Барыба постоял минутку у старых цер-

ковных дверей. Вышел Евсей, поманил пальцем.

— Ну, иди, малый, иди. Никого нету. Сторож — и то кудай-то ушел.

Низенькая, старая, мудрая церковь — во имя древнего Ильи. Видала виды: оборонялась от татаровья, служил в ней, говорят, проездом боярин Федор Романов, в иночестве Филарет. В решетчатые окна глядят старые липы.

Бубукает, шумит, не уймется и тут Евсей, есаул в клобуке. Старые, худые, большеглазые угодники жмутся по стенам — от махающего руками, бородатого, громкого Евсея.

Евсей стал на колени, пошарил рукой под престолом.

— Тута, — сказал он и вынес к свету пыльную баночку от брокаровской помады. Откупорил, перелистал, слюнявя, четвертные бумажки.

Беспокойно заворочал Барыба своим утюгом.

«Ох, ты, дьявол! Десяток, а то либо и больше. И на кой они ляд ему?»

Евсей отложил одну бумажку.

— А остатние — либо на помин души оставлю, а то либо, этта, однова как-нибудь заберу все да стрелецким девкам на пропой раздарю.

Белые плиты монастырской дорожки. Гудят

пчелы в старых липах. Тяжкий зной кружит хмельную голову.

«И на кой они ляд ему?» — думает Барыба.

12. Монашек старенький

На теплой от солнца скамеечке каменной, возле Ильинской церкви, старый-престарый сидит монашек. Выцвела, позеленела у него ряска, прозеленью пошла борода седая, обомшали руки, лицо. Лежал вот где-то, как клад, под старым дубом, выкопали его — взяли и посадили тут на солнышке греться.

— Да тебе лет-то сколько, дедушка? — спрашивает Барыба.

— И-и, милый, позабыл я. Да вот Тихона-то вашего, Задонского, помню. Хорошо служил батюшка, истово.

Все вертится Барыба около монашка позеленелого, все льнет к нему. Ох, не даром!

— Пойдем, дед, в церковь, я тебе подметать помогу.

И ходят под темными прохладными сводами. Убирает любовно монашек старую свою церковь, с угодниками шепчется. Свечку засветит — и станет, любуется, теплится перед ней.

«Дунуть, вот — и потухнут и свечка, и мона-

шек», — думает Барыба.

Ходит он за монашком следом: одно подаст, другое подержит. Полюбил Барыбу монашек. Народ-то нынче непочетник пошел, забыли все старого, слова перемолвить не с кем. А этот вот…

— Дед, а ведь страшно, поди, ночью-то одному в церкви?

— И-и, что ты, Христос с тобой, с ней-то, родимой, страшно?

— Дед, давай я ночую с тобой?

Строго говорит из глубокого дупла своего монашек:

— Сорок лет один на один с ней ночевывал. И нелеть никому окромя и ночевать-то в ней. Мало ли там что в церкви ночью…

Береги ее, береги, ревнивый. Правда, мало ли что в ночной старой церкви?

«Ладно, подожду», — и ходит следом Барыба.

За всенощной под Тихона Задонского уж так-то притомился старый монашек. Народу — несть числа было. Уж потом прибирали-прибирали с Барыбой, насилу-то кончили.

Оглядел монашек все двери, все запоры ржавые проверил и присел на минуточку малую отдохнуть. Присел — и потух, ветхий, заснул. Подождал Барыба, кашлянул. Подошел, тронул за рукав монашка — спит. Шасть скорей в алтарь, и ну

— под престолом шарить. Шарил-шарил: нашел.

Крепко спит старый монашек — приучается уже смертным сном спать. Ничего не слыхал старый монашек.

13. Апросина избушка

Кончается Дворянская, захудалые последние ларьки и фонари. А дальше — Стрелецкий пруд, старые лозинки засели кругом, обомшалый скользкий плот, стучат, нагнувшись, бабы вальками, ныряют утята.

У самого пруда, на Стрелецкой слободской стороне присуседилась Апросина избенка. Ничего себе, теплая, сухая. Под скобку стриженная соломенная крыша, оконца из стекольных зацветших верешков. Да много ли Апросе с мальчонкой вдвоем и надо? Двухдушный надел сдала арендателю, а там, гляди, к празднику и муж гостинцев пришлет — трешку, пятишну. И письмо:

> «И еще с любовью низкий поклон дражайшей супруге Апросинье Петровне… А еще уведомляю, что нам опять прибавили по три рубли в год. И мы опять порешили с Илюшей остаться в сверхсрочных…»

Спервоначалу Апрося тосковала, конечно, — дело молодое, а потом загас, забылся муж в сверхсрочных. Так, представлялся вроде марки какой на письме или вроде печати: его, мол, печать, его марка. А больше и ничего. Так и обошлась Апрося, обветрела, в огороде копалась, обшивала мальчонку, на постирушки ходила.

У Апроси у этой и снял комнату Барыба. Сразу понравилось: домовито, чисто. Уговорились за четыре с полтиной.

Апрося была довольна: жилец солидный, не какой-нибудь оторвяжник, и с деньгами, видимо. И не очень чтоб заворотень или гордец: когда и поговорит. Заботилась теперь о двух: о мальчонке своем и о Барыбе. Весь день на ногах — обветрелая, степенная, ржаная, крепкогрудая: поглядеть любо.

Тихо, светло, чисто. Отдыхал Барыба от старого. Спал без снов, деньги были: какого рожна еще нужно? Ел не спеша, прочно, помногу.

«Ну, ин ладно, угождаю, стало быть», — думала Апрося.

Накупил Барыба книжонок. Так, лубочных, дешевка, да очень уж завлекательные: «Тяпка — Лебедянский разбойник», «Преступный монах и его сокровища», «Кучер Королевы Испанской».

Валялся Барыба, подсолнухи лущил, читая. Никуда не тянуло: перед Чернобыльниковым-почтальоном и перед казначейским зятем было вроде неловко: поди теперь уж всё проведали. А на баб даже и глядеть не хотелось, после Чеботарихи не осела еще муть.

Ходил гулять в поле, там косили. Вечерняя парча на небе, покорно падает золото ржи, красные взмокшие рубахи, позванивают косы. И вот бросили — и к жбанчикам с квасом, пьют, капли на усах. Эх, всласть поработали!

Думалось Барыбе: вот бы так. Чесались крепкие руки, сжимались жевательные мускулы… «А казначейский-то зять? Вдруг бы увидал?…»

— То-оже, выдумал, в мужики пойти. Еще, пожалуй, кожи возить на чеботарихином заводе? Самая стать… — сердито бурчал на себя Барыба.

Вертись не вертись, а надо что-нибудь и выдумывать: так, без дела, не проживешь на евсеевы деньги, не бог знает какие тысячи.

Покумекал-покумекал Барыба да и настрочил прошение в казначейство: авось возьмут писцом, помощником бы к казначейскому зятю. Вот бы фуражку тогда с кокардой — знай наших!

Духота под вечер была смертная. Барыба все же напялил бархатный свой жилет (остаток житья

привольного у Чеботарихи), воротничок бумажный, брюки «на улицу» и пошел на Дворянскую: где ж, как не там, казначейского зятя найти.

Тут, конечно, ходит длинногачий, тощий, вешалка, на всех глядит кисло, тросточкой помахивает. Так и хочет сказать: «Ты кто такой? А я, видишь, чиновник — фуражка с кокардой».

Кислую улыбку сунул Барыбе:

— А-а, эт-то вы! Прошение? Гм-гм.

Оживился, подтянул штаны, поправил воротничок. Почувствовал себя приветливым начальством.

— Что же, я передам, хорошо. Я сделаю, что могу. Ну, как же, как же, старое знакомство.

Барыба шел домой и думал:

> «Ух, и смазал бы тебя, кислая харя. Однако, что говорить – образованно себя держит. А воротничок-то? Самого настоящего полотна и, видать, каждый раз – новый».

14. Вытекло веселое вино

Келарь Митрофан разнюхал, выведал все, собака, о Евсеевом походе в Стрельцы. Может, конечно, и сам Евсей разблаговестил, нахвастал.

А только знал келарь все до последней капли: и как отплясывал Евсей в рубахе одной, под мышками подпоясанной, и песню эту: «Во монахи поступили», и развеселое катанье на живейных по Стрельцам. Келарь, конечно, игумену. Игумен призвал Евсея да так его разнес, что Евсей вылетел, как с верхнего полка из бани.

Поставили Евсея на послушание к хлебопеку. К службам не ходил. В подвале у хлебопека — жара, как в аду. Главный чертище Силантий, косматый, красный, орет на месильщиков, а сам отмахивает на лопате в печь пудовые хлебы. Месильщики, в одних белых рубахах, подвязав веревочкой космы, ворочают тесто, кряхтят, работают до седьмого пота.

Зато и спал Евсей, как давно не спал. И глаза стеклянные, как будто отошли малость. О косушке и подумать некогда было.

Все бы хорошо, да кончилось послушание. Опять пошло старое. Заслужил Евсей, забубнил молитвы. Опять Савка-послушник суется в глаза рачьими своими ручищами, ноет Иннокентий, баба с усами.

Савка рассказал про Иннокентия:

— Анадысь они, отец Иннокентий, пошли в баню. Там дьяконок один был, из сосланных,

веселый. Кэ-эк увидал он отца Иннокентия в натуральном виде:

> «Батюшки, кричит, да это баба, гляди, гляди, груди-то обвисли, стало быть – рожалая».

Иннокентий запахивал плотнее ряску.

— Бесстудный он, дьяконок-то твой. Оттого ему такое и притчится.

Дьяконок этот самый и сгубил Евсея. Пришел дьяконок с воли, скучно, понятно, вот он и шатался из кельи в келью. Забрел как-то к Евсею. Сидели Евсей с Иннокентием над стаканами, опять дулись «в муху» — к кому первому муха в стакан попадет. Увидал дьяконок, помер со смеху, завалился на Евсееву кровать, ножками болтает, ой-ой-ой (ножки у него коротенькие, маленькие, глаза — как вишенки).

На веселый лад дьяконок настроился — и пошел, и пошел. Все свои семинарские анекдоты выложил, мастер на это был. Сначала скромно. А потом уж пошел и про попа, этого самого, что исповедников посылал догрешить: назначал им епитимью по пятнадцати поклонов за два раза — ну, и никак было не сосчитать, все выходило с дробью. И про монашку, которую догнали в лесу

бродяги, целых пятеро, а она потом сказывала: «Хорошо-де, и вдосталь, и без греха».

Ну, словом, всех уложил. Евсей поперхнулся от смеху, стучал кулаком по столу.

— Ай да дьякон! Ну, и разуважил. Придется, видно, угощенье тебе поставить. Подождете, отцы, а? Я в секунд.

— Куда тебя буревая несет? — спросил дьякон.

— Да за деньгами. Они, брат, у меня под спудом лежат, нетленные. Тут, недалеко. И глазом не морганешь…

И впрямь — дьякон и рассказа нового досказать не успел, а Евсей уж тут как тут. Вошел, прислонился к притолоке.

— Иди, богатей, иди, предъяви-ка, — весело закричал дьякон и подошел к Евсею. Подошел — и обмер: Евсей — и не Евсей. Обвис, обмяк, вытек весь как-то: проткнули в боку дыру, и вытекло все вино веселое, остался пустой бурдюк.

— Да ты чего же молчишь-то? Или приключилось что?

— Украли, — сказал Евсей не Евсеевым, тихим голосом и бросил на стол две последних бумажки: для потехи оставил вор…

Оно и раньше-то, правду сказать, Евсей умом тихий был, а тут и с последнего спятил. Пропил

остатние четвертные. Бродил пьяный по городу и выпрашивал пятачки опохмелиться. Забрал его будочник в участок за веселое на улице поведение — будочнику этому весь нос расквасил и удрал в монастырь.

Наутро пришли к нему друзья-приятели: Савка-послушник, да отец Иннокентий, да маленький дьяконок. Стали его увещать: опомнись, что ты, выставит тебя игумен из монастыря, побираться, что ли, идти?

Евсей лежал на спине и все молчал. Потом вдруг захлюпал, распустил нюни по бороде:

— Да, как же, братцы? Я не от денег, мне денег не жалко. А только раньше я, захоти вот, нынче же и вышел из монастыря. А теперь — хоти не хоти… Слободный был человек, а теперь…

— Да кто же это такое тебя объегорил? — нагнулся дьяконок к Евсею.

— Не знал, а теперь знаю. Не наш, мирской один. И ничего ведь как будто малый, а вот… Он, больше некому. Кроме него, и не знал никто, где у меня деньги.

Савка заржал: а, знаю, мол!

Вечером, при свечке, за пустым столом — и самовар неохота было вздуть — судили, рядили, как быть. Ничего не придумали.

15. У Иванихи

Утром после обедни зашел Иннокентий. Принес просвиру заздравную. Зашептал:

— Знаю теперича, отец Евсей. Вспомнил. Пойдем-ка скорей к Иванихе. У-у, она известная, заговорит вора — в момент объявится.

Утро росное, розовое, день будет жаркий. Воробьи празднуют.

— Эка, спозарань поднял, — ворчал Евсей.

Иннокентий шел мелкой бабьей походкой, придерживая на животе рясу.

— Никак, отец Евсей, нельзя. Или не знаешь: заговор — он натощак только силу имеет.

— Врешь ты все, поди, Иннокентий. Так только, зря проходим. Да и срамно — духовным-то.

Иваниха — старуха высоченная, дылда, костистая, бровястая, брови, как у сыча. Не очень-то ласково встретила монахов.

— Чего надоть? За какой присухой пришли? Али с молебном? Так мне ваших молебнов не надобно.

И возилась, стукотала горшками на загнетке.

— Да нет, мы к тебе насчет… Отца Евсея вот обокрали. Не заговоришь ли вора-то? Слыхали мы…

Отец Иннокентий робел Иванихи. Перекре-

ститься бы, а перекреститься при ней нельзя, пожалуй: шутяка-то тут, — еще спугнешь, ничего не выйдет. Как баба — шубейку, запахивает Иннокентий на груди свою ряску.

Иваниха глянула на него сверху, стегнула сычиными своими глазами:

— Так ты-то при чем? Его обокрали — нам с ним вдвоем и остаться.

— Да я, матушка, что ж, я…

Подобрал полы ряски, согнувшись, засеменил бабьими мелкими шажками.

— Как звать-то? — спросила Иваниха у Евсея.

— Евсеем.

— Знаю, что Евсеем. Не тебя, а на кого думаешь — его как звать?

— Анфимкой, Анфимом.

— Тебе на чем же заговаривать-то? На ветер? А то вот хорошо тоже на передник, над березовыми если сучьями его разостлать. А может — на воде? Да потом его, голубя, залучить, да и попоить чайком на этой самой воде.

— Во-во, чайком-то его бы, а? Вот бы ловко, мать, а?

Евсей обрадовался, забубукал, поверил: уж очень солидная да строгая старуха Иваниха.

Иваниха зачерпнула деревянным долбленым

корцом воды, раскрыла дверь в сени, поставила Евсея за порогом, сама на пороге стала. Сунула в руки Евсею корец.

— Держи да слушай. Да, гляди, никому ни слова, а то все на тебя же и оборотится.

Зачитала медленно, вразумительно таково, а глазами сычиными низала воду в корце.

— На море — на Кияне, на острове Буяне стоит железный сундучище. Во том сундучище лежит булатный ножище. Беги, ножище, к Анфимке-вору, коли его во самое сердце, чтобы он, вор, воротил покражу раба Божия Евсея, не утаил ни синь пороха. А коли утаит, будь он, вор, прогвожден моим словом, как булатным ножом, будь он, вор, проклят в землю преисподнюю, в горы араратские, в смолу кипучую, в золу горючую, в тину болотную, в дом бездомный, в кувшин банный. Коли утаит, будь он, вор, осиновым колом к притолке приткнут, иссушен пуще травы, захоложен пуще льда, а и умереть ему не своей смертью.

— Будя теперь, — сказала Иваниха. — Попой его водичкой, голубя, попой.

Евсей бережно перелил воду в бутылочку, дал Иванихе целковый и пошел довольный:

– «Я те, миленок, угощу чаем. Я те раз-

вяжу язык!»

16. Ничем не проймешь

Привязалась к Барыбе ночью ни с того ни с сего лихоманка. Трясло, корежило, сны заплетались неестественные.

Утром сидел за столом в тумане каком-то, пудовую голову на руки упер.

Стукнули в дверь.

— Апрося?

А головы не повернуть, такая тяжелая. У двери кашлянули баском.

— Савка, ты?

Он самый: волосы-палки, красные рачьи ручищи.

— Беспременно просили. Они дюже по вас соскучились, отец Евсей-то.

Потом подошел поближе, поржал:

— Чаем наговоренным хотят вас поить. А вы — ни Боже мой, не пейте.

— Каким наговоренным?

— Да известно, каким: на вора наговоренным.

— Эге! — смекнул Барыба. Очень смешно стало. Дурак Евсей! Туманилось, колотилось в голове, кривлялось что-то веселое.

У Евсея в келье — дымок сизый, накурено: дья-

конок веселый надымил.

— А, гостечки дорогие!

И вихляя задом, дьяконок подставил Барыбе руку кренделем.

Водки на столе не было: нарочно решили не пить, чтоб яснее в голове было — Барыбу уловлять.

— Чего это похудал ты, Евсей? Ай присушил тебя кто? — ухмыльнулся Барыба.

— Похудеешь. Не слыхал нешто?

— Деньжонки-то твои слямзили? Как же, слыхал.

Веселый, язвительный, подскочил дьяконок:

— А откедова же узнали вы это, Анфим Барыбыч?

— А вот — Савка сказал. Вот и узнал.

— Дурак ты, Савка, — обернулся Евсей уныло.

Сели за чай. Один стакан, наполовину налитый, стоял на подносе особо, в сторонке. Иннокентий, суетясь, долил стакан кипятком и подал Барыбе.

Все уставились и ждали: ну, сейчас…

Барыба помешал, хлебнул, не торопясь. Молчали, глядели. Стало чудно Барыбе, невтерпеж, захохотал — загромыхал по камням. За ним заржал Савка и залился тоненько дьяконок.

— Чего ты? — поглядел Евсей, глаза у него были

рыбьи, вареные.

Громыхал Барыба, катился вниз, уже не остановиться, колотилось, зелено-туманилось в голове. Смешливый задор задирал, толкал сказать:

— Я самый и есть. Я и украл.

Выпил Барыба, а все молчал и улыбался четырехугольно, зверино.

Евсею не сиделось.

— Ну, рассказывай, что ли, Барыба. Чего там.

— Про что рассказывать-то?

— Сам знаешь, про что.

— Ой, Акуля, чтой-то ты шьешь не оттуля! Тебе про деньги, а? Так я ж тебе говорю: Савка мне рассказал. Только всего и знаю.

Нарочным голосом говорил Барыба: вру, мол, а поди-ка, поймай.

Дьяконок подскочил к Барыбе, похлопал его по плечу:

— Нет, братец, тебя никакой разрыв-травой не проймешь. Крепок, литой.

Евсей замотал космами:

— Эй, пропадать! Беги, Савка, за вином.

Пили. Туманилось, колотилось в голове. Зеленел дымок от курева. Дьякон плясал матросский танец.

В сумерках Барыба вернулся домой. И у самой

у апросиной калитки почуял вдруг: подгибаются коленки, заволокло глаза. Прислонился к косяку, перепугался: никогда такого не бывало.

Открыла Апрося дверь, поглядела на жильца:

— Да что же это на тебе лица нет? Аль неможется, а?

Как-то во сне очутился на кровати. Лампочка.

Апрося в изголовьи. На лбу мокрая, в уксусе, тряпица.

— Болезный ты мой, — сказала Апрося уютно и жалобно, немного в нос.

Сбегала Апрося к соседям, раздостала Барыбе порошку лекарственного. Ночью заволакивало и опять проясняло в голове, и видел Барыба на стуле в изголовьи дремлющую Апросю.

На третий день к утру отлегло. Лежал Барыба под белой простыней, с тенями серыми, осенними на лице. Попрозрачнел как-то, почеловечел. «И правда, ведь чужой я ей, а сидела ночь, не спала…»

— Спасибо тебе, Апрося.

— И, что ты, болезненький мой. Чай, ведь болен ты.

И наклонилась к нему. Была она в одной юбке пестрядинной и холщовой рубахе, и совсем перед глазами у Барыбы мелькнули две острых колю-

щих точки на груди под редким холстом.

Закрыл Барыба — и опять открыл глаза. В окна глядит летний жгучий день. Где-то там сверкает Стрелецкий пруд, купаются, белеет тело…

Заколотилось в голове еще жарче. Беспокойно задвигал Барыба тяжкими своими челюстями и потянул к себе Апросю.

— Вона что? — удивилась она. — Да, может, вредно тебе? Ну-у, погодь, тряпку-то сменять пора.

Переменила спокойно тряпку и заботливо, хозяйственно легла на кровать к Барыбе.

Так и повелось. Целый день суетится, хозяйничает, горшками гремит Апрося, стрелецкая солдатка. Свой мальчишка, а тут еще и Барыба, и об нем пекись. Отболелся-то он, положим, живо, а все же управиться одной не просто.

Вечером вернется откуда-то Анфим Егорыч, заглянет к Апросе:

— Приходи ужо-тка, вечерком.

— Прийти, говоришь? Ладно. Сбил ты меня с толку сейчас. И чтой-то мне нужно было сделать — совсем замстилось. Да, бишь, яйца повынать из-под кур: опять хорек проклятенный выпьет.

Бежала в курник. Раздувала потом самовар. Один у себя пил Барыба чай, перелистывал что-

то. «И все читает, и все читает, долго ли так и глаза испортить». Укладывала мальчонку своего спать. Садилась на лавку и жужжала веретеном: сучила шерстяные серые нитки для зимних чулок. Шлепался сверху, с потолка, толстый черный таракан. «Ну, стало быть, поздно, пора». Тупым концом веретена почесывала в голове, зевала, крестила рот. Старательно, плюя на щетку, начищала анфим-егорычевы сапоги, раздевалась, аккуратно складывала все в уголку на лавке и несла сапоги Барыбе.

Барыба — ждал. Ставила Апрося у кровати сапоги и ложилась.

Уходила через полчаса. Позевывала. Отбивала десять поклонов, читала Отчу и засыпала накрепко: натрудилась за день, не оберешься хлопот.

17. Семен Семеныч Моргунов

Раз как-то Барыба сказал Тимоше:

— Да какой же ты портной? У тебя тут, дома, и шитва-то никакого нету.

А очень просто, почему не было. Тимоша — он ведь какой: то ничего, ничего, а то как закрутит. Ну, и пропадай тогда заказчиковы брюки: обязательно пропьет. Знали эту манеру его и опасались ему на дом давать. Вот и ходил он шить по

домам. Многих обшивал купцов, также и господ — хорошо шивал, мошенник. Между прочим, был он своим, можно сказать, человеком у адвоката Семена Семеныча Моргунова. Так и называл его Моргунов:

— Мой придворный портной.

Сапоги на Тимоше редко бывали: больше в закладе. И приходил он к Моргунову в старых резиновых калошах, а под мышкой, в бумаге завернуты белые парусиновые туфли. В передней обязательно калоши скинет, туфли белые наденет — готов. И пойдут у них с Моргуновым разговоры необыкновенные: о Боге, об угодниках, о том, что все в мире — одна видимость, и как надо жить. Об Моргунове Тимоша понимал, как об умном человеке. Да такой он и был, Моргунов Семен Семеныч.

Моргунов — это, впрочем, не настоящая его фамилия, а так — прозвание вроде, дразнили его так по-уличному. Да только на него поглядеть — сразу скажешь: Моргунов и есть.

Лик у Семена Семеныча был тощий, темный, иконописный какой-то. Глазищи — огромадные, чернищие. И не то изумленные какие-то, не то бессовестные — очень уж велики. Одни только глаза на лице и есть. И моргал ими он постоянно:

морг, морг, — будто совестился глаз своих.

Да это что — глаза. Он и весь как-то подмаргивал, Семен-то Семеныч. Как пойдет по улице, да начнет на левую ногу припадать — ну, как есть, весь, всем своим существом, подмаргивает.

И уж любили же его за хитрость купцы!

— Семен-то Семеныч, Моргунов? У-у, дока, язва! Этот, брат, дойдет. Без мыла влезет и вылезет. Ты гляди, гляди-ка, подмаргивает-то как, а?

Так и повелось, что вел он у купцов все их делишки темные: вексельные там или — чего лучше — несостоятельные. И уж не мытьем, так катаньем, а доймет-таки суд и выплывет. Зато и платили ему хорошо.

К Моргунову вот и повел Барыбу Тимоша. Да оно и пора было.

Осень была эта так, какая-то несуразная: падал снег и таял снег. А со снегом таяли Барыбины-Евсеевы денежки. Из казначейства пришел ответ: отказали, дьяволы, кто их знает почему, какого рожна им еще нужно. Ну, вот и нужда была себе какое ни на есть дельце подыскать. Есть-то ведь хочется.

Семен Семеныч отвел Тимошу в сторонку и спросил о Барыбе:

— Это кто же будет?

— А это — так, вроде помощник мой: я вот шью, говорю, — а он слушает. Без помощника-то ведь говорить не станешь, сам с собою.

Семен Семеныч задребезжал, засмеялся.

«Ну, значит, в духе: пойдет дело на лад», — подумал Тимоша.

— А раньше-то вы чем занимались? — спросил Моргунов Барыбу.

Барыба замялся.

— А он у вдовы одной почтенной потешником был, — помог Тимоша, ковыряя иголкой в шитье.

Моргунов опять задребезжал: ну и занятие, нечего сказать.

А Тимоша невозмутимо продолжал:

— Ничего такого особенного. Дело торговое. Всё у нас теперь, по силе времени, дело торговое, тем только и живем. Купец селедкой торгует, девка утробой торгует. Всяк по-своему. А чем, скажем, утроба — хуже селедки, или чем селедка — хуже совести? Все — товар.

Моргунов совсем развеселился, подмаргивал, дребезжал, хлопал Тимошу по плечу. Потом засерьезничал вдруг, иконописный стал, строгий, глазами вот-вот проглотит.

— Что ж, заработать хотите? — спросил Барыбу. — Дело найдется. Мне вот свидетели нужны.

Вид-то у вас внушительный, годитесь как будто.

18. В свидетелях

Так и начал Барыба в свидетелях ходить у Моргунова. Дело нехитрое. С вечера, бывало, Моргунов начинит Барыбу: вот это-то, гляди, не позабудь, Василий-то Курьяков, купецкий сын, толстый-то этот, — он только руку поднял первый. А ударил первым мещанин, рыжий который, ну да, рыжий. А ты, мол, был у садового забора и самоглазно все видел.

А наутро стоял Барыба у мирового, приглаженный, степенный, ухмылялся иной раз: чудно уж очень все это. Рассказывал аккуратно, как научил Моргунов. Купецкий сын Василий Курьяков торжествовал, мещанина сажали в кутузку. А Барыба получал трешницу, пятишницу.

Семен Семеныч только и знал — Барыбу похваливал:

— Ты, брат, солидный очень, да и упористый, кряжистый. Тебя с толку не сбить. Скоро я тебя по уголовным брать стану.

И стал Барыбу с собою возить в соседний город, где палата была. Справил Барыбе длиннополый, вроде купецкого, сюртук. В сюртуке этом часами Барыба шатался по коридорам палаты, позевы-

вая и лениво ожидая своей очереди. Спокойно и деловито показывал — и никогда не путался. Пробовали, было, прокурор или там защитник сбить его с панталыку, да нет, куда: упрется — не сбить.

Хорошо заработал Барыба на завещании одном. Купец Игумнов помер. Почтенный был человек, семейственный, жена, девчушка. Рыбную торговлю держал, и все его в городе знали, потому что посты у нас очень строго блюдут. Руки у Игумнова у этого все, как есть, кругом в бородавках были. Говорили, что, мол, от рыбы: накололся об рыбьи перья.

Жил Игумнов, слава богу, как все. А под старость приключилась с ним история: бес в ребро. Окрутила его округ пальца дочерина учительница, ну, просто, гувернантка. Жену с девчонкой со двора согнал. Лошади, вина, гости, море разливанное.

Только перед смертью старик и очухался. Призвал жену с дочерью, прощенья просил и завещание на ихнее имя написал. А первое завещание у мадамы осталось, у гувернантки этой самой, и все в том завещании ей было отписано. Ну, и завязалось дело. Сейчас, конечно, Семена Семеныча за бока:

— Семен Семеныч, голубчик. Что не в уме он

второе завещание писал — обязательно это надо доказать. Свидетелей представить. За деньгами я не постою.

Думали-гадали Семен Семеныч с Барыбой. Покопался-покопался Барыба и вспомнил: видал как-то Игумнова, покойника — из бани он зимою выбежал и в снегу валялся. Дело у нас самое обыкновенное. А в таком сорте представили, что он зимой по улицам не в своем виде бегал. И свидетелей еще подыскали: что ж, правда, многие видывали.

И когда показывал это на суде Барыба, таково правильно все толковал и увесисто, как каменный фундамент клал — даже и сам поверил. И глазом не мигнул, когда игумнова вдова, в черном платочке на черничку похожая, поглядела на него очень пристально. А мадама после суда глазки ему сощурила:

— Вы прямо благодетель мой.

К ручке приложиться дала и сказала: «Заходите когда». Очень Барыба доволен был.

19. Времена

— Не-ет, до нас не дойдет, — говорил Тимоша уныло. — Куды там. Мы вроде как во град-Китеже на дне озера живем: ничегошеньки у нас не

слыхать, над головой вода мутная да сонная. А наверху-то все полыхает, в набат бьют.

А пущай бьют. Так у нас на этот счет говаривали:

— Это уж пусть себе они там в Вавилонах с ума-то сходят. А нам бы как поспокойней прожить.

И верно: как газеты почитать — с ума сходят. Почесть, сколько веков жили, Бога боялись, царя чтили. А тут — как псы с цепи сорвались, прости господи. И откуда только из сдобных да склизких вояки такие народились?

Ну, а у нас пустяками этими разными и некогда заниматься: абы бы ребят прокормить, ведь ребят-то у всех угол непочатый. Со скуки, что ли, кто их знает с чего, плодущий у нас народ до страсти. И домовитый по причине этого, богомольный, степенный. Калитки на засовах железных, по дворам псы цепные на рыскалах бегают. Чужого чтоб в дом пустить, так раза три из-за двери спросят: кто такой да зачем. У всех окна геранью да фикусами позаставлены. Так-то оно дело вернее: никто с улицы не заглянет. Тепло у нас любят, печки нажаривают, зимой ходят в ватных жилетках, юбках, в брюках, на вате стеганных, — не найти таких в другом месте. Так вот и живут себе ни шатко ни валко, преют, как навозец, в тепле.

Да оно и лучше: ребят-то, гляди, каких бутузов выхаживают.

Пришли к Моргунову Тимоша с Барыбой. Моргунов — с газетой сидит.

— Вот, министра-то ухлопали, слыхали или нет?

Тимоша улыбается — лампадку веселую зажег:

— Слыхали, как не слыхать. Идем это по базару, слышу, разговаривают: «Очень его даже жалко: поди ведь тысяч двадцать в год получал. Очень жалко».

Моргунов так и затрясся от смеху:

— Вот они, все тут, наши-то: тысяч двадцать… очень жалко… Ох уморил!

Помолчали, газетами пошуршали.

— А у нас — тоже Анютку Протопопову в Питере забрали, доучилась, — вспомнил Барыба.

Моргунов сейчас же привязался и пошел подзуживать — знал, как Тимоша о бабах понимает: связываться с ними в серьезном деле — все одно, что мармелад во щи мешать.

— В гости бабу еще — туда-сюда, пустить можно. А в себя уж — ни-ни, — Тимоша грозит сухоньким своим пальцем. — В себя пустил — пропал. Баба — она, брат, корни — вроде лопуха пускает. И не вывесть никак. Так лопухом весь и зарастешь.

— Лопухом, — смеется, громыхает Барыба.

А Моргунов кулаком стучит, орет неестественным голосом:

— Так их, Тимоша, так! А ну, прорцы еще, царю иудейский!

«И чего ломается, чего орет», — думал Барыба.

Правда, любил поломаться Семен Семеныч. Такой уж какой-то ненастоящий человек был, притворник, все-то подмигивает, выглядывает, с камешком за пазухой. И глаза — не то охальные, не то мученические.

— Пива нам, пива, пива! — орал Семен Семеныч.

Приносила на подносе ясноглазая Дашутка, свежая — ну вот сейчас после дождя травка.

— Новая? — говорил Тимоша и не глядел на Моргунова.

Менял их Моргунов чуть не каждый месяц. Белые, черные, тощие, дебелые. И до всех одинаково ласков был Моргунов:

— Что ж, все они одинаковы. А настоящей все равно не найти.

За пивом, глядишь, Тимоша завел уж о своем любимом, о Боговом, начал на Моргунова наседать с хитрыми вопросами: а коли Бог все может и не хочет нам жизнь переменить — так где же лю-

бовь? И как же это праведники в раю останутся? И куда же Бог денет этих убийц министровых?

Моргунов — не любит о Боге. Насмешник, наяный, а тут вот живо потемнеет, как черт от ладана.

— Не смей мне о Боге, не смей о Боге.

И говорит тихонько как-то, а жуть — слушать.

Тимоша доволен, смеется.

20. Веселая вечерня

Постом Великим все злющие ходят, кусаются — с пищи плохой: сазан да квас, квас да картошка. А придет Пасха — и все подобреют сразу: от кусков жирных, от наливок, настоек, от колокольного звона. Подобреют: нищему вместо копейки — две подадут; кухарке на кухню — пошлют кусок кулича господского; Мишутка наливку на чистую скатерть пролил — не выпорют для праздника.

Понятно, перепадало и Чернобыльникову, когда ходил он по домам, открытки расписные разносил и хозяев поздравлял с праздником. Где четвертак дадут, а где и полтинник. Насбирал Чернобыльников — и повел в чуриловский трактир приятелей; Тимошу, Барыбу да казначейского зятя.

Выцвел к весне Тимоша, общипанный ходит,

как осенний воробейчик, ветром шатает — а хорохорится, бодрится туда же.

— Полечился бы ты, Тимоша, ей-богу, — крушился Чернобыльников. — Гляди, какой стал.

— Чего лечиться-то? Все одно — помру. Да оно, по мне, и любопытно — помереть-то. Ну как же: всю жизнь в посаде кис, никуда, а тут — в неведомые страны спутешествовать, по бесплатному билету. Чать, лестно.

Знай себе посмеивается Тимоша.

— Ты бы не пил-то хоть так, вредно ведь тебе.

Нет, хоть ты что. Пьет, не отстает, по старому своему обычаю — пиво с водкой. И все в красный ситцевый платок покашливает: платчище себе завел — веретье целое.

— А это, — говорит, — чтобы в благородном месте на пол не харкать.

Ударили к вечерне. Старик Чурилов переложил серебро из правой руки в левую и перекрестился, истово, степенно так.

— Эй, Митька, получи! — крикнул Чернобыльников.

Вышли вчетвером. Веселится весеннее солнце, приплясывают колокола. Как-то и расходиться-то неохота, компанию разбивать.

— Эх, люблю я пасхальную вечерню, — зажму-

рил глаза Тимоша. — Плясовая, а не вечерня. Пойдем всем обчеством, а?

Барыба позвал в монастырь, благо он тут близко:

— А после вечерни к монаху одному знакомому чай пить сведу, — чудак такой.

Казначейский зять вынул часы:

— Никак нельзя, обещался к обеду, а у казначея опаздывать не принято.

— Ох, вот ушиб-то: не принято! — Тимоша засмеялся, закашлялся, полез за платком: нету. — Стой, ребята, платок наверху обронил. Сейчас сбегаю.

Взмахнул ручками, вспорхнул, — воробейчик.

Позванивают колокола веселые, идет нарядный народ к веселой пасхальной вечерне.

— Погоди-ка, орут наверху… чего там такое? — навострил Барыба большие свои нетопырячьи уши.

Казначейский зять скорчил мину.

— Опять, наверно, драка. Не умеют держать себя в обчественном месте.

Дз-зынь! — высадили вверху стекло, осколки его звоном — вниз. И сразу затихло.

— Ого, — прислушался Чернобыльников, — нет, тут что-то… И вдруг кубарем, красный, взлохма-

ченный, выкатился, задыхаясь, Тимоша.

— Там они… вверху… приказали. И все… подняли руки и стоят…

Тр-рак, тр-рак! — затрещало вверху.

Казначейский зять вытянул длинную шею и стоял секундочку, глядя вверх одним глазом, как индюк на коршуна. Потом закричал тонко и жалостно: стре-ля-яют! И пустился наутек.

А на лестнице загромыхали сапожищами, заревели, сыпались все сверху.

— И-и-и! Держи-и…

И опять: тр-рак, тр-рак.

На секунду: в дверях впереди всех — красное безглазое лицо.

«Должно быть, это со страху *он* закрыл глаза», — мелькнула мысль.

А он, безглазый, уж в переулочке напротив, уж сгинул. И следом сверху высыпались все как пьяные — дикие, распоясанные, гончие.

— Держи-и его! Не пуща-ай! Во-во-вот он!

Кого-то внизу у подъезда сграбастали, накинулись, притиснули, колотили — и все-таки ревели: держи-и, — так уж просто, нужно было вылиться через глотку.

Нагнувши голову, как баран, пробился Барыба вперед. Зачем-то это нужно было, чуял всем

нутром, что нужно, стиснул железные челюсти, шевельнулось что-то древнее, звериное, желанное, разбойничье. Быть со всеми, орать как все, колотить, кого все.

На земле, в кругу, лежал мальчишечка — чернявенький такой, с закрытыми глазами. У рубахи воротник сбоку разодран, на шее — черная родинка.

Старик Чурилов стоял в середине круга и пинал мальчишечку ногою в бок. Такая степенная, борода тут вся у него склочена, рот перекошен — куда вся богомольность девалась.

— Унесли! А, дьяволы? Убег один, со ста рублям убег! А, дьяволы?

И опять пинал. Из-за его спины тянулись к лежачему потные кулаки, но не смели: у Чурилова украли, он, стало, и хозяин тут, ему и бить.

Откуда-то вынырнул вдруг Тимоша, прямо перед носом у Чурилова-старика, — вскочил красный, злой и заклевал его, засыпал, замахал руками:

— Ты что ж это, хрыч старый, нехристь, злыдень? Убить мальца-то за сто целковых хочешь? Может, и убил уж? Гляди, не дышит. Дьяволы, звери, али человек-то и ста целковых не стоит?

Старик Чурилов сначала опешил было, а потом

окрысился:

— Ты что, заодно с ними? Заступник! Ты, брат, гляди. Тоже разговоры хорошие в трактире разводишь, люди-то слыхали. Держите его, православные!

Подошли было ближе, но замялись: все-таки Тимоша свой как будто, а эти были не нашенские. Так это, зря, наверно, старик…

Краснорожий, рыжий мещанин, маклак лошадий, по случаю праздника напялил бумажные манжеты. В свалке манжеты сползли вниз, между рукавом и белым торчали рыжие волосы, и еще страшней были его огромные руки.

Руки протянулись к Тимоше и легонько выпихнули его из круга. Рыжий мещанин сказал:

— Проваливай, проваливай, пока цел, заступник. Без тебя управимся.

И деловито начал обшаривать чернявенького мальчонку, переворачивая его, как тушу.

Куда уж там в монастырь идти — до того ли? Весь вечер у Тимоши просидел Барыба. Чернобыльников подошел попозже. И рассказал:

— Иду я, значит, по Дворянской… Слышу, на лавочке у ворот сидят и рассказывают: «А помогал, говорит, им наш же Тимошка-портной, вот пропащий-то человек».

— Дураки, — сказал Тимоша. — Сплетники. А Чурилову, злыдню, дьяволу, так и надо. Что ему от сотни — убудет? А они, может, два дня не ели?

Помолчал и прибавил:

— Ну, неуж и до нас дойдет? А коли бы дошло — ей-богу, в самый бы омут полез. Укокошат — ну туда и дорога, все равно — моей жизни полвершка осталось.

21. Исправниковы хлопоты

Ну, вот, не было печали, так черти накачали. Руки вверх, туда же, это у нас-то! А теперь хлопот у исправника Ивана Арефьича — не оберешься.

Понаехали из губернии, суд военный, — и все из-за какого-нибудь поганца-мальчишки. Председатель, полковник, худой, с седым бобриком, желудком страдал. Вот горя-то зазнал с ним Иван Арефьич! Того ему нельзя есть, другого нельзя — ну, сущая напасть. В первый раз, как приехали гости незваные, Иван Арефьич устроил завтрак на диво: бутылки на столе, коробки распечатанные, окорока, кулебяка. А полковник позеленел даже весь от злости. Туда-сюда вилкой ткнет, понюхает:

— Кажется, очень жирно.

И скиснет, и не ест. Исправничиха Марья Пет-

ровна вся исстрадалась:

— Ах, ради бога, полковник, что же вы не кушаете? — «Ну, уж и влетит, должно быть, теперь моему Ивану Арефьичу».

Зато прокурор-душа поддержал. Круглячок, лысенький, розовый, как поросеночек. В баню, наверно, раза два в неделю ходит. И все закатывается, хохочет и всего по два куска себе накладывает.

— Ну-ка, еще кулебяки-то — матушки. Только, знаете, по таким заплесневелым местам, вроде вашего посада, теперь на Руси и умеют по-настоящему, по-старинному, пироги печь…

А вечером у исправника в кабинете зажжены на письменном столе свечи (никогда в жизни не зажигались), разложены бумаги. Иван Арефьич пыхтит своей папиросой-пушкой и отгоняет дым в сторону: не дай бог, в полковника дым попадает.

Полковник перечитал бумаги и поморщился кисло:

— Что же мы, с одним с этим мальчишкой будем возиться? Когда от него ни полслова не добьешься. Ужасно обидно. На то вы и исправник, чтобы уметь разыскать.

На кровати сидя, сапоги стягивал Иван Аре-

фьич и все к исправничихе приставал:

— Уж я и ума не приложу, Маша. Подай им еще, одного мало. Да откуда я возьму, коли он убег? Да, вот что еще не забудь: полковнику завтра к двенадцати геркулесу на молоке, уварить хорошенько, да бутылку нарзану. Ох, боюсь я его, как бы не напакостил, злющий!

Марья Петровна записала:

— Геркулес… Нарзан… А ты вот что, Иван Арефьич, посоветовался бы ты с Моргуновым. Он пройда, он чего хочешь достанет, — ей-богу, попробуй.

Иван Арефьич зарубил себе это на носу и спал поспокойнее малость.

На площади перед полицией, перед желтыми облупленными стенами — базар. Поднятые вверх и связанные оглобли, лошади с привязанными мешками овса у морд, визгливые поросята, кадушки с кислой капустой, возы с сеном. Хлопают по рукам, торгуясь; зазывают звонко; скрипят телеги; кучер земского в безрукавке пробует гармонику.

А в исправниковом кабинете чинят допрос. Полковник с тоскою вслушивается в себя, внутрь: в животе глухо урчит. «Ах, Господи, целую неделю не было, а теперь опять, кажется…»

Старик Чурилов вошел, степенный, длиннополый, лунь седая. Перекрестился:

— Как было-то? Да вот как, ежели все по порядку…

Рассказал, утерся ситцевым платком. Постоял, подумал: «Хорошо бы нажаловаться на Тимошку-дерзеца, начальство, кажись, доброе».

— Вот еще, ваши благородия, есть тут портной Тимошка, — пропащий человек, дерзец. За мальчишку этого заступаться стал — за этого самого, какой стрелял-то. А я ему: ты, мол, из ихних, что ли? А он меня при всем при народе…

Старика отпустили. Прокурор потер мягкие потные ручки, расстегнул нижнюю пуговицу на мундире и сказал тихонько полковнику:

— Гм. Тимоша этот… Как вы думаете?

За окном торговались, кричали, скрипели. Полковник не выдержал:

— Иван Арефьич, да закройте окно! Голова трещит. Что за манера — базар перед самым кабинетом!

Иван Арефьич, на цыпочках, закрыл окно и позвал:

— Следующий.

Томно, жеманясь, рассказывал казначейский зять. Прокурор спросил:

— Так, значит, он вернулся в трактир, а потом опять выбежал? Ага? Ну, а платок? Вы о платке, кажется, что-то упоминали. Он за платком вернулся?

Казначейский зять вспомнил исплеванный красный тимошкин платок, кисло поморщился и сказал, гнусавя, с досадой:

— Какой платок? Я никакого платка не помню.

Как-то неприлично даже было и вспоминать-то ему об этом платке.

Барыба привычным нюхом шел за вопросами прокурора. И когда дошло до платка, он уверенно сказал:

— Нет, платка никакого не было. Сказал просто: дело наверху есть.

Когда отпустили Барыбу, прокурор хлебнул холодного чаю и сказал полковнику:

— Прикажете написать постановление о задержании этого самого Тимоши? По-моему, все эти показания… Я знаю, вы иногда чересчур осторожны, но тут…

У полковника в кишках схватывало, подкатывалось, и он думал:

«Черт знает! Эта исправничиха, толстая дура, что за провинциальная манера де-

лать все жирным…»

— Так я говорю, полковник…

— Ах, отстаньте, ради Бога! Пишите, что вам угодно. У меня ужасно живот болит.

22. Шесть четвертных

Как забрали Тимошу, никто даже и не удивился.

— Давно туда и глядел.

— Язык-то распускать он мастер был. Непочетник! О Боге-то все равно вон как об лавочнике Аверьяне разговаривал.

— И всюду, куда не следует, носом совался, обо всех судил. Скажи, пожалуйста, какая нашлась Маремьяна-старица — обо всех печалится.

А Моргунов сказал:

— Такие головы у нас недолго держатся. Вот мы с Барыбой поживем.

Похлопал Барыбу по спине и поглядел на него иконописными своими глазищами, не то презрительно, не то ласково: поди-ка у него разбери — притворник он.

Вечером в тот же день Семена Семеныча к себе пригласил исправник Иван Арефьич — на чашку чаю. И умолял Христом-Богом:

— Наставьте вы этого своего… как его там… на путь истинный. Ну да, Барыбу-то этого. Чтобы поопределенней как-нибудь на суде показал. Я ведь знаю, он у вас специалист, ну чего там, чего там, люди свои. Ей-богу, они мне всю шею отвертели, губернские эти, разделаться бы с ними — да и с колокольни долой. А уж этот полковник с своими привередами: то ему не так, это не эдак…

Поторговались, сошлись на шести четвертных.

— Ну, чего там мало — не мало. И этому… как его… местечко какое-нибудь можно, Барыбе этому устроить. Чего же еще лучше? Ну, писарем там, урядником…

А на другой день, за кронберговским пивом, Моргунов подходами всякими подходил к Барыбе, улещал его. Барыба все мялся.

— Да мы с ним вроде приятели были, чудно очень как-то, неловко.

— Эх, милый, нам ли с тобой стесняться да думать над чем-нибудь? С головою ведь увязнем, сгинем. Как это в сказке какой-то: оглянуться — помереть со страху. Так уж лучше без оглядки. Да оно ведь до суда-то еще и далеко. Коли оскомина будет — отказаться успеешь.

«А и правда, черт с ним, все равно чахотка там эта… А тут бы местишко еще если заполучить…

Что же, весь век, что ли, с хлеба на квас?» И вслух Барыба сказал:

— Разве что для вас только, Семен Семеныч. Кабы не вы — ни за что.

— Кабы не я… Да я, голубь, знаю, что без меня такого бы сокровища из тебя не вышло. Ни то бы, ни се. А теперь…

Он помолчал, потом вдруг нагнулся к Барыбину уху и шепотом:

— А тебе черти не снятся? А я каждую ночь во сне вижу, каждую ночь — понимаешь?

23. Мураш надоедный

Согласился, и к исправнику ходил, и исправник кучу целую денег дал и наобещал такого… Тут бы Барыбе и радоваться. А вот — нудило что-то, мешало. Какой-то вот комарик маленький, мураш, залез в нутро и елозит там, и елозит, и никак его не поймать, не раздавить.

Ложился спать Барыба и думал:

> «Завтра вечером. Значит, еще целый день до суда. Захочу вот, пойду и откажусь. Сам себе господин».

Спал и не спал. И все будто додумывал во сне

недодуманную какую-то мысль:

«Да и жизни-то всего в нем полверш-
ка».

И опять снилось уездное, экзамены, поп, засовывающий бороду в рот.

«Опять провалюсь, второй раз», — думал Барыба.

И додумывал:

«А мозговатый он был, – Тимоша, это
уж правду сказать».

«Почему „был“? Как же „был“?»

Совсем распялил в темноте свои глаза и не мог больше спать. Елозил мураш надоедный, томил.

«Почему „был“?»

24. Прощайте

Поздно уж, о полдень, проснулся Барыба в Стрелецкой своей комнатушке: все кругом было светлое, ясное, и таким простым все открылось, что нужно было на суде сделать. Будто ничего этого, что ночью томило, — ничего такого и не было.

Принесла Апрося самоварчик, ситный и стала у порога. Рукава засучены, левую ладонь — под локоть правой руки, а на правую руку немудрую свою голову положила. И слушать бы Анфима Егорыча, слушать, вот так стоять, ужахаясь, вздыхая жалобливо, покачивая головой сердобольно.

Кончил Барыба чай пить. Сюртук Анфиму Егорычу подала Апрося и сказала:

— Чтой-то весел ты нынче, Анфим Егорыч. Али деньги получать?

— Получать, — сказал Барыба.

На суде Тимоша — ничего, бодрился, вертел головкой, и шея у него была длинная, тоненькая, такая тоненькая — поглядеть страшно.

А чернявый мальчишечка совсем какой-то чудной был: осел весь, вроде как бы у него все кости стали вдруг мягкие, растаяли. Так и валился на сторону. Конвойный то и дело выправлял его и прислонял к стенке.

Барыба говорил уверенно и толково, но торопился: все же отсюда поскорее бы куда-нибудь уйти. Когда он кончил, прокурор спросил:

— Что же вы раньше-то молчали? Столько ценного материала.

Суд собрался уходить уж, как Тимоша вскочил вдруг и сказал:

— Да. Ну, так прощайте, все!

Никто не ответил.

25. Утром в базарный день

Утром, в веселый базарный день, перед острогом, перед местами присутственными — визг поросят, пыль, солнце; запах от возов с яблоками и лошадей; спутанный, облепленный базарным гамом колокольный звон — где-то идет крестный ход, просят дождя.

Исправник Иван Арефьич, в позеленелом мундире с папиросой-пушкой, довольный, вышел на крыльцо и сказал, строго глядя в толпу:

— Преступники понесли законное наказание. Преду-пре-ждаю вас…

В толпе, тихой, вдруг зашуршало, закачалось: как в лесу налетел ветер.

Кто-то скинул шапку и перекрестился. А в задних рядах, подальше от исправника, голос сказал:

— Висельники, дьяволы!

— Ты это про кого, про кого это, а?

Иван Арефьич круто повернулся и ушел. И сразу перед крылечком — как проснулись. Загамели все сразу, поднимались руки, всякому хотелось, чтобы его-то и услышали. Отмахивал саженки

рыжий мещанин.

— Врут, не повесили, — убежденно говорил он. — Немысленное дело: как это можно живого повесить? Да нешто он дастся, живой-то? Руками-зубами будет… А чтоб живой дал себе на шею вздеть — да нешто это мысленное дело?

— То-то вот и оно, образование-то, книги-то, — говорил старик из торговцев. — Тимошка-то, он не в меру умен был, Бога забыл, вот оно…

Рыжий мещанин злобно поглядел на старика сверху и увидел, что из ушей у него растут волосы, длинные и седые.

— Молчал бы, сам в гроб глядишь, — сказал рыжий. — Гляди, из ушей уж волосы выросли.

Старик повернулся сердито и, вылезая из толпы, бормотал:

— Развелись всякие… Кончилось в посаде старинное житье, взбаламутили, да.

26. Ясные пуговицы

Белый, ни разу не стиранный еще китель, серебряные солнышки пуговиц, золотые жгуты на плечах.

«Мать пресвятая! Неужели это правда? Балкашинский двор и все такое – а вот

теперь иду я, Барыба, в погонах?»

Пощупал: тут, есть. Ну, стало быть, правда.

От нотариуса, из подъезда с вывеской, вышел с сумкой почтальон Чернобыльников. Остановился, приглядывался. Отдал честь, балуясь:

— Господину урядничку.

А Барыба захолонул от гордости. Небрежно подбросил к козырьку руку.

— Давно произвели?

— Да вот, дня три. Китель только нынче кончили. Хлопот теперь — форму шить.

— Ва-ажно! Начальство, стало быть? Ну, честь имею.

Распростились. Барыба шел дальше: надо сегодня являться к исправнику. Шел и сиял, сытый собою, майским солнцем, погонами. И улыбался четырехугольной улыбкой.

У острога Барыба остановился, спросил у будочника:

— Иван Арефьич у себя?

— Никак нет, уехали на убийство.

И будочник, от которого когда-то прятался воровавший по базарам Барыба, — будочник вежливо козырнул.

Барыба даже и рад был, что исправник уехал на

убийство: походить бы еще по солнцу в новом кителе, и чтобы все козыряли. «Эх, хорошо жить на свете! И дурак же — чуть-чуть было не отказался». Сжимались железные челюсти, — разгрызть бы теперь какие-нибудь самые крепкие камушки, как бывало в уездном.

— Эге-э! Вот что! Вот когда к отцу-то пойти. Дурак старый — прогнал, а пусть-ка теперь поглядит.

Мимо чуриловского трактира, мимо пустых ярмарочных ларьков, по тротуару из прогнивших досок, а потом и совсем без тротуара, переулочком — по травке.

У обитой оборванной клеенкой двери — эх, старая знакомая! — остановился на минуточку. Почти что любил отца. Э, да что там, весь посад бы сейчас расцеловал: как же не расцеловать, когда в первый раз надет китель с погонами, с ясными пуговицами.

Постучал Барыба. Вышел отец. У-у, брат, постарел-то как! Седая щетина на щеках, спустил очки на нос, долго глядел. Узнал — не узнал, кто его знает — молчит.

— Чего надо? — буркнул.

Ишь, сердитый какой. Ну, не узнал, ясно дело.

— Ну, не узнаешь, старик? А прогнал-то меня,

помнишь? Однако теперь вот — видишь. Три дня, как произвели.

Старик высморкался, вытер пальцы о фартук и спокойно сказал:

— Слышал об тебе, слышал, как же. Добрые люди говорят.

Опять посмотрел поверх очков спокойно.

— И про Евсея, про монаха. И про портного тоже.

Запрыгала вдруг седая щетина на подбородке.

— И про портного, как же, как же.

И вдруг весь затрясся старик и завизжал, забрызгал слюной:

— Во-он из мово дому, вон, негодяй! Я т-тебе сказал, чтоб ты не смел к порогу мому приступать. Пошел во-он, вон!

Очумелый, вытаращил глаза Барыба и стоял долго, никак не мог понять. Когда прожевал, молча повернулся и пошел назад.

* * *

Мутнело уже на улице. Сумрачный ветерок потягивал из окна.

В чуриловском трактире за столиком, расставив ноги, руки в карманах, сидел Барыба, здорово уже нагрузившись. Бормотал под нос:

— Ну, и наплевать. Из-з ума выжил. Нап-плевать…

Но уже осело что-то на дне, замутило что-то. Не было веселого майского дня.

В уголку против Барыбы примостились у столика трое краснорядских приказчиков: один, пригнувшись, рассказывал что-то, двое слушали. И вдруг все трое грахнули, залились. Должно быть, что-нибудь уж очень чудное.

— А-а, так? А-а, ты так? Так я им, й-я им п-покажу всем, — бормотал Барыба под нос.

Глаза у него заплыли, щерился злой четырехугольный рот, напряглись жевательные железные желваки.

Приказчики опять весело грахнули.

Барыба вынул вдруг руку из кармана и постучал ножом по тарелке — пьяными, спотыкающими ударами.

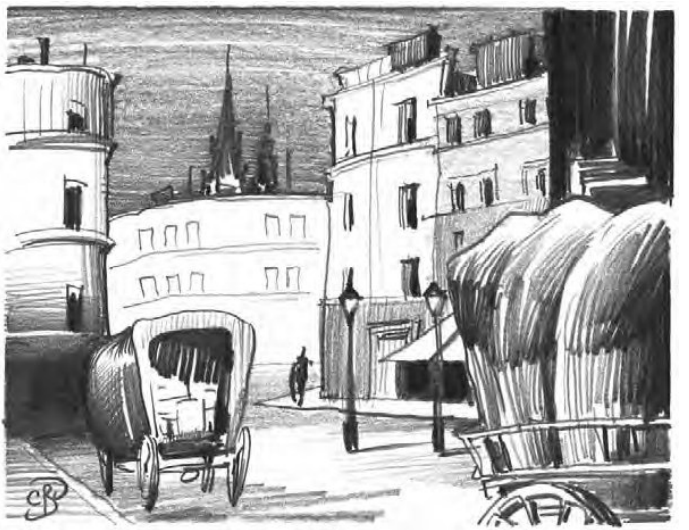
Подскочил половой, Митька — скугаревая башка, нагнулся, ухмыляясь одной щекой, обращенной к приказчикам, и выражая почтенье другой щекой — господину уряднику. Приказчики вытянули носы и слушали.

— Пс-слушай. С-скажи им, что й-я им, не п-пзво-ляю смеяться. Й-я им… У нас теперь смеяться с-стро-го не д-дозволяется… Нет, пс-стой, я сам!

Покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он встал и, громыхая, задвигался к приказчикам. Будто и не человек шел, а старая воскресшая курганная баба, нелепая русская каменная баба.

1912

Островитяне
Повесть



1. Инородное тело



Викарий Дьюли — был, конечно, тот самый Дьюли, гордость Джесмонда и автор книги «Завет Принудительного Спасения». Расписания, состав-

ленные согласно «Завету», были развешаны по стенам библиотеки мистера Дьюли. Расписание часов приема пищи; расписание дней покаяния (два раза в неделю); расписание пользования свежим воздухом; расписание занятий благотворительностью; и, наконец, в числе прочих — одно расписание, из скромности не озаглавленное и специально касавшееся миссис Дьюли, где были выписаны субботы каждой третьей недели.

Первое время, случалось, миссис Дьюли сходила с рельс и пыталась в неположенный день сесть к викарию на колени или заняться благотворительностью в неурочное время. Но всякий раз мистер Дьюли, с ослепительной золотой улыбкой (у него было восемь коронок на зубах) и с присущим ему тактом, объяснял:

— Дорогая моя, это, конечно, пустячное уклонение. Но вы помните главу вторую моего «Завета»: жизнь должна стать стройной машиной и с механической неизбежностью вести нас к железной цели. С механической — понимаете? И если нарушается работа хотя бы маленького колеса… Ну, да вы понимаете…

Миссис Дьюли, конечно, понимала. С книгой она опять надолго усаживалась у окна. Жила, тосковала между глав романа. Через год в зеркале

с удивлением видела новую морщинку у глаз: как, неужели — год? День и другой не могла читать. У окна, в странном ожидании, смотрела на улицу, на вылезающих из красного трамвая людей, на быстрые, распухающие облака. А мистер Дьюли, поглядывая на часы, занимался покаянием, физическим трудом, благотворительностью — и радовался: так стройно и точно работает машина.

К сожалению, ни одна машина не обеспечена от поломки, если в колеса попадает инородное тело. Так случилось однажды и с машиной викария Дьюли.

Было это в воскресенье, в марте, когда мистер Дьюли возвращался домой после утренней службы в церкви Сент-Инох. Жужжали велосипеды, мистер Дьюли морщился от их назойливых звонков, от слишком светлого солнца, от непозволительного галдежа воробьев.

Мистер Дьюли уже переходил через улицу к своему дому, когда вдруг из-за угла вывернулся красный автомобиль. Викарий остановился, по привычке своей — заложил руки назад и перебирал пальцами, как будто отсчитывал: во-первых, во-вторых, в-третьих. И на «в-третьих» увидел: перед мчащимся красным автомобилем

медленно шел субъект. Вероятно, это медленно — было не более полусекунды, но было именно так: медленно шел, и викарий успел запомнить громадные квадратные башмаки, шагающие, как грузовой трактор, медленно и непреложно.

Красный автомобиль крикнул еще раз, квадратные башмаки мелькнули в воздухе очень странно — и автомобиль стал. И тотчас остановилась вся улица.

Столпились и вытягивали головы: кровь. Бобби записывал хладнокровно номер автомобиля. Рыжий джентльмен из публики наседал на шофера, кричал и размахивал руками так, что казалось — у него было их, по крайней мере, четыре.

— Несите же в дом! — кричал четверорукий. — Чей это дом? Несите…

Тут только викарий Дьюли очнулся, ответил себе: мой дом, схватился за квадратные башмаки и стал помогать пронести раненого — мимо двери. Но маневр не удался.

— Хелло, мистер Дьюли! — крикнул четверорукий джентльмен. — Ваше преподобие, вы разрешите, конечно, внести его к вам?

Викарий радостно показал четыре золотых зуба:

— Ах, О'Келли, вы? Конечно же — несите. Эти

автомобили — это просто ужасно! Вы не знаете — чей?

Но О'Келли уже был где-то внутри, и перед викарием качались квадратные мертвые подошвы любителя прогулок под автомобилями. Викарий шел сзади и с тоской загибал пальцы:

— Завтрак. Две страницы комментариев к «Завету». Полчаса — в парке… Посещение больных…

Все это — погибло. Великая машина викария Дьюли остановилась. В запасной спальне светло-серый ковер закапали кровью, а на кровати, пустовавшей годы, водворилось инородное тело.

Сейчас должен был приехать доктор. Время завтрака — четверть второго — давно уж прошло, и викарий в библиотеке ломал голову над временным расписанием. Если, в самом деле, все передвинуть на три часа, то обед придется в одиннадцать вечера, а посещение больных — в час ночи. Положение было нелепое и безвыходное.

Когда господин викарий занимался в библиотеке, вход туда был, конечно, строжайше воспрещен. И если миссис Дьюли теперь стучала в дверь, — вероятно, произошло особенное.

— Понимаете, Эдвард, это же немыслимо… — Щеки у миссис Дьюли горели. — Там доктор, а Кембл не хочет раздеваться, скажите ему вы. Это

же просто немыслимо!

— Кто это — Кембл? Этот — наверху? — Викарий треугольно поднял брови.

«Этот наверху» — Кембл — лежал теперь, открывши глаза. Доктор промыл слипшиеся в крови светлые волосы. С головой оказалось благополучно, но из горла шла кровь, были какие-то внутренние повреждения, а Кембл упрямо отказывался снять пиджак.

— Послушайте, ведь вы же можете так… Бог знает что. Ведь надо же доктору знать, в чем дело… — Мистер Дьюли с ненавистью глядел на тяжелый, квадратный подбородок Кембла, упрямо мотавший: нет. — Послушайте, вы же, наконец, в чужом доме, вы заставляете всех нас ждать… — Мистер Дьюли улыбнулся, оскалив золото восьми злых зубов.

Подбородок дергался. Кембл побледнел еще больше:

— Хорошо. Я согласен, если так. Только пусть уйдет эта леди.

Викарий и доктор расстегнули пиджак мистера Кембла. Под пиджаком оказалась крахмальная манишка и затем непосредственно громадное, костлявое тело. Рубашки — не было. Это невероятно, но именно так: рубашки не было.

— Э? — вопросительно-негодующе поднял брови викарий и взглянул на доктора. Но доктор был занят: осторожно прощупывал правый бок пациента.

Внизу, в гостиной, викарий так и бросился на доктора:

— Ну что же? Ну как он?

— М-м… извиняюсь: неважно… — Доктор застегивал и расстегивал сюртук. — Два ребра, и может быть — кой-что похуже: извиняюсь. Дня через три выяснится. Надо бы его только не трогать с места.

— Как не тро… — хотел крикнуть мистер Дьюли, но тотчас же улыбнулся золотой улыбкой: — Бедный молодой человек, бедный, бедный…

Весь вечер мистер Дьюли бродил по комнатам, непристанный, и был полон ощущениями поезда, сошедшего с рельс и валяющегося вверх колесами под насыпью. Миссис Дьюли носилась где-то там со льдом и полотенцами, миссис Дьюли была занята. Опрокинувшийся поезд был предоставлен самому себе.

В половине двенадцатого викарий Дьюли отправился спать — или, может быть, не столько спать, сколько перед сном изложить свои соображения миссис Дьюли. Но кровать миссис Дьюли

была еще пуста.

Случилось это в первый раз за десять лет супружеской жизни, и викарий был ошеломлен. Лежал, вперив неморгающие, как у рыб, глаза в белую пустоту соседней кровати, создавались в пустоте какие-то формы. Била полночь.

И вышло очень странное: созданная из пустоты миссис Дьюли — отрицательная миссис Дьюли — подействовала на викария так, как никогда не действовала миссис Дьюли телесная. Вот немедленно же, сейчас же, нарушить одно из расписаний — немедленно же видеть и осязать миссис Дьюли…

Викарий приподнялся и позвал — но никто не откликнулся: миссис Дьюли была занята там, у постели больного, может быть — умирающего. Что же можно возразить против исполнения долга милосердия?

Тикали часы. Викарий лежал, аккуратно сложив руки крестообразно на груди, как рекомендовалось в «Завете Спасения», — и старался убедить себя, что спит. Но когда часы пробили два — автор «Завета» услышал самого себя, произносящего что-то совершенно неподходящее по адресу «этих безрубашечников». Впрочем, справедливость требует отметить, что тотчас же

автор «Завета» мысленно загнул палец и отметил прискорбное происшествие в графе «Среда, от 9 до 10 вечера», где стояло: покаяние.

2. Пенсне

Миссис Дьюли была близорука и ходила в пенсне. Это было пенсне без оправы, из отличных стекол с холодным блеском хрусталя. Пенсне делало миссис Дьюли великолепным экземпляром класса bespectacled women — очкастых женщин, — от одного вида которых можно схватить простуду, как от сквозняка. Но, если говорить откровенно, именно этот сквозняк покорил в свое время мистера Дьюли: у него был свой взгляд на вещи.

Как бы то ни было, совершенно достоверно, что пенсне было необходимым и, может быть, основным органом миссис Дьюли. Когда говорили о миссис Дьюли малознакомые (это были, конечно, приезжие), то говорили они так:

— А, миссис Дьюли… которая — пенсне?

Потому что без пенсне нельзя было вообразить миссис Дьюли. И вот однако же…

В суматохе и анархии, в тот день, когда в дом викария вторглось инородное тело, — в тот исторический день миссис Дьюли потеряла пенсне.

И теперь она была неузнаваема: пенсне было скорлупой, скорлупа свалилась — и около прищуренных глаз какие-то новые лучики, губы чуть раскрыты, вид — не то растерянный, не то блаженный.

Викарий положительно не узнавал миссис Дьюли.

— Послушайте, дорогая, вы бы посидели и почитали. Нельзя ведь так.

— Не могу же я — без пенсне, — отмахивалась миссис Дьюли и опять бежала наверх к больному.

Вероятно, потому что она была без пенсне — Кембл сквозняка в ее присутствии отнюдь не чувствовал, и когда у него дело пошло на поправку — охотно и подолгу с ней болтал.

Впрочем, «болтал» — для Кембла означало скорость не более десяти слов в минуту: он не говорил, а полз, медленно култыхался, как тяжело нагруженный грузовик-трактор на широчайших колесах.

Миссис Дьюли все старалась у него допытаться относительно приключения с автомобилем.

— … Ну да, ну хорошо. Но ведь видели же вы тогда автомобиль, ведь могли же вы сойти с дороги — так отчего же не сошли?

— Я… Да, я видел, конечно… — скрипели колеса. — Но я был абсолютно уверен, что он остановится — этот автомобиль.

— Но если он не мог остановиться? Ну, вот просто — не мог?

Пауза. Медленно и тяжело переваливается трактор — все прямо — ни на дюйм с пути:

— Он должен был остановиться… — Кембл недоуменно собирал лоб в морщины: как же не мог, если он, Кембл, был уверен, что остановится! И перед его, Кембла, уверенностью — что значила непреложность переломанных ребер?

Миссис Дьюли шире раскрывала глаза и приглядывалась к Кемблу. Где-то внизу вздыхал опрокинутый поезд викария. Приливали сумерки, затопляли кровать Кембла, и скоро на поверхности плавал — торчал из-под одеяла — только упрямый квадратный башмак (башмаков Кембл не согласился снять ни за что). С квадратной уверенностью говорил — переваливался Кембл, и все у него было непреложно и твердо: на небе — закономерный Бог; величайшая на земле нация — британцы; наивысшее преступление в мире — пить чай, держа ложечку в чашке. И он, Кембл, сын покойного сэра Гарольда Кембла, не мог же он работать как простой рабочий или

кого-нибудь просить, — ведь ясно же это?

— … Платили долги сэра Чарльза, прадеда. Платил дед, потом отец — и я. Я должен был заплатить, и я продал последнее имение, и я заплатил все.

— И голодали?

— Но ведь я же говорил, ясно же, не мог же я… — Кембл обиженно замолкал.

А миссис Дьюли — она была без пенсне — нагибалась ниже и видела: верхняя губа Кембла по-ребячьи обиженно нависала. Упрямый подбородок — и обиженная губа: это было так смешно и так… Взять вот и погладить: «Ну-у, миленький, не надо же, какой смешной…»

Но вместо этого миссис Дьюли спрашивала:

— Надеюсь, вам сегодня лучше, Кембл? Не правда ли: вы уже свободно двигаете рукой? Вот подождем, что завтра скажет доктор…

Утром приходил доктор, в сюртуке, робкий и покорный, как кролик.

— Что ж, натура, натура — самое главное. Извините: у вас великолепная натура… — бормотал доктор, смотрел вниз, в сумочку с инструментами, и в испуге ронял ее на пол, когда в комнату с шумом и треском вторгался адвокат О'Келли.

От ирландски рыжих волос О'Келли и от мно-

жества его размахивающих рук — в комнате сразу становилось пестро и шумно.

— Ну, что же, Кембл, уже починились? Ну, конечно, конечно. Ведь у вас, англичан, головы из особенного материала. Результат бокса. Вы боксировали? Немного? Ну вот, ну вот…

Напестрив и нашумев, только под самый конец О'Келли замечал, что у него расстегнут жилет и что пришел он, в сущности, по делу; владелец автомобиля готов был немедленно же уплатить Кемблу сорок фунтов.

Кембл не удивлен был нимало:

— О, я был уверен…

Он попросил только перо и бумагу и на узком холодновато-голубом конверте миссис Дьюли написал чей-то адрес.

Через два дня пришел ответ. И когда Кембл читал — миссис Дьюли опять вспомнила о пенсне: вдруг вот сейчас занадобилось пенсне, беспокойно обшаривала комнату в десятый раз.

— Надеюсь, вам пишут хорошее. Я видела — почерк женский… — Миссис Дьюли усиленно рылась в аптечном шкафчике.

— О да, от матери. Я писал о деньгах. Теперь она сможет устроиться прилично.

Миссис Дьюли захлопнула шкафчик:

— Вы не поверите — я так рада, так страшно за нее рада! — Миссис Дьюли была рада в самом деле, это было видно: на щеках опять был румянец.

За завтраком миссис Дьюли, глядя куда-то мимо викария — может быть, на облака, — вдруг неожиданно улыбнулась.

— Вы в хорошем настроении сегодня, дорогая… — Викарий показал две золотых коронки. — Вероятно, ваш пациент наконец поправляется?

— О да, доктор думает, в воскресенье ему можно будет выйти…

— Ну вот и великолепно, вот и великолепно! — Викарий сиял золотом всех восьми коронок. — Наконец-то мы опять заживем правильной жизнью.

— Да, кстати, — нахмурилась миссис Дьюли. — Когда же будет готово мое пенсне? Нельзя ли к воскресенью?

3. Воскресные джентльмены

К воскресенью в Джесмонде каменные пороги домов, как всегда, были выскоблены до белизны ослепительной. Дома пожилые, закопченные, но белые полоски порогов сверкали, как вставные зубы воскресных джентльменов.

Воскресные джентльмены, как известно, из-

готовлялись на одной из джесмондских фабрик и в воскресенье утром появлялись на улицах в тысячах экземпляров — вместе с воскресным номером «Журнала прихода Сент-Инох». Все с одинаковыми тростями и в одинаковых цилиндрах, воскресные джентльмены со вставными зубами почтенно гуляли по улицам и приветствовали двойников.

— Прекрасная погода, не правда ли?

— О, да, вчера была значительно хуже…

Затем джентльмены слушали проповедь викария Дьюли о мытаре и фарисее. Возвращаясь из церкви, каким-то чудом находили среди тысячи одинаковых, отпечатанных на фабрике, свой дом. Не торопясь обедали, разговаривая с семейством о погоде. Пели с семейством гимны и ожидали вечера, чтобы пойти с семейством в гости.

Утром в воскресенье, изумивши доктора, Кембл встал и отправился к матери. Миссис Дьюли весь день сидела у всегдашнего окна. Читать было нельзя; пенсне к воскресенью так-таки и не сделали.

«Ну, ничего, скоро сделают, и опять заживем правильной жизнью», — думалось словами викария, смотрела в окно, неслись быстрые, распухающие облака, и надо бежать за ними — так

было надо — не могла оторвать глаз.

— Послушайте, дорогая, но ведь там уже гости… — вбегал викарий, потирая руки. Он был в превосходном настроении: скоро опять начнется правильная жизнь.

Куда-то шла миссис Дьюли, с какими-то розовыми и голубыми дамами говорила о погоде, и все неслись и пухли облака. А викарий сиял золотом восьми коронок и развивал перед розовыми и голубыми идеи «Завета Принудительного Спасения» — что означало на его барометре максимум. В сущности, не было ли это совершенно ясно: если единичная — всегда преступная и беспорядочная — воля будет заменена волей Великой Машины Государства, то с неизбежностью механической — понимаете? — механической… И механически кивала в ответ чья-то круглая, как футбольный шар, голова.

Протрещал звонок. Облака сгустились, стали в полутемной передней — и из облаков вышел Кембл. Он был чисто выбрит (подбородок стал еще квадратней) и в смокинге, хотя и поношенном. И за ним появлялся у входа еще кто-то.

И когда кто-то появился — Кембл возгласил:

— Моя мать, леди Кембл…

Все разом обернулись и смолкли, как будто

случилось неловкое или неприятное, хотя ничего такого и не было. Потому что, если говорить о вечернем платье леди Кембл, то что же: платье было как платье, серого шелка, разве только чуть старомодное. Но все молчали.

Леди Кембл выступала медленно, и какая-то невидимая узда все время подтягивала ее голову вверх. Серо-желтые седые волосы, и в вырезе серого платья — шевелились мумийные, страшные плечи, и кости, кости… Так выпирает каркас в старом, сломанном ветром зонтике.

— Я очень рад, что мы имели случай… — почтительно начал викарий. — Это приключение с автомобилем послужило… — Викарий вглядывался в ее лицо: оно было самое обыкновенное, но было что-то…

— Мой покойный муж, сэр Гарольд, всегда высказывался против автомобилей… — Невидимая узда подтягивала голову все выше. — В их слишком быстром движении он находил положительно что-то невоспитанное…

Это было подмечено очень тонко: именно — невоспитанное. Викарий потирал руки:

— Совершенно с вами согласен, дорогая леди Кембл: именно — невоспитанное!

Да, это очевидно: им суждено стать друзьями…

Викарий всматривался в ее лицо: нет, ничего особенного как будто. Просто показалось.

— Я очень, очень рада, что миссис Дьюли так дружна с моим сыном. Не правда ли, так приятно смотреть на них? — Леди Кембл улыбалась.

И тотчас же викарий понял, что это были — *губы*. Бледно-розовые, тончайшие и необычайно-длинные, как черви, — они извивались, шевелили вниз и вверх хвостиками…

Миссис Дьюли оживленно о чем-то говорила и близко наклонила к Кемблу лицо: она была без пенсне.

— Пенсне еще не готово, знаете ли… — растерянно пробормотал викарий — черви ползли прямо на него — пятился — придумывал, что бы такое сказать. — Да… Вам мистер Кембл говорил: он получил предложение поступить к адвокату О'Келли. Конечно, не бог знает что, но на первое время…

— О, нужда, конечно, заставляет согласиться, а так… О'Келли! Ведь я прожила здесь уже год… — Леди Кембл улыбалась, черви вытягивались, в извивах нацеливались на добычу.

Викарий был уже спокоен. Он вновь был автором «Завета Спасения» и благосклонно показывал золотые коронки:

— … Единственная надежда — на благотворное влияние среды. Я не хочу приписать это себе, но вы знаете — прихожане Сент-Инох стоят на исключительной высоте, и я надеюсь, что мало-помалу даже О'Келли…

— О'Келли? Да, не правда ли, ужасно? — заволновались голубые и розовые дамы, и быстрее закивала футбольно-круглая голова. Футбольная голова принадлежала мистеру Мак-Интошу, а мистер Мак-Интош, как известно, знал все.

— О'Келли? Ну как же: за кулисами в «Эмпайре»… Рингтонистки? Ну ка-ак же! Четыре рингтонистки… — Мистер Мак-Интош, как мяч, мелькал из угла в угол — в смокинге и сине-желто-зеленой шотландской юбочке — мелькал голыми коленками. Мистер Мак-Интош занимал пост секретаря Корпорации Почетных Звонарей прихода Сент-Инох и, следовательно, был специалист по вопросам морали…

— Вы знаете, я бы таких, как этот О'Келли… — воодушевился Мак-Интош. Но, к сожалению, приговор его остался неопубликованным: обвиняемый явился лично, а приговоры суда по вопросам морали объявляются заочно.

— А мы только что о вас говорили. — Викарий показал адвокату два золотых зуба.

— Вероятно, изрядно успели *подьюлить*? — засмеялся О'Келли: он ввел в употребление глагол дьюлить и глаголом всякий раз огорчал викария.

— Если бы вы не опоздали, дорогой О'Келли, вы убедились бы лично. Но ведь вы по части аккуратности безнадежны…

— Я аккуратно опаздываю: это уже — аккуратность, — тряхнул рыжими вихрами О'Келли. Как всегда, он был растрепан, пиджак в каком-то пуху, одна пуговица совершенно неподходяще расстегнута. Голубые и розовые подталкивали друг друга, черви леди Кембл шевелились — и только, может быть, ничего не видела одна миссис Дьюли.

— … Итак, утром вы переезжаете в свои комнаты и, значит, сегодня — последнюю ночь у нас… — Миссис Дьюли озябло поводила плечами: вероятно, простудилась.

Кембл стоял молча, упористо расставив ноги. Миссис Дьюли взглянула в зеркало напротив — поправить прическу, мелькнуло золото волос — золото последних листьев. Она вздрогнула и засмеялась:

— А знаете: пусть будто вы еще больны, и я, как всегда, приду положить вам компресс на ночь?

— Но ведь я же не болен? — Кембл недоуменно

морщил лоб: грузовик-трактор ходил только по камню, тяжелые колеса увязали в зыбком «пусть».

Усаживались ужинать. Очень долго возился Мак-Интош: это была очень сложная операция — сесть так, чтобы не смялась его сине-желто-зеленая юбочка. Усевшись, мистер Мак-Интош глубокомысленно покивал футбольной головой:

— В сущности, это великая мистерия — еда, не правда ли?

Это было сказано прекрасно: мистерия. Великая мистерия протекала в молчании, и только в том углу, где сидел О'Келли, было рыже, пестро и шумно. О'Келли рассказывал про Париж, про какой-то надувной чемоданчик, купленный в Париже — специально для надувания английских законов.

— … Без багажа ведь с дамой у нас в гостиницу не пустят. И вот вы вытаскиваете из кармана, надуваете — пффф — и великолепный чемодан. В конце концов, роль закона не такая же ли, как роль ваших платьев, сударыни? Ах, извините, ваше преподобие…

Викарий треугольно поднял брови и уже в который раз поглядывал на часы: в расписании для воскресений в графе «сон» стояла цифра 11. И

кроме того, этот О'Келли…

Мистерия кончалась. Воскресные джентльмены с супругами торопились по домам.

Прощаясь с Кемблом у двери его спальни, миссис Дьюли засмеялась еще раз — свеча в руке дрожала:

— Так, значит, — компресс?

— Нет, я же здоров, следовательно — зачем же компресс? — Свеча освещала непреложный квадратный подбородок Кембла.

Миссис Дьюли быстро повернулась и пошла в спальню. Викарий уже спал, в белом фланелевом колпаке, крестообразно сложив руки на груди.

Утром за завтраком викарий увидел миссис Дьюли уже в пенсне — и положительно обрадовался:

— Ну вот — теперь я вас опять узнаю!

4. Высшая порода интеллекта

Контора адвоката О'Келли помещалась во втором этаже старого дома. В толстой каменной стене — окованная дверь с молотком, темная каменная лестничка наверх и одна ступенька вниз, наружу, в переулок Сапожника Джона. Переулок — узкое ущелье меж домов — только двум разойтись, и синяя полоска неба между стен вверху. В

старом доме жил когда-то свободолюбивый Сапожник Джон, упрямо державшийся лютеровой ереси и за это сожженный. Теперь сюда пришел работать мистер Кембл.

В первой комнатке стучали на ундервудах четыре барышни. О'Келли подвел Кембла к первой — и представил:

— Моя жена Сесили, она же Барашек.

С льняными волосами, с крошечным ротиком — она была правда как пасхальный барашек, перевязанный ленточкой. Кембл осторожно пожал ей руку.

Затем О'Келли познакомил с тремя остальными и о каждой сказал одинаково кратко-серьезно:

— Моя жена. Моя жена. Моя жена.

Кембл остановился с протянутой рукой, страдальчески наморщил лоб, и было слышно, как пыхтит тяжелый грузовик, не в силах стронуться с места. Моя жена — моя жена — моя жена… Посмотрел на О'Келли: нет, О'Келли был совершенно серьезен.

— Послушайте, да разве вы не знали: ведь я же — магометанин, — пришел на помощь О'Келли.

Кембл облегченно расправил лоб: теперь налицо были и малая, и большая посылка — полный силлогизм. Все становилось квадратно-просто.

— О, я всегда относился с уважением ко всякой установленной религии, — серьезно начал Кембл. — Всякая установленная религия…

О'Келли, красный, с минуту молча наливался смехом, потом лопнул, а за ним — все его четыре жены.

— Слушайте, Кембл… Ой, не могу! Да вы какой-то… Ох, Господи, надо же: он, ей-богу, поверил! Ну-у, голубчик, я-то вас живо выучу слушать вранье…

— Вранье? — Кембл сбился безнадежно. — Вранье? — Это было непонятное, ни в шутку, ни вправду — просто вообще непонятное, ну как может быть непонятна, непредставима бесконечность Вселенной. Кембл стоял убитый, столбяные ноги — расставлены.

— Послушайте, Кембл, будем же серьезны… — О'Келли стал серьезен, как всегда, если говорил несерьезно. — Не забывайте, что мы — высшая порода интеллекта — адвокаты, и поэтому — наша привилегия — лгать. Ясно же, как день: животные — представления не имеют о *лжи*; если вы попадете к каким-нибудь диким островитянам, то они тоже будут говорить только правду, пока не познают европейской культуры. Ergo: не есть ли это признак…

Все это было совершенно так. Но Кембл непреложно, квадратно был уверен, что это *не должно быть* верно, и потому в голове была сущая толчея. И он уже не слышал слов О'Келли, а только безнадежно огребал рукой лоб: так медведь огребает облепивших пчел…

В приемной ожидала адвоката какая-то молодая леди, подстриженная по-мальчишечьи, курила папиросу.

— А-а, Диди! Вы, деточка, здесь давно? Миссис Диди Ллойд, наша клиентка. Развод… — Адвокат обернулся к Кемблу, увидел его соображающий лоб — и опять понесся. — Я ей говорил: вступить сперва в пробный брак, но она непослушница… Не слыхали о пробном браке? Ну как же, ну как же, билль прошел в парламенте тридцать первого… ну да, тридцать первого марта.

Миссис Диди Ллойд смешливая — у ней дрожали губы. Кембл опять сбивался — верить или не верить, а О'Келли уже раскладывал перед ним бумаги.

— … Остались сущие пустяки. Разберитесь-ка вот.

Кембл поклонился очень официально: мальчишеские повадки и папироса миссис Диди Ллойд и нога на ногу — были не в его вкусе. Он уселся

за бумаги, а О'Келли расхаживал сзади, обсыпал пеплом жилет и вслушивался.

Бумага — это определенно. Туман в голове Кембла разбредался, по наезженному шоссе грузовик тащил кладь уверенно и быстро. О'Келли сиял и хлопал по плечу Кембла:

— Да вы молодчина! Я так и знал… Ломовичище вы эдакий…

Проходили клиенты. О'Келли уже позевывал: пора бы и обедать.

— Ну что ж: в ресторан? А оттуда — в театр? Нельзя? Ну да полно…

Дома к обеду ждала леди Кембл. Но у О'Келли, как всегда, нашлись какие-то вывороченные и неожиданные доводы, выходило, что иначе нельзя, — и Кембл послушно шел.

После бутылки романеи в театре чувствовалось Кемблу: он очень высокий — выше всех — и легкий. Так редко чувствовал себя легким — очень это удобно и смешно — и всему на сцене покатывался, как пятилетний…

Впрочем, и все так же радостно смотрели и так же пятилетне смеялись. Было очень забавно: господин с приклеенным носом и толстая бабища танцевали тустеп, затем поссорились из-за найденного шиллинга, и господин с носом бил

бабищу по щекам, а в оркестре бил барабан в такт. Потом девица, освещаемая попеременно зеленым и малиновым светом, играла на скрипке Моцарта. Потом какая-то в черном, тонкая, медленно плыла — танцевала в полумраке…

Один поворот — и Кемблу почудилось: узнал тонкое мальчишеское тело, подстриженные кудри… нет, не может быть! Но она уже была за экраном — экран ярко освещен — и ее тень постепенно сбрасывала с себя все, привычно-неспешно, чулки, подвязки, трико: был ее следующий танец — в красном.

— Миссис Диди Ллойд? — не отрываясь от экрана, спросил Кембл.

— Миссис… — передразнил О'Келли. — Ну да, конечно же — Диди.

О'Келли с любопытством, искоса, поглядывал на устремленного вперед Кембла: вот сейчас сдвинется грузовик-трактор и попрет, все прямо, через что попало…

Диди кончила красный танец — Кембл перевел наконец дух, и это вышло у него так шумно, из глубины, что сам испугался и огляделся кругом. Из ложи справа в темноте что-то на него блеснуло.

— Ну что, дружочек, понравилось, кажется? —

ухмыльнулся О'Келли.

Уже одетая — в пальто и шляпе — Диди через проход пробиралась к ним. Села рядом с О'Келли и, смешливо захлебываясь, что-то ему рассказывала на ухо.

Было неловко, что теперь она — одетая, и потом показалось: слишком громко смеется. Кембл отодвинулся, выставив подбородок, — уселся прямой, непреложный и упрямо слушал концерт на странном инструменте: одна струна, натянутая на швабре.

Зажгли полный свет. Диди повернулась к Кемблу:

— Послушайте, Кембл, правду говорит О'Келли, что вы никогда — что вы никогда… — взяла Кембла за руку и маленьким золотым карандашиком стала ему что-то писать на манжете.

«Что, если б моя мать…» — вспомнились Кемблу тончайшие извивающиеся губы, и он опять огляделся кругом, как будто леди Кембл могла быть здесь.

Но вместо леди Кембл — в ложе направо он увидел миссис Дьюли. Казалось, стекла ее пенсне блестели холодным блеском прямо на Кембла. Но это, очевидно, только казалось: блестя прямо на Кембла — миссис Дьюли не кланялась. Нет,

очевидно, она не видела.

5. О фарфоровом мопсе

Фарфоровый мопс обитал в № 72, в меблированных комнатах миссис Аунти. Постояльцы тут менялись каждую неделю — всякий раз, как в «Эмпайр» приезжало новое revue[14]. Всегда стояли облака табачного дыма; по ночам кто-то плескался и хохотал в ванной; до полудня были опущены шторы в спальнях. Но фарфоровый мопс Джонни нимало этим не смущался и с высоты каминной полки взирал на жизнь с всегдашней своей хладнокровной и знающей улыбкой. Мопс Джонни принадлежал Диди — и обратно: Диди принадлежала мопсу Джонни. Они были неразлучными друзьями. И тем досадней, что у Кембла как-то сразу и без всякой видимой причины установились неважные отношения с Джонни.

— Послушайте, Кембл, отчего вы не любите моего Джонни? Посмотрите, он такой прелестно-безобразный. И он такой верный. И с ним можно делать что угодно…

У Кембла на коленях разложены бумаги: очень трудная задача — уговорить Диди взять деньги,

---

[14] Примечания: 14
Ревю́, представление *(фр.)*

которые так любезно предлагаются ей мистером Ллойдом, бывшим мужем. У Кембла лоб собран мучительно.

— … Мистер О'Келли находил бы, что вам деньги надо взять. И я не понимаю — почему…

— Послушайте, Кембл, а вы не находите: Джонни похож на мистера О'Келли? Оба они одинаково безобразно-милые, и такие умные, и одинаково улыбаются. Но вот сядьте сюда — сбоку — посмотрите?

Прямой, несгибающийся, Кембл, как Будда, усаживался на ковер и сердито смотрел на Джонни. Но это было верно: мопс был — О'Келли, две капли воды. Медленно култыхаясь, и в самом смехе волоча какой-то груз, Кембл хохотал, раскатывался все больше, и уже Диди о другом — а его все не унять.

Оказывалось, что в Джонни есть нечто байроновское: в сущности — это до глубины разочарованное существо, потому и улыбается вечной улыбкой. Перед Джонни ставилась книжка в белом сафьяне — одна из немногих драгоценностей, которую Диди никогда не закладывала, — и Джонни читал, медленно и печально. Свет камина мерцал на мебели — лампы еще не зажжены; на полу белели забытые бумаги; отливал крас-

ным квадратный подбородок Кембла. Джонни читал…

Спохватывался Кембл, сердито вскакивал с ковра:

— Но все-таки должен же я сказать мистеру О'Келли, почему вы не хотите взять денег?

Белая книжка летела в угол, черная черта бровей вдруг зачеркивала мальчишеское лицо Диди — Диди кричала:

— Потому что я — я — я изменила мистеру Ллойду, поняли, нет? Почему изменила? Потому что была хорошая погода — и пожалуйста, убирайтесь со своими бумагами! Джонни в десять раз вас умнее, он никогда не спрашивает…

Наутро, в конторе, Кембл жаловался — с нависшей по-ребячьи, обиженной губой:

— Она просто не слушает… Все со своим мопсом…

О'Келли ухмылялся — как мопс:

— Эх вы… Кембл вы эдакий! Нынче же вечером волоките ее ко мне: мы с ней живо расправимся…

Вечер был очень тихий. Чинно и тихенько, радуя взор, стояли в палисадниках стриженные под нулевой номер деревья — ряды деревянных солдатиков. Вероятно, был какой-нибудь праздник

или просто специальная служба для детей: церковь Сент-Инох звонила, по одному перебирала колокола в одном и том же порядке — все вертели и вертели какую-то ручку, — и чинными рядами шли стриженые дети в белых воротничках.

Кембл и Диди остановились — пропустить шествие. Прошел последний беловоротничковый ряд, и из-за угла показался викарий Дьюли, сопровождаемый миссис Дьюли и секретарем Почетных Звонарей Мак-Интошем. Викарий шел как полководец, он вел беловоротничковую армию ко спасению математически верным путем. Медленно перекладывал за спиной пальцы — отсчитывал что-то.

Кембл чувствовал себя немного неловко: он не был у Дьюли с того самого воскресенья, надо что-нибудь… надо подойти и сказать…

— Вы извините — я только на минутку… — Кембл оставил Диди у церковного заборчика и медленно заколыхался навстречу Дьюли.

Упористо расставив ноги и смущенно глядя на квадратные башмаки, Кембл извинялся: ужасно занят у адвоката, как-то совершенно не было времени… Хрустально поблескивало пенсне миссис Дьюли, викарий сиял золотыми зубами и поглядывал искоса в сторону Диди: она стояла у

заборчика и поигрывала тросточкой Кембла.

— Великолепный вечер! — радостно засвидетельствовал Кембл. Страдальчески сморщился. Пауза…

Выручил Мак-Интош. Он был общепризнан человеком оригинальным и глубокомысленным. В эту минуту он внимательно смотрел себе под ноги:

— Я всегда думаю: какая великая вещь культура. Вот например: тротуар. Нет, вы вдумайтесь: тротуар!

И тотчас звонкий смех — все с ужасом обернулись: эта молодая особа с тросточкой смеялась. Эта молодая особа всегда была смешлива: теперь она опиралась на тросточку и тряслась, тряслась от смеха, трясла подстриженными кудряшками…

Дальше, в сущности, ничего не было особенного: просто миссис Дьюли обернулась и посмотрела на эту молодую особу — или, вернее, не на нее, а на церковный заборчик, к которому прислонилась особа. Миссис Дьюли посмотрела так, как будто эта особа была стеклянной, совершенно прозрачной.

Диди вспыхнула, что-то хотела сказать — что было бы уж, конечно, совершенно невероятно, —

но только вздернула плечами и быстро куда-то пошла…

А затем миссис Дьюли любезно протянула Кемблу руку — показалось, ее рука дрожит — или, может быть, это дрожала рука самого Кембла.

— До свидания, мистер Кембл. Все-таки надеемся скоро вас видеть… — И миссис Дьюли проследовала в церковь.

Это было неслыханно… У Кембла горели уши, во всю свою тяжелую прыть побежал за Диди, но она как провалилась сквозь землю: нигде ее не было…

Вечером, по окончании церковной службы, миссис Дьюли сидела с викарием в столовой и постукивала корешком книги:

— Ну что же — ваше принудительное спасение? Вы же видите, куда идет Кембл? На вашем месте я бы…

Викарий треугольником поднял брови: он положительно не узнавал миссис Дьюли, раньше она совершенно не интересовалась «Заветом Спасения». Викарий потирал руки: это хороший знак, это великолепно…

— Вы правы, дорогая, этим надо заняться. Конечно, конечно.

А в № 72 — камин покрывался пеплом, дерга-

лось, трепыхалось под пеплом последнее тепло. На ковре лежала Диди и с нею фарфоровый мопс Джонни. Безобразная морда мопса была вся мокрая. На пороге стоял Кембл, страдальчески сморщившись: он пришел сказать Диди, что поведение ее странно, по меньшей мере. И вот — нету слов или мешает что-то, спирается вот тут, в горле. В сущности, ведь это нелепо…

Кембл старался построить силлогизм.

6. Лицо культурного человека

Как известно, человек культурный должен, по возможности, не иметь лица. То есть не то чтобы совсем не иметь, а так: будто лицо, а будто и не лицо — чтобы не бросалось в глаза, как не бросается в глаза платье, сшитое у хорошего портного. Нечего и говорить, что лицо культурного человека должно быть совершенно такое же, как и у других (культурных), и уж, конечно, не должно меняться ни в каких случаях жизни.

Естественно, что тем же условиям должны удовлетворять и дома, и деревья, и улицы, и небо, и все прочее в мире, чтобы иметь честь называться культурными и порядочными. Поэтому, когда прохладные, серые дни прошли, и вдруг наступило лето, и солнце стало возмути-

тельно-ярким, — леди Кембл почувствовала себя шокированной.

— Это уже положительно что-то… Это Бог знает что! — Черви леди Кембл пошевеливались, высовывались, но необузданное, некультурное солнце все так же оскалялось во весь рот. Тогда леди Кембл делала единственное, что ей оставалось: спускала все жалюзи и водворяла в комнатах свет более умеренный и приличный.

Леди Кембл с сыном занимала теперь три комнаты: две спальни наверху и столовую внизу, окнами на улицу. Все было теперь слава богу. Этот случай с автомобилем леди Кембл понимала как явное милосердие Божие. Нет, что там: порядочных людей бог не оставит.

И вот — теперь все как полагается: и ковер, и камин, и над камином портрет покойного сэра Гарольда (тот же самый кембловский, квадратный подбородок), и столик красного дерева у окна, и на столике ваза для воскресных гвоздик. Во всех домах на левой стороне улицы видны были зеленые вазы, на правой — голубые. Леди Кембл на правой стороне, поэтому на столике у ней была голубая ваза.

По возможности, леди Кембл старалась восстановить тот распорядок, который был при

покойном сэре Гарольде. С утра затягивалась в корсет, к обеду выходила в вечернем платье. Купила за пять шиллингов маленький медный гонг, и так как хозяйка-старушка звонить в гонг не умела, то леди Кембл всегда звонила сама: снимет гонг со стены в столовой, выйдет в коридор, позвонит — и опять в столовую. Пусть даже завтракает одна — Кембл в конторе, — все равно позвонит: главное — порядок.

К несчастью, обед и завтрак подавал не лакей, а старушка миссис Тэйлор, трясучая и древняя. И чтобы это выходило хоть мало-мальски прилично, леди Кембл стала старушку уговаривать: за обедом чтоб прислуживала в белых перчатках.

— И что это за причуды такие, Господи! Моешь руки — моешь, и все им мало… — Старушка обиделась и даже всплакнула, но за два лишних шиллинга в месяц — наконец согласилась.

Теперь было все в порядке — и леди Кембл позвала О'Келли обедать: пусть видит, что имеет дело не с кем-нибудь.

Было очень много хлопот. На столе стояли цветы и бутылки.

Старушка Тэйлор выстирала свои белые перчатки. И только О'Келли…

Трудно поверить — но О'Келли явился на обед…

в визитке. Весь обед был испорчен. Черви леди Кембл развертывались, шевелились.

— Я так рада, мистер О'Келли, что вы по-домашнему. Впрочем, смокинг — при вашем складе лица…

О'Келли засмеялся:

— О, о своей наружности — я высокого мнения: она — исключительно безобразна, но она — исключительна, а это все.

Коротенький, толстый — он запыхался от жары, вытирал лицо пестрым платком. Рыжие вихры растрепались, четыре его руки непрестанно мелькали, он капал на жилет соусом и болтал без останову. Да, в сущности, Уайльд тоже был некрасив, но он подчеркивал некрасивое — и все верили, что это красиво. И затем: подчеркнутая некрасивость — и подчеркнутая порочность — это должно дать гармонию. Красота — в гармонии, в стиле, пусть это будет гармония безобразного — или красивого, гармония порока — или добродетели…

Но тут О'Келли заметил: невидимая узда поддернула желтую голову леди Кембл, бледно-розовые черви зловеще шевелились и ползли. О'Келли запнулся — и бледно-розовые черви тоже остановились. Говорить в обществе об Уайльде!

И если леди Кембл на этот раз пощадила О'Келли, то исключительно ради сына…

Старушка Тэйлор трясущимися руками в белых перчатках поставила ликер и кофе. Об этом ликере леди Кембл поразмыслила довольно. Но в конце концов решила отложить починку своих туфель на месяц. Без ликера было нельзя никак, так же как без гонга или перчаток миссис Тэйлор.

Два раза леди Кембл подвигала О'Келли ликер — и два раза О'Келли подливал себе шотландское виски. Все это вместе — и пестрые вихры, и ликер, и мелькающие в воздухе руки О'Келли — раздражало миссис Кембл. Черви куснулись:

— Вы, однако, оригинал: первый раз вижу человека, который с кофе пьет виски.

«Оригинал» — для леди Кембл звучало так же, как «некультурный человек», но мистер О'Келли был, по-видимому, слишком толстокож. Он секунду весело молчал — он даже и молчал весело — и потом вслух подумал:

— … Вот в этакую жару, должно быть, хорошо в одной шотландской юбочке щеголять!

К слову вспомнил и рассказал: с приятелем-шотландцем они ходили по Парижу — и парижские мальчишки в конце концов не выдержали,

улучили момент и подняли шотландцу юбочку — посмотреть, есть ли под ней что-нибудь вроде штанов, или…

Леди Кембл больше не могла — не могла. Разгневанно встала, пошла к двери и позвала с собой кипенно-белую кошку Милли:

— Милли, пойдемте отсюда… Милли, вам здесь нечего делать — зачем вы сюда — ваше молоко в коридоре…

Но испорченная Милли, по-видимому, была еще не прочь послушать рассказы О'Келли: она мяукала и упиралась. Леди Кембл нагнулась — выскочили ключицы и лопатки и еще какие-то кости — весь каркас разломанного зонтика. С Милли под мышкой леди Кембл проследовала в дверь.

Величественная и страшная в своем мумийном декольте, она появилась вновь только тогда, когда О'Келли загромыхал в передней, разыскивая палку (которой не приносил). Вместе с О'Келли вышел и Кембл.

Небо было бледное, подобранное, вогнутое, какое бывает в сумерки после жарких дней. Кембл пожимался: не то от прохлады, не то от тех неминуемых разговоров — о порядочности и непорядочности, какие будут завтра с леди Кем-

бл. Пожимался и все-таки шел вместе с О'Келли туда — в № 72. Главное, он был совершенно согласен с леди Кембл: в меблированных комнатах миссис Аунти — все было непорядочное, все было — не его, было шероховато и мешало, как мешал бы камень посреди асфальтовой джесмондской улицы, — и все-таки шел.

«Раз идет О'Келли… Надо же поддерживать с ним отношения…» — успокаивал себя Кембл.

В № 72, по обыкновению, горел камин. Диди сидела на ковре у огня: сушила, после мытья, кудрявые, по-мальчишечьи подстриженные волосы. На полу были разбросаны листки какого-то письма — и над ними улыбался мопс Джонни.

О'Келли чуть не наступил на листки — наклонился и поднял.

— Не трогайте! — со злостью закричала Диди. — Говорю вам — не трогайте! Не смейте трогать! — Брови сошлись над переносьем, исчезло мальчишечье лицо — было лицо женщины, опаленное темным огнем.

О'Келли сел на низенький пуф и затараторил:

— Нехорошо, нехорошо, деточка. Только что леди Кембл нам внушала, что лицо порядочного человека должно быть неизменно, как… как вечность, как британская конституция… И кстати:

слыхали ли вы, что в парламент вносится билль, чтобы у всех британцев носы были одинаковой длины? Что же, единственный диссонанс, который, конечно, следует уничтожить. И тогда — одинаковые, как… как пуговицы, как автомобили «форд», как десять тысяч нумеров «Таймса». Грандиозно — по меньшей мере…

Диди — не улыбнулась. Все так же держала листочек в руке, и все так же крепко, как сплетенные пальцы, — сдвинуты брови.

И не улыбался Кембл: что-то в нем накипало, накипало, било — и вот через край — и встал. Два шага к Диди — и спросил — тоном таким, какого *не должно* было быть:

— Что это за письмо такое? Отчего к нему уж и притронуться нельзя? Это — это… — говорил — и слушал себя с изумлением: не он — кто же?

И одну секунду слушала с изумлением Диди. Потом брови ее расцепились, она упала на ковер и захлебнулась смехом:

— О, Кембл, да, кажется, вы… Джонни, мопсик, ты знаешь — Кембл-то… Кембл-то…

7. Руль испорчен

Наконец-то оно кончилось — дело о разводе, и на Диди никто теперь не имел прав, исключая,

конечно, фарфорового мопса Джонни.

Событие праздновали втроем: О'Келли, Диди и Кембл. Обедали в отдельном кабинете, пили, О'Келли влезал на стул и произносил тосты, махал множеством рук, пестрело и кружилось в голове. Домой как-то не хотелось: решили поехать на бокс.

Такси летело как сумасшедшее — или так казалось. На поворотах кренило, и несколько раз Кембл обжегся об колено Диди. Такси летело…

— А знаете, — вспомнил Кембл, — мне уж который раз снится, будто я в автомобиле, и руль испорчен. Через заборы, через что попало, и, самое главное…

А что самое главное — рассказать не успел: входили уже в зал. Крутой веер скамей был полон до потолка. Опять было Кемблу тесно и жарко, обжигался, и будто все еще летело такси.

«Не надо так много пить…»

— Послушайте, Кембл, вы о чем думаете? — кричал О'Келли. — Вы слышите: сержант Смис, чемпион Англии. Вы понимаете: Смис! Да смотрите же вы!

Из двух противоположных углов четырехугольного помоста они выходили медленным шагом.

Смис — высокий, с крошечной светловолосой головой: так, какое-то маленькое, ненужное украшение к огромным плечам. И Борн из Джесмонда — с выдвинутой вперед челюстью: вид закоренелого убийцы.

— Браво, Борн, браво, Джесмонд! Сержант Смис, браво!

Топали, свистели, клокотали все двадцать рядов скамей, шевелилась и переливалась двадцать раз окрутившаяся змея — и вдруг застыла и вытянула голову: судья на помосте снял цилиндр.

Судья, поглядывая из-под седого козырька бровей, объявлял условия:

— Леди и джентльмены! Двадцать кругов по три минуты и полминуты отдыха после каждого круга — согласно правилам маркиза Квинзбэри…

Судья позвонил. Смис и Борн медленно сходились. Борн был в черных купальных панталонах, Смис — в голубых. Улыбнулись, пожали друг друга руки: показать, что все, что будет, — будет только забавой культурных и уважающих друг друга людей. И тотчас же черный Борн выпятил челюсть и закрутился около Смиса.

— Так его, Джесмонд! Вот это панч[15]! — закричали сверху, когда Борн отпечатал красное пятно на груди чемпиона Англии.

Двадцатиколечная змея обвивалась теснее, дышала чаще, и Кембл видел: шевелилась и вытягивалась вперед Диди — и он сам вытягивался, захваченный кольцами змеи.

Судья с козырьком бровей прозвонил перерыв. Черный и голубой — оба вытянулись на стульях, каждый в своем углу. Широко раскрыв рты — как выброшенные рыбы, спешили за полминуты наглотать побольше воздуху. Секунданты суетились, кропили им языки водой, махали полотенцами.

Полминуты прошло. Снова схватились. Смис улучил секунду — и тяжелый кулак попал Борну в нос, снизу вверх. Борн спрятал лицо под мышку к Смису и закрутился вместе с ним — спасти лицо от ударов. Из носа у Борна шла кровь, окрашивала голубые панталоны Смиса, крутились и барахтались два голых тела. И все судорожней вытягивалась змея — впитать запах крови, кругом топали и ревели нечленораздельное.

— … Поцелуй его, Борн, в подмышку, очень

---

[15] Примечания: 15
Удар кулаком *(англ.* punch*).*

вкусное местечко! — выкрикнул пронзительный мальчишеский голос.

Диди — раскрасневшаяся, взбудораженная — дергала за рукав Кембла. Кембл оторвался от помоста и посмотрел на нее — с ноздрями, еще жадно расширенными, и квадратным, свирепо выдвинутым подбородком. Он был новый, и какой-то маленькой показалась себе Диди. И… что хотела спросить? — забыла.

— Да смотрите же! — крикнул О'Келли.

Кончалось. Качался от ударов Борн, и медленно, медленно ноги его мякли, таяли, как воск, — и он гулко рухнул.

Джесмонд был побит — Джесмонд вопил:

— Неверно! Он ударил, когда Борн уже падал…

— Долой Смиса! Неправильно, мы видели!

Смис стоял, закинув маленькую головку, и улыбался: ждал, пока затихнут.

— … И еще улыбается! Что за наглость такая! — Диди горела и дрожала. Повернулась к Кемблу, чем-то колюче-нежным ужалила его локоть. — Была бы я, как вы, — сейчас же бы вот его пошла и побила…

Кембл на секунду посмотрел ей в глаза — и сбесившийся автомобиль вырвался и понес.

— Хорошо. Я иду. — Он двинулся к трибуне.

Было это немыслимо, *не должно* было быть, Кембл сам не верил, но остановиться не мог: руль был испорчен, гудело, несло через что попало, и… страшно или хорошо?

— Послушайте, не на самом же деле… Кембл, вы спятили? Держите же, держите его, О'Келли!

Но О'Келли только улыбался молча, как фарфоровый мопс Джонни.

Судья объявил, что мистер Смис любезно согласился на пять кругов с мистером Кемблом из Джесмонда. На помосте появилось громадное, белое тулово Кембла — и Джесмонд восторженно заревел.

Мистер Кембл из Джесмонда был выше и тяжелее Смиса, и все-таки с первого же круга стало ясно, что выходка его была совершенно безумной. Все так же улыбаясь, Смис наносил ему удары в бока и в грудь — только ухало гулко где-то в куполе. Но стоял Кембл очень крепко, упористо расставив столбяные ноги и упрямо выдвинув подбородок.

— Послушайте, О'Келли, ведь он же его убьет, ведь это же ужасно… — не отрывала глаз и бледнела Диди, а О'Келли только молча улыбался знающей улыбкой.

На третьем круге, весь в красных пятнах и в

крови, Кембл еще держался. В тишине чей-то восторженный голос сверху крикнул:

— Ну и морда — прямо чугунная!

В зале фыркнули. Диди негодующе оглянулась, но уже опять была тишина: начинался четвертый круг. На этом круге, в самом же начале, Кембл упал.

Диди вскочила, с широко раскрытыми глазами. Судья поглядывал из-под седого козырька бровей и отсчитывал секунды:

— Раз, два, три, четыре…

На последней секунде — на девятой — Кембл упрямо встал. Получил еще удар — и все поплыло, поплыло, и последнее, что увидел: бледное лицо Диди.

Смутно помнил Кембл: куда-то его везли, Диди плакала, О'Келли смеялся. Потом чем-то поили, заснул — и проснулся среди ночи. Светил месяц в окно, и ухмылялся в лицо Кемблу безобразный мопс Джонни.

Комната Диди. Ночью в комнате Диди… Бред? Потом медленно, сквозь туман, подумал: «Правда, нельзя же было везти домой — таким…»

Язык был сухой, пить страшно хотелось.

— Диди! — робко позвал Кембл.

С диванчика поднялась фигура в черной пи-

жаме:

— Ну, наконец-то вы! Кембл, милый, я так рада, я так боялась… Вы меня можете простить? — Диди села на кровать, взяла руку Кембла в свои горячие маленькие руки. Пахло левкоями.

Кембл закрыл глаза. Кембла не было — была только одна рука, которую держала Диди: в этой руке на нескольких квадратных дюймах собралось все, что было Кемблом, — и впитывало, впитывало, впитывало.

— Диди, я ведь пошел — потому что — потому что… — Захватило горло вот тут — и тяжесть такая — не стронуть с места.

Диди нагнулась, серьезная, девочка-мать:

— Смешной! Я знаю же. Не надо говорить…

Ужалила Кембла двумя нежными остриями — быстро клюнула в губы — и уже все ушло, и только запах левкоя, как бывает в сухмень, — едкий и сладостный.

Всю ночь фарфоровый мопс сторожил Кембла усмешкой и мешал ему думать. Кембл мучительно морщил лоб, рылся в голове. Там, в квадратных коробочках, были разложены известные ему предметы, и в одной, заветной, вместе лежали: Бог, британская нация, адрес портного и будущая жена — миссис Кембл — похожая на портрет

матери Кембла в молодости. Все это были именно предметы, непреложные, твердые. То, что было теперь, — ни в одну коробочку не входило: следовательно…

Но руль был явно испорчен: Кембла несло и несло, через «следовательно» и через что попало…

Утром Кембл проснулся — Диди уже не было, но ею пахло, и лежала на стуле черная пижама. Кембл с трудом поднялся, натянул вчерашний свой смокинг. Долго смотрел на пижаму и крепился, потом встал на колени, оглянулся на дверь и погрузил лицо в черный шелк — в левкои.

Диди пришла свежая, задорная, с мокрыми растрепанными кудрями.

— Диди, я думал всю ночь, — Кембл твердо расставил ноги, — Диди, вы должны быть моей женой.

— Вы так думаете? Должна? — затряслась Диди от смеха. — Ну, что ж, если должна… Только вы, ради Бога, лежите, доктор велел вас держать в постели… Ради Бога… Вот так…

8. Голубые и розовые

Бокс был в субботу, а в понедельник имя Кембла уже красовалось в «Джесмондской Звезде».

«Необычайный случай в Боксинг – Холле!

Боксер – аристократ.

Эстрада, где мы еще на прошлой неделе видели негра Джонса, впервые была украшена появлением боксера из высокоаристократической, хотя и обедневшей семьи…

Мистер Кембл (сын покойного Г. Д. Кембла) с удивительной стойкостью выносил железные удары Смиса, пока наконец на четвертом круге не пал жертвой своего опрометчивого выступления. Мистер Кембл был вынесен в бессознательном состоянии. Среди друзей мистера Кембла выделялась туалетом звезда „Эмпайра“ Д***».

В этот день в Джесмонде жизнь била ключом. О погоде почти не говорили — властителем умов был Кембл, говорили только о скандале с Кемблом. Останавливались около дома старушки Тэйлор и заглядывали в окна Кемблов, как бы ожидая некоего знамения, но знамения не появлялось. Тогда заходили к леди Кембл и с радостным видом выражали ей соболезнование.

— Ах, какой ужас, какой ужас! Но разве он так сильно пострадал, что нельзя было довезти к вам?

Черви миссис Кембл извивались.

— Бедная миссис Кембл! Вы даже лишены возможности навестить его! Ведь вы в *тот* дом не пойдете, не правда ли?

— А потом — *та* женщина! Дорогая миссис Кембл, мы понимаем…

Черви миссис Кембл вились и шипели на медленном огне. Голубые и розовые любовались; потом почему-то крутились около дома викария Дьюли — тонким нюхом чуяли что-то здесь; потом шли к *тому* дому и терпеливо смотрели в окно с опущенной занавеской, но занавеска не подымалась…



Впрочем, относительно дома викария Дьюли голубые и розовые ошибались: то, что там произошло, — были сущие пустяки. За утренним завтраком миссис Дьюли читала газету и нечаянно опрокинула чашку кофе — ведь это со всяким может случиться. Главное, что скатерть была постлана только в субботу — и только в следующую субботу полагалась по расписанию новая. Немудрено, что викарий был в дурном расположении духа и писал комментарии к «Завету Спасения», а миссис сидела у окна и смотрела на красные трамваи. Затем она отправилась в *тот* дом, спросила о чем-то хозяйку и немедленно пошла назад — быть может получивши ответ, что при мистере Кембле находится та женщина или что мистеру Кемблу значительно лучше. Но это, конечно, только предположения — и единственно достоверно, что ровно в три четверти первого миссис Дьюли была дома и ровно в три четверти первого начался второй завтрак: ясно, все обстояло благополучно.

Все шло согласно расписанию, и вечером у викария состоялось обычное понедельничное собрание Корпорации Почетных Звонарей прихода Сент-Инох и редакции приходского журнала. Было несколько розовых и голубых; был

неизменный Мак-Интош в сине-желто-зеленой юбочке; леди Кембл не пришла. Все сидели как на иголках, у всех на языке был Кембл — Кембл. Но с викарием очень-то не поспоришь: перед ним лежало расписание вопросов, подлежащих обсуждению, — семнадцать параграфов, — и уж нет, ни одного не пропустит.

— Господа, прошу внимания: теперь самый серьезный вопрос…

Это был вопрос о поднятии доходности «Журнала прихода Сент-Инох». Викарий только что приобрел для журнала серию «Парижских приключений Арсена Люпена». Впоследствии это, конечно, повысит тираж, но пока нужно возместить расход, нужны объявления, объявления и объявления.

— Мистер Мак-Интош, мы ждем вашей помощи!

Мистер Мак-Интош торговал дамским бельем, у него были прекрасные связи. Он быстро дал три адреса и старательно выискивал еще.

— Ба! — вспомнил он. — А резиновые изделия Скрибса?

Викарий поднял брови: здесь было одно серьезное обстоятельство.

— Мистер Мак-Интош, помните: мы ручаемся

за качество рекомендуемого. «Журнал прихода Сент-Инох» не может…

— О, за изделия Скрибса я ручаюсь… — горячо возразил секретарь Корпорации Почетных Звонарей. — Я самолично…

Но викарий остановил его — легчайшим, порхающим движением руки, каким в проповедях изображал он восшествие праведной души к небу. Изделия Скрибса были приняты; викарий записывал соответствующие адреса…

Поздно, когда ее уже перестали ждать, пришла леди Кембл. Как и всегда, голова была подтянута вверх невидимой уздой, и только лицо — еще мумийней, и еще острее вылезали кости — каркас сломанного ветром зонтика…

Как Божьи птицы голуби, слетевшиеся на зерна, розовые и голубые закрутились около леди Кембл: ну что? ну как?

Черви лежали недвижные, вытянутые — и наконец с трудом дрогнули:

— Я только думаю: что сказал бы мой покойный муж, сэр Гарольд…

Она подняла глаза вверх — к обиталищу Бога и сэра Гарольда, из глаз выползли две разрешенные кодексом слезинки, немедля принятые на батистовый платок.

Две слезинки почтены были глубоким молчанием. В стороне от всех миссис Дьюли мяла и разглаживала голубоватый конверт. Молчали: что же тут придумаешь и чем поможешь?

И вдруг вынырнула футбольная голова Мак-Интоша: он был, как всегда, незаменим.

— Господа, это тяжело, — но мы должны просить викария пожертвовать собой. Всякий, кто слышал вдохновенную проповедь викария на воскресной службе, поймет, что только каменные сердца могли бы… Господа, мы должны просить викария, чтобы он пошел в *тот* дом, и я уверен — мы уверены…

— Мы уверены! — подхватили розовые и голубые.

Прежде чем ответить, викарий сделал паузу и высморкался, что стояло у него в рубрике: искреннее волнение. Что же — он всегда готов на жертвы. Но уж если и это не поможет — тогда придется…

Миссис Дьюли мяла и разглаживала узкий конверт, озябло поводила плечами: вероятно, простудилась. В жаркую пору, знаете, это особенно легко.

Вокруг порхали, поклевывали розовые и голубые.

9. Хорошо-с

Диди встала позже, чем обычно, — было уже за полдень, что-то напевала и расчесывала перед зеркалом непослушные мальчишеские кудри. На ней была любимая черная пижама: корсаж разрезан до пояса и слегка стянут переплетом шнура, и сквозь черный переплет — розовое. В этом костюме и с подрезанными волосами — девочко-мальчик — она была как средневековый паж: из-за таких строгие дамы легко забывали рыцарей и так охотно выкидывали веревочную лестницу с балкончика башни.

В соседнем номере тяжело ворочался Кембл: третий день освободилась комната рядом с Диди — и третий день он здесь жил — или нет: куда-то летел на взбесившемся автомобиле, летел через что попало — летел как во сне. Впрочем, скоро все это кончится. Вот только заработать еще фунтов тридцать, и тогда можно будет снять один из тысячи одинаковых домиков — и снова под ногами будет твердо.

— Миленький Джонни, — беседовала Диди с фарфоровым мопсом, — уж ты, пожалуйста, на меня не сердись, если я немножко выйду замуж. Ведь ты меня знаешь? Ну, так и молчи, и улыбай-

ся, а теперь…

В № 72 стучали. Должно быть — Нанси из нового revue.

— Нанси? Войдите.

Дверь скрипнула, Диди вышла из-за ширмочки и увидела — викария Дьюли. Он вскинул вверх брови изумленными треугольниками, издал негодующий: ах! — и попятился к выходу в коридор.

— Я чрезвычайно извиняюсь — я думал, что уже раз больше двенадцати, когда уже все… — Он взялся за ручку двери, но за ту же ручку схватилась и Диди.

— Нет, нет, пожалуйста, не стесняйтесь, ради Бога — садитесь. Это мой обыкновенный утренний костюм — и не правда ли, очень милый фасон? Я так много о вас слышала — я очень рада, что вы наконец…

Что ж, надо было собой жертвовать до конца: викарий сел, стараясь не глядеть на обычный утренний костюм.

— Видите ли… Мисс?… Гм… Диди… Я пришел по поручению одной несчастной матери. Вы, конечно, не знаете, что значит иметь дитя…

— О, мистер Дьюли, но у меня есть… Вот мой единственный Джонни, и я его страшно люб-

лю… — Диди поднесла мопса к треугольно поднятым бровям викария Дьюли. — Не правда ли, какой милый? У-у, Джонни, улыбнись! Поцелуй мистера Дьюли, не бойся — не бойся…

Холодными улыбающимися губами Джонни приложился к губам викария. И вследствие ли неожиданности — или вследствие прирожденной вежливости, но только викарий ответил на фарфоровый поцелуй Джонни.

— О, какой вы милый! — Диди была в восторге, но викарий держался совершенно другого мнения. Он негодующе вскочил:

— Я зайду к вам, мисс… миссис, когда вы будете не так весело настроены. Я вовсе не расположен…

— О, мистер Дьюли, к несчастью — я, кажется, всегда весело настроена.

— В таком случае…

Мистер Дьюли отправился в соседний номер — к Кемблу. Здесь почва была более благодарная. Кембл выслушал всю речь мистера Дьюли, усиленно морщил лоб и кивал: да, да. Впрочем, иначе и быть не могло: речь викария была строго логическая, и он увлекал за собой Кембла, как по рельсам, — викарий торжествовал…

Но на последней станции неожиданно произо-

шло крушение, Кембл соскочил со стула.

— Мистер Дьюли, прошу вас не выражаться так о… о Диди, которую я просил быть моей женой.

— Же-женой? — Но тотчас же викарий оправился: — Но ведь вы же все время соглашались со мной, мистер Кембл?

— Да, соглашался, — мрачно кивнул Кембл.

— Так где же у вас логика, мистер Кембл?

— Логика? — Кембл сморщился, потер лоб — и вдруг, нагнув голову, как бык, пошел прямо на викария. — Да, женой! Я сказал — моей женой… Да! И простите — я… я хочу остаться один, да!

— Ах, так? Хо-ро-шо-с! — Викарий вышел с высоко поднятыми бровями, согласно рубрике: холодное негодование.

10. Электрический утюг

Был уже июнь. Деревья в парках, к сожалению, потеряли свой приличный, подстриженный вид: цвели олеандры, вылезали изо всех сил, как попало, в абсолютном беспорядке. По ночам заливалось птичьё, совершенно не считаясь с тем, что в десять часов порядочные люди отходили ко сну. Порядочные люди сердито хлопали окнами и высовывались в белых колпаках.

Впрочем, надо сознаться, анархический эле-

мент был даже и в Джесмонде, и этот элемент — происходившее одобрял всецело. Умудрялись избегнуть бдительного взора парковых сторожей и после десяти оставались в кустах слушать пение птиц. Кусты интенсивно жили всю ночь, шевелились, шептались, а месяц всю ночь разгуливал над парком с моноклем в глазу и поглядывал вниз с добродушной иронией фарфорового мопса.

Все это производило какую-то странную болезнь: и кусты, и жара, и месяц, и олеандры — все вместе. Диди капризничала и хотела неизвестно чего, и Кембл терялся.

— Жарко. Я не могу… — Диди расстегивала еще одну пуговицу блузы, и перед Кемблом мерно колыхались волны: белые — батиста, и еще одни — розовые, и еще одни, шумные и красные, — в голове Кембла.

Кембл старался занять Диди чем-нибудь интересным:

— … Знаете, Диди, на Кингс-стрит в окне я вчера видел электрический утюг. Такая прелесть, и всего десять шиллингов. Я думаю, нам уже можно бы начать обзаведение.

Но Диди даже и на это отзывалась очень вяло. Нет, она, кажется, больна.

Спускала шторы. Ложилась в кровать.

— Посмотрите, Кембл, у меня жар. Ну вот тут — ведь правда? Нет, глубже — сюда… — клала руку Кембла.

И опять весь Кембл собирался на нескольких квадратных дюймах руки и слышал, издали откуда-то: мерными толчками колыхалась кровь и рвалась наружу, минута еще…

Но у Кембла, слава Богу, руль опять в руках, и он твердо правит к маленькому домику с электрическим утюгом. Кембл вытаскивал руку.

— Да, кажется, жар. Это — ничего, просто — погода…

На камине — мопс Джонни и в окне — месяц с моноклем улыбались одинаковой улыбкой. Кембл сердито вставал и повертывал Джонни носом к стене.

— Нет, уж пожалуйста — уж пожалуйста… Лучше дайте его мне, — протягивала руки Диди.

Нырял месяц в легких батистовых облачках, тускнел и сейчас же опять усмехался, и в ответ — мерцало и менялось каждую секунду лицо Диди, сцеплялись и опять расцеплялись брови, думала, думала… А о чем теперь думать? Все квадратно-твердо впереди: и маленький домик, и сияющий белизною порог, и ваза для воскресных гвоздик — зеленая или голубая.

— Джонни, маленький мой Джонни, — обнимала Диди фарфорового мопса. — Поцелуй меня, Джонни. Так… еще. Еще! Еще!

Целовала мопса, и он становился все теплей, оживал. Душила его своими духами — сухим от бездождья, сладостно-едким левкоем. Топила насмешливую морду Джонни в белых и розовых волнах и называла его странными именами.

А Кембл сидел молча, упрямо выставлял месяцу каменный подбородок — и так был похож на портрет покойного сэра Гарольда.

О'Келли теперь редко заходил, но если заходил — то все такой же: заспанный, расстегнутый, злой и веселый. Кембл серьезно ему рассказывал:

— Двадцать фунтов уже есть. Еще тридцать — и на пятьдесят уж будет можно купить всю мебель…

— А без мебели — никак нельзя? — ухмылялся О'Келли.

— О, да, конечно — нельзя, — невозмутимо-серьезно отвечал Кембл. — И вовсе нечего смеяться: что тут смешного? Все совершенно логично.

— Ну, голубчик Кембл, на логике надо ездить умеючи, а то, чего доброго, разнесет.

И Бог знает к чему — рассказывал О'Келли про свою тетю Иву: на старости лет поперхнулась

умом и стала питья бояться — как бы не выпить какую бациллу. Бациллу не выпила — а от непития померла очень скоро.

Понемногу начала прислушиваться Диди, медленно расцеплялись брови, медленно просыпался смешливый паж. Вот подошел О'Келли к камину, взял мопса Джонни.

— Ну до чего он на меня похож, а? На него глядя — я мог бы без зеркала бриться…

Брови совсем расцепились — Диди хохотала.

— Это — просто гениально, если вы сами придумали. Ну, сознайтесь, сами — или нет? Ну — сознавайтесь! — трясла О'Келли, беспомощно болталась его голова, из кармана сыпались свертки.

— Ага, фисташки? Ага, устрицы? А шампанское есть?

Ну как же не быть. И на зеленом ковре начинался веселый пикник. О'Келли глотал устриц и закусывал англичанами. Ох уж эти англичане!

— … Праведны, как… как устрицы, и серьезны — как непромокаемые сапоги. Боже ты мой — англичане! Я бы всех их — лимонным соком — вот этак, вот этак… Ага, закопошились?

Потихоньку открывалась дверь — и появлялась Нанси. Она была наполовину ирландка, и поэто-

му О’Келли приветствовал ее особенно сердечно. А кроме того, она…

Нанси была в одной нежно-розовой рубашке и с мохнатой простыней в руках. С невиннейшим видом она обходила все комнаты и предупреждала:

— Пожалуйста, не выходите в коридор — я иду брать ванну…

Это было великолепно, смеялся даже Кембл. А он смеялся по-особенному: уже все перестали, и только он один вспомнит и опять зальется — раскатился тяжелый грузовик — не остановить никак.

Завернувшись в простыню, Нанси милостиво соглашалась до своей ванны принять участие в пикнике. Пенился и переливался через край О’Келли. Трясла Диди подстриженными кудряшками — проказливый девочко-мальчик, вытягивала губы, представляла, как викарий Дьюли поцеловал мопса.

И опять — все уже забыли, замолкли, а Кембл — вспомнит и засмеется. И уже один в своей комнате, все разошлись — а он опять вспомнит и засмеется.

Все тихо. Душная ночь, нечем дышать, накрыла с головой — как стеганым одеялом. Нет, не уснуть…

Диди брала с комода холодного мопса. Целовала его, пока он не становился теплым, живым. А Кемблу снился электрический утюг: громадный, сверкающий, ползет и приглаживает все, и не остается ничего — ни домов, ни деревьев, только что-то плоское и гладкое — как зеркало.

Любовался Кембл и думал: «И только ведь десять шиллингов!..»

11. Слишком жарко

Викарий Дьюли не упускал случая внедрить в сознание Джесмонда свой «Завет». В субботу он выступал на митинге Армии Спасения. Если государство еще коснеет в упрямстве и пренебрегает своими обязанностями, то мы, мы — каждый из нас — должны гнать ближних по стезе спасения, гнать — скорпионами, гнать — как рабов. Пусть будут лучше рабами Господа, чем свободными сынами Сатаны…

Речь была потрясающая, и джесмондская секция Армии Спасения решила взяться за дело немедленно, завтра же.

Это было воскресенье — сияющее, солнечное, жаркое. В половине девятого утра Армия Спасения тронулась из штаб-квартиры. Со знаменами, гимнами, барабанным боем, мерным военным

шагом двести воинов Армии Спасения прошли по городу. И у каждой двери длинная, строгая женщина-офицер, в синей лопоухой шляпе, останавливалась и колотила молотком:

— Господин Христос призывает вас в церковь! Хелло! Господин Христос призывает вас… Хелло, хелло! — колотила до тех пор, пока внутри не просыпались, не начинали выглядывать изумленные лица.

Церковь Сент-Инох сегодня была полна. Викарий вернулся домой счастливо-утомленный. За ним почтительно следовал секретарь корпорации Почетных Звонарей Мак-Интош, восхищенно покачивая головой: какое красноречие, какая неистощимая энергия!

— Итак, дорогой Мак-Интош, сегодня — ваша очередь, — прощался с ним викарий. — Пусть это — тяжелая обязанность, но это — обязанность.

Мистер Мак-Интош отправился гулять. Он выбрал для прогулки не очень живописное место: ту улицу, где помещались меблированные комнаты миссис Аунти. По-видимому, иногда ему приходили в голову странные фантазии.

А викарий, позавтракав, уселся в кресло. Было очень жарко. Сквозь верхние граненые стекла в столовую сыпались десятки маленьких отра-

женных солнц. Викарий любовался: удобные, портативные и неяркие солнца. Сидя задремал: это входило в воскресное расписание. Лицо и во сне хранило выражение изысканно-вежливое; все было готово, чтобы в любой момент открыть глаза и сказать: прекрасная погода, не правда ли?

Армия Спасения не пощадила, конечно, и артистических меблированных комнат миссис Аунти, переполошила обитателей ни свет ни заря. Обитатели не выспались, громче, чем нужно, хлопали дверью и громче, чем нужно, плескались в ванной.

Диди вышла к завтраку со сжатыми бровями. За завтраком с некоторым изумлением, как будто видя в первый раз, — внимательно оглядела Кембла, хотя он был такой же, как всегда: громадный, непреложный, прочный.

Чтобы поскорее добрать нехватающие тридцать фунтов, Кембл брал теперь частную работу на дом. Тотчас же после кофе он отстегнул манжеты и отправился в свою комнату заниматься.

Сдвинувши брови, Диди сидела рядом и гладила мопса. Солнце поднялось и назойливо стучало в окно. Кембл встал и задернул шторы.

— А я хочу солнца, — вскочила Диди.

— Но, дорогая, ведь вы знаете, я работаю для того, чтобы мы могли скорее начать покупку мебели — и затем…

Диди вдруг засмеялась, не дослушав, и ушла к себе. Поставила мопса на камин, посмотрела в очаровательно-безобразную морду.

— Как ты думаешь, Джонни?

Джонни явно думал то же самое. Диди стала поспешно прикалывать шляпу…

А через десять минут — взволнованный блестящим успехом своей прогулки Мак-Интош стоял перед миссис Дьюли.

— Нам надо поехать в Санди-Бай, — таинственно подчеркивал он «надо».

Пенсне миссис Дьюли на секунду вспыхнуло нехрустально:

— Вы — вы уверены?

Мистер Мак-Интош только обиженно пожал плечами и взглянул на часы:

— Нам до поезда семь минут.

Второпях миссис Дьюли задела рукавом пенсне, пенсне упало. Миссис Дьюли прочнее укрепила пенсне и снова стала миссис Дьюли. Теперь можно ехать.

… Не было спасения от солнца и в Санди-Бай: слепило, кипятило кровь, кипел и бился пенно-

белый прибой.

О'Келли и Диди лежали на горячем песке. Вероятно, от солнца — у Диди в висках стучало, и, вероятно, от солнца — О'Келли с трудом подыскивал слова.

— Слишком жарко. Давайте купаться, — устала Диди.

Бледно-желтый от зноя песок. Яшмово-зеленые, с белокипенной оторочкой, шипучие волны. Прыгающие на волнах головы в оранжевых, розовых, фиолетовых чепцах. Приглушенные волнами солнце и смех.

Вода освежала, не хотелось выходить из воды. Диди говорила себе: «Нет, только выкупаемся — и сейчас же вернемся домой…»

Но волны уносили все дальше. Набегали, подхватывали, крутили, и так хорошо не бороться, не думать, покоряться…

Над водой видна была только голова О'Келли — безобразная, усмехающаяся голова мопса. Выкрикивал что-то плохо слышное в шуме волн:

— … всю ночь… хорошо?

Диди — слышала она или нет? — кивала головой… Когда после купанья вошли в кафе пообедать — О'Келли за одним из столиков увидал миссис Дьюли и с ней футбольную, глубокомыс-

ленную голову Мак-Интоша. О'Келли подбежал к ним:

— Вы? Какими судьбами вы — здесь? Я так рад, миссис Дьюли, что вы обызвествились еще не совсем…

— Обызвествилась?

— Да, я только что вот рассказывал… своей даме. Через несколько лет любопытный путешественник найдет в Англии обызвествленных неподвижных людей, известняк в форме деревьев, собак, облаков… Если не случится до тех пор землетрясения или чего-нибудь такого…

Пенсне миссис Дьюли холодно блестело. Она с усмешкой поглядывала на какой-то странный сверточек с ручкой: сверточком О'Келли оживленно размахивал.

— Это и есть, мистер О'Келли, ваш знаменитый надувной чемодан?

О'Келли немного смутился — на четверть секунды.

— О, вы знаете: хороший охотник без ружья не выйдет. Просто по привычке… Так вы в пять часов? Я надеюсь, в поезде встретимся, если не опоздаю.

— Буду очень рада. — Стекла миссис Дьюли сверкали.

Неаккуратность О'Келли хорошо известна: к пятичасовому О'Келли, конечно, опоздал.

12. Рождение Кембла

Сразу спала жара, стоял молочный, мокрый туман. Особенно слышно было ночью: о подоконник чмокали неумолчно отчетливые капли, как часы, отбивали кем-то положенный срок.

И когда этот срок настал, — а случилось это как раз в день рождения Кембла, — было получено письмо в узком, холодновато-голубом конверте. Письмо было без подписи.

> «Милостивый Государь, будучи Вашими друзьями, мы не можем не осведомить Вас, что известные Вам мистер К. и миссис Д. дурно пользуются Вашим доверием, в чем Вы будете иметь случай достоверно убедиться».

Голубоватый узкий конвертик был чем-то знакомый, и, подумавши, Кембл вспомнил. Все это было очень просто и ясно: чистейшая выдумка, Кембл уверен был непреложно.

И все-таки — шел в контору, и было как-то нехорошо: будто выпил чашку чаю и увидел на

дне муху, муху выкинул, но все-таки… А может быть — это просто от тумана: душный, как вата, и, закутанные, странно звучат шаги — как будто кто-то неотступно идет сзади.

В конторе О'Келли встретил Кембла шумно и радостно — был еще шумней и пестрей, чем всегда. Оказалось, О'Келли не забыл, что сегодня — день не простой, а день рождения Кембла, и готовил Кемблу какой-то подарок, а какой — обнаружится вечером. И затем Сесили — с улыбкой пасхального барашка поднесла Кемблу букет белых лилий. Кембл прямо растрогался.

А когда вернулся домой, его ждал еще один подарок: Диди сама — сама! — предложила пойти по магазинам и начать те покупки. И Кемблова муха без следа исчезла.

— Утюг… — засиял Кембл. — Нет, сначала утюг, а уже потом…

— Утюг — тяжелый, надо под конец, чтобы не таскать его все время, — резонно возражала Диди.

Но Кембл настоял на своем, купили утюг, и Кембл радостно его таскал, и вовсе не было тяжело: легонький, как перышко, честное слово.

Зажигались огни, густел туман. Это был день рождения Кембла — настоящего рождения, на-

чиналась новая жизнь. И новый был Джесмонд в тумане — невиданный, незнакомый город. Необычно и весело звучали шаги — будто кто-то неотвязно ступал, сторожил сзади.

И еще непременно хотел Кембл купить белья для Диди. Диди отнекивалась, но Кембл и слышать не хотел: нынче — день его рождения.

— Для вашей жены?

— Нет… То есть… — Кембл смущенно улыбался приказчику.

Прозрачные, шелковые — тело через них должно нежно розоветь — сорочки и панталоны. Было радостно-стыдно перевертывать и разглядывать все это вместе с нею, с Диди. С каждой новой купленной вещью Диди все больше становилась его женой.

Уши у Кембла горели, и он заметил: Диди прятала лицо. Кембл засмеялся.

— Ну же, Диди, будьте же храброй: посмотрите на меня… — Хотелось видеть и у ней тот же сладкий стыд. Но Диди лица так и не показала.

Вечером заявился О'Келли с массой свертков и в сопровождении мисс Сесили.

— … Чтобы было как в Ноевом ковчеге, — объяснил О'Келли. Повернулся к камину — и всплеснул руками: на камине, рядом с мопсом Джонни

— красовался сверкающий утюг. — Рядом с Джонни? — с укором посмотрел он на Диди.

Потом обернулся к Кемблу:

— Итак, решено: «я твой навеки» — не правда ли, Кембл? Что касается меня, то я просто глуп: никогда не мог понять, как можно одну и ту же любить каждый день — как можно одну и ту же книгу читать каждый день? В конце концов — это должно сделать малограмотным…

На Диди шампанское сегодня действовало странно: она сидела у стола, вытаскивала из блокнота листки почтовой бумаги и с наслаждением разрывала их на мелкие кусочки. Сесили — та раскраснелась от вина и боролась с О'Келли из-за четвертой пуговицы: три пуговицы на блузке она позволила расстегнуть, но четвертую…

— Нет, это неприлично, — с серьезной и невинной физиономией пасхального барашка отвечала Сесили.

— Но отчего же именно четвертую неприлично? — хохотал О'Келли. — Отчего же три было можно?

Диди все еще рвала бумагу. О'Келли отобрал у ней блокнот и попросил тишины. Главное, на что он хотел бы обратить внимание слушателей, — была почтовая бумага с линейками. На

иной бумаге — в Джесмонде писем не пишут, и это очень хорошо, так как линейки — те же самые рельсы, а мысль в Джесмонде должна двигаться именно по рельсам и согласно строжайшему расписанию. Мудрость жизни — в цифрах, а потому он приветствует трехпуговичную мораль обожаемой Сесили. И так как он, О'Келли, и никто другой, был Змием, соблазнившим Кембла сойти с рельс прихода Сент-Инох, то…

О'Келли вытащил чек на пятьдесят фунтов и протянул Кемблу:

— … Чтобы вы могли завтра же купить все свои остальные утюги…

И так как Кембл колебался, О'Келли добавил:

— Разумеется, взаймы. И я требую, чтобы вы сегодня же — сейчас же — написали мне вексель. Ну?

Это было головокружительно хорошо: значит — хоть завтра же… Руки у Кембла дрожали, и голос дрожал:

— Я не умею говорить, как вы, О'Келли… Но вы понимаете… Вы мой единственный друг, который — единственный…

И теперь — это было совершенно нелепо — Диди захохотала — и все выше и громче — сорвалась — и сквозь слезы:

— Не смейте брать, Кембл! Не смейте брать у него деньги! Не смейте, я не хочу, не хочу!

Впрочем, скоро она успокоилась и затихла. Вероятно, это был просто каприз: никаких резонов — почему не хотела — Диди сказать не могла.

— Вот видите: ваше шампанское, — укоризненно-ласково сказал Кембл мистеру О'Келли, О'Келли уходил с пасхально-барашковой Сесили под руку.

День рождения Кембла кончился — и завтра начнется новая жизнь: завтра искать маленький домик.

13. Туманные приключения

Диди опять обещалась зайти к мистеру О'Келли после театра, и О'Келли бегал по цветочным магазинам, разыскивая Easter Lylies: Диди их так любила. Странный, фарфорово-белый цветок, из одного громадного, небрежно свернутого лепестка, и высунуто жало-тычинка с сухим, сладким, ленивым запахом. В асимметрии цветка и в противоречии фарфоровой белизны и запаха — было что-то раздражающее, как в о'келлиевской манере говорить. Словом — Easter Lylies нравились Диди, и надо было их во что бы то ни стало достать. Сезон их уже проходил. И только

на Кингс-стрит О'Келли посчастливилось найти последние, уже слегка увядающие, из пожелтевшего старого фарфора.

Со свертком под мышкой, насвистывая, выбежал О'Келли из магазина. Мысли весело пенились шампанским, и из искристой пены, как Венера, выходила Диди в черной пижаме.

«Впрочем, нынешняя Венера такой и должна быть: в пижаме. Нагота — слишком уж добродетельна…» — насвистывая, размышлял О'Келли.

— Добрый вечер, дорогой мистер О'Келли! Не правда ли, прекрасная погода?

О'Келли споткнулся: перед ним сияли золотые зубы викария Дьюли.

— Вы, вероятно, к себе — в контору? — чуть приметно улыбнулся Дьюли.

— То есть… почему в контору? — О'Келли немного смутился: никто не знал о том, что делалось по вечерам в конторе, и это было очень странно, что Дьюли… — Я не настолько ослино трудолюбив, чтобы работать еще и по вечерам… — непринужденно засмеялся О'Келли.

— А-а, так-так. Так, значит… — Дьюли поднял тарелкообразную, пасторскую шляпу.

И О'Келли снова весело покатился, придерживая под мышкой сверток с цветами.

Когда О'Келли свернул на Хай-стрит, уже темнело. В бесчисленных ущельях узких переулков между старыми домами — зажигались, покачивались фонари. С реки плыл туман, все теряло свой ежедневный облик, и легче было жить — легче было обмануться. В кузнице лязгало железо, фонари красновато дымились — и можно было поверить, что внизу, у реки, собираются около костра латники Оливера Кромвеля. И что эта черная фигура — прекрасный и несчастный Риччио, пробирающийся к Марии Стюарт… О'Келли задумался, стоял, засунув руки в карманы.

Но Риччио обернулся — и О'Келли показалось: на нем плоская священническая шляпа. Что за странная встреча — или это все туман? О'Келли прильнул к витрине антикварного магазина и усиленно стал рассматривать позеленелый медный дверной молоток — уродливую собаче-человеческую голову. Потом осторожно перебежал на другую сторону и пошел следом за Риччио.

Да, это он: дощатая фигура, аккуратно сложенные позади руки — и пальцы, что-то отсчитывающие. Это был Дьюли, и переулок Сапожника Джона — пожалуй, довольно странное место для прогулок господина викария…

О'Келли нырнул в ближайший из проходов,

сбежал к реке — по темному ущелью между высоких стен, и потом закоулками выбрался опять на Кингс-стрит.

Когда, покружившись по улицам с час, О'Келли снова очутился против переулка Сапожника Джона — туман уже осел, и было ясно видно: нет никого. Через боковую, окованную железом дверь О'Келли вошел в дом.

При конторе О'Келли была маленькая сводчатая комнатка, окном в переулок, окно старое, узкое — бойница с решеткой. Теперь эту комнатку не узнать было: старые, выцветшие гобелены по стенам, два железных узорчато кованных фонаря — от антиквара напротив; очень низенький — на четверть от полу — турецкий диван во всю стену. И переливающиеся, неуловимые огоньки в камине, и Диди у огня — в своей черной пижаме, такая уютная.

Так вот лежать — прикованной к золотой игре огня, прихлебывать золотое, колючее вино и слушать — не слушать колючие слова О'Келли.

— … Девочка моя, я именно этого и хочу, чтобы, поселившись с утюгами и Кемблом, — вы стали несчастны. Счастье — одно из наиболее жирообразующих обстоятельств, а вам идет быть именно такою, тоненьким, стриженым девочко-

мальчиком…

Рука О’Келли касалась так нежно, и откуда-то издали, устало видела Диди причудливо-противоречивые Easter Lylies и слышала свой голос:

— Но это так жестоко — обманывать Кембла. Он — большое дитя.

— Жестоко? — засмеялся О’Келли. — Жестоко — детям говорить правду. Если что меня убеждает в милосердии Божием — так это именно дарованная Богом ложь, именно то, что…

О’Келли не кончил: показалось — скрежетал замок в боковой двери, в переулке Сапожника Джона, а потом чьи-то шаги по каменной лестнице. Впрочем, О’Келли хорошо помнил, что дверь он запер на ключ: просто в старом доме бродила тень Сапожника Джона.

— … Я не удивлюсь, если добрый Джон заявится сюда… — потянулся О’Келли. — Сегодня от тумана все так фантастично…

Диди ушла в театр и сказала Кемблу, что из театра ей надо кой-куда зайти. Кембл сидел один, не зажигая огня. За окном чокали капли, отчетливо и правильно, как часы. Когда совсем смерклось, пришла старушка Тэйлор и принесла письмо от леди Кембл: леди Кембл просила сына непременно прийти сегодня вечером. Явно, это

было наконец давно жданное примирение. Все складывалось как нельзя лучше. Кембл мигом оделся и пошел.

Очевидно — ратификацию мирного договора леди Кембл хотела обставить очень торжественно: столовая была ярко освещена, и вокруг стола Кембл увидел миссис Дьюли, потиравшего руки викария и футбольноголового Мак-Интоша. Кембл радостно подошел к леди Кембл, но невидимая узда вздернула ее голову еще выше, она сделала величественный жест рукой — и сурово показала Кемблу на стул:

— Садитесь… — Помолчала и подняла глаза к портрету сэра Гарольда в парике и мантии. — Боже мой, что сказал бы ваш покойный отец, сэр Гарольд…

Больше она говорить не могла: за нее говорил викарий — и кому же, как не ему, сказать все, как надо?

— Дорогой мистер Кембл! Мы пригласили вас сюда — потому что мы любим вас, ибо Христос заповедал любить и грешников. Мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам для того, чтобы вернуть вас на правильный путь. И вы последуете сейчас за мной и мистером Мак-Интошем… — И, заметив, что Кембл хочет возражать, викарий

добавил: — Хотя бы ради вашей матери — взгляните на нее.

Леди Кембл молитвенно смотрела на портрет покойного сэра Гарольда, из глаз ее показались две скудные слезы — это было наибольшее, что она могла себе позволить, не нарушая приличий. Рядом сидела и дрожала в лихорадке миссис Дьюли, не поднимая глаз.

Кембл спокойно сказал:

— Хорошо, пойдемте… — Все это была, конечно, такая же гнусная проделка, как письмо в голубом конвертике, и раз и навсегда надо было с этим покончить.

Улицы были пустые. Ветер опять дул с реки, нагонял туман, окутывал крыши — и стены уходили вверх, в самое небо. Шли молча в ущелье из стен. Понемногу Кембл понял, что идут к конторе О'Келли. Ущелье все сдвигалось и давило, и ничего во всем мире не было, кроме стен до самого неба, и никуда нельзя было вырваться из стен: все идти, идти между стен — как во сне. И как во сне, не зная, знал Кембл, что ждет в конце пути.

В переулке Сапожника Джона у окованной двери остановились. Наверху сквозь узенькую бойницу светил огонь.

— Ну-с? — торжествующе потирая руки, взгля-

нул викарий на Кембла.

Как слепой ткнулся Кембл в окованную дверь.

— Заперто… — беспомощно обернулся он. Упрямый квадратный подбородок прыгал.

— О, не беспокойтесь, мы припасли ключ… — выскочила из тумана футбольная голова. Ключ был громадный, неуклюжий. — Вот французские ключи — это действительно культура, французского не подобрать… — добавил Мак-Интош.

Слышно было, как Кембл сделал по каменной лестнице два шага — и остановился. Секунду было тихо. Потом шаги загромыхали по лестнице, сливаясь в гул: Кембл бежал вверх. Потом хлопнула верхняя дверь, секунда тишины — и Кембл уже громыхал обратно, не разбирая дороги, с грохотом промчался мимо викария куда-то вниз, как огромный взбесившийся грузовик без руля.

14. Перо системы Уотермана

Утром Кембл, как всегда, тщательно выбрился и надел чистый воротничок. В зеркале с удивлением заметил, что он совершенно такой же, как всегда, разве только маленькие слоновые глазки стали побольше: за ночь под глазами легла темная тень.

В столовой Кембл взял газету и механически

стал проглядывать объявления о сдающихся внаем домах — как это делал последние дни. Поймал себя на этом, усмехнулся, отложил газету. Выпил, как обыкновенно, две чашки кофе. Мазал хлеб маслом, но почему-то не ел, а складывал аккуратно на тарелке. И только когда заметил перед собой целую горку хлеба — сконфузился и ушел.

Было уже время идти в контору, но Кембл вернулся обратно в спальню. Заперся на ключ: еще раз все передумать и решить все с самого начала. Но в голове все колеса были мертвые и не двигались, и вместо мыслей было одно и то же: до боли ясный розово-черный переплет на груди у *нее* — и смешные, кривые и тоненькие ноги у *него*.

Когда прозвонили к завтраку, Кембл очнулся и понял: думать было совершенно нечего и незачем. Все уже решено кем-то, он шел теперь между высоких — до неба — каменных стен, и никуда нельзя свернуть, идти только вперед, до конца.

Кембл открыл ящик стола и вытащил старый, оставшийся от отца, револьвер с игольчатыми патронами. Потом написал на имя леди Кембл чек на тридцать фунтов, которые у него лежали еще в банке, порвал полученный от О'Келли чек на пятьдесят фунтов — и тут увидел: ручка, которой он писал, была ручка О'Келли — очевидно,

О’Келли оставил ее тут в день рождения Кембла. Это была обыкновенная чернильная ручка системы Уотермана — «Waterman’s Fountain Pen», — и теперь ее, конечно, надо было вернуть О’Келли.

Кембл мучительно наморщил лоб: все остальное было определенно и просто, а это было страшно трудно — с ручкой Уотермана. Надо было отдать и что-то сказать при этом, и все это очень осложняло положение. Кембл сунул ручку в тот же карман пиджака, где лежал револьвер, и всю дорогу думал о ручке: как бы это, в самом деле…

И так, с озабоченным и наморщенным видом, вошел в кабинет О’Келли.

О’Келли сидел у себя в кабинете с бумагами так же, как вчера, и все-таки было в нем что-то совершенно новое. Через секунду, приглядевшись, Кембл увидел: О’Келли — не улыбался. Это было так же невероятно, как если бы вдруг перестал улыбаться фарфоровый мопс Джонни. Это был не О’Келли…

Растерянно Кембл опустил руку в карман, вытащил перо Уотермана и положил на стол:

— Вот… ваша ручка… вы ее забыли, я должен отдать…

О’Келли изумленно распялил глаза и переводил

их с ручки Уотермана на растерянного Кембла и с Кембла на ручку. Потом стал красным, с минуту наливался смехом — и лопнул:

— Боже ты мой… Перо Уотермана! Кембл, вы — вы — вы неподражаемы…

Теперь это был *тот самый*, это был О'Келли. Кембл, не колеблясь, вытащил револьвер и выстрелил куда-то три раза. О'Келли медленно клонился вперед, пока не уткнулся лицом в бумаги.

Кембл не слыхал ни крика О'Келли, ни крика четырех его жен. Надел шляпу, вышел на улицу и почувствовал: страшно устал, никогда в жизни не уставал так. Подошел на Хай-стрит к мирно дремавшему бобби:

— Я убил мистера О'Келли, адвоката. Пожалуйста, поскорее отведите меня куда надо: я очень устал.

Полицейский разинул рот и всем своим существом и округлившимися глазами так явно подумал: «сумасшедший», что Кембл добавил:

— Ну, подите и спросите в конторе, а я подожду. Только, пожалуйста, поскорей.

Через минуту полицейский и Кембл шли вместе вниз, по переулку Сапожника Джона. Шли молча между гладких, до неба поднимавшихся

стен, и сквозь туман вспоминалось Кемблу; так — без конца — он уже шел когда-то между двух сладких, нескончаемых стен…

15. Серо-белая чешуя

Осенний ветер бесился, свистел, сек. С моря наседала огромная серая птица, закрыла крылами полнеба, нагибалась все ближе, неумолимая, немая, медленная, и все больше темнело. Но толпа не расходилась: прошел слух, что убийцу могут помиловать. В самом деле, глядишь, имя и заслуги его отца, покойного сэра Гарольда, — еще не были забыты, и очень легко могло статься, что…

— Долой сэров! — каркал кто-то упрямо и хрипло. — Небось этого солдата в прошлом году живо вздернули… Долой сэров!

Фонарь у входа в тюрьму дергался и качался, и белые стены пошатывались, готовые рухнуть. Правосудие было в опасности…

Из толпы вынырнула футбольная голова мистера Мак-Интоша. Он был взволнован, его голос дрожал.

— Господа, правосудие и культура нераздельны. Мы должны стать на защиту культуры. Господа, можно ли себе представить что-нибудь более дикое, чем обдуманное и рассчитанное убийство?

И поэтому, к сожалению… Да, да, говорю: к сожалению — мы должны требовать казни…

— Долой сэров!

Ветер свистел. От фонаря легла длинная светлая полоса, и в этой полосе пестрой чешуей переливались лица, котелки, воротнички — медленным, бесконечным движением ползущей змеи. Слов уже было не разобрать: змея переливалась и сердито урчала.

Откуда-то, как выпущенная из клетки, пронеслась стая мальчишек — все босые и все в белых воротничках.

— «Джесмондская Звезда»! Экстренное прибавление! Помилование убийцы адвоката О'Келли!

— Как? Уже? Помиловали? — вцепились в белые листки.

Но речь шла только о возможном помиловании, и только прибавлялось, что, принимая во внимание заслуги покойного сэра Гарольда, это было бы более чем…

— Долой сэров!

— Господа, правосудие…

— Долой «Джесмондскую Звезду»!

Серо-белая чешуя быстрее переливалась под фонарем, змея зашуршала по асфальту, поползла к редакции «Джесмондской Звезды» и двадцатью

кольцами развернулась перед темными окнами. В редакции никого не было.

Звякнул камень о стекло, брызнули и задребезжали осколки. Но окна были такие же пустые и темные. И темная немая птица сверху нагнулась совсем близко.

Пора было идти по домам: в постелях уже нетерпеливо ждали голубые и розовые жены. Ждали, чтобы, зажмурившись от страха и любопытства, спросить:

— Неужели — помилуют? Неужели…

И потом вздрогнуть и прижаться пылко: как хорошо жить…

К ночи ветер неожиданно стих. И стало тихо и черно — как будто куда-то провалился весь мир. Бывает так, что крутится весь день потерянный человек, вздрагивает от звонков и смеется таким смехом, от которого страшно, а глаза западают все глубже, и только об одном мысль: ткнуться головой в подушку, провалиться в черное — уснуть. И вот такая была ночь: головой в черную подушку ткнулся день, провалился — ни света, ни звука.

К ночи миссис Дьюли стало как будто легче. Весь день было очень нехорошо: опять пропало пенсне — и весь день она бродила как слепая, спотыкалась и натыкалась на людей. И все будто

бегала за какими-то покупками, а придет в магазин — и покупать ничего не надо, и вовсе не то, а главное — все равно: зачем теперь покупать?

Обед был в шесть с четвертью — вместо шести, и викарий острыми треугольниками поднимал вверх брови:

— Дорогая моя, ведь это так просто: иметь запасное пенсне. И тогда у вас не было бы этого… этого странного вида. И был бы порядок, а вы знаете…

— Хорошо, я куплю завтра… — Миссис Дьюли вздрогнула и поправилась: — Послезавтра…

Потому что завтра… Кто же в мире будет что-нибудь покупать завтра — в тот день, когда там, в тюрьме, Кембла выведут во двор, поставят…

В спальне было темно, не надо было смотреть — может быть, оттого миссис Дьюли стало легче, и она неожиданно уснула.

Вероятно, спала только несколько минут. Проснулась, открыла глаза — и увидела белый фланелевый колпак викария: викарий, сложивши, согласно предписанию «Завета», руки на груди, мирно похрапывал. Все было черно и тихо, провалился весь мир. Вопить и кричать — никто не услышит и ничего не сделает: весь мир мирно спал, похрапывая, во фланелевом колпаке…

Неизвестно, сколько времени спал викарий,

но только проснулся от воплей миссис Дьюли. Тотчас понял: «Страшный сон — скорее будить…» — сны никак было не подвести под расписание, викарий очень боялся снов.

Вероятно, миссис Дьюли спала очень крепко — она кричала все громче и только тогда затихла, когда викарий схватил ее за плечо холодной рукой.

— Я думаю, вам на ночь не надо ужинать, дорогая…

— Да, я думаю — не надо, — ответила в темноте миссис Дьюли.

Через пять минут викарий опять спал, мирно похрапывая. Все было черно и тихо.

16. Торжествующее солнце

Было назначено в половине десятого — и совершенно правильно: всякий культурный человек должен иметь время побриться и позавтракать, и в том, что назначено было в половине десятого, только сказывалось уважение одного культурного человека к другому — хотя бы и преступному.

Солнце было очень яркое. Солнце торжествовало — это было ясно для всякого, и вопрос был только в том, торжествовало ли оно победу правосудия — и, стало быть, культуры — или же…

Серо-белая чешуя тревожно шуршала и переливалась:

— Послушайте, господа, ничего еще не известно?

Нет, вчера ничего не получено, но может быть — сегодня утром… В конце концов все решит последний момент: зазвонит или не зазвонит в половине десятого тюремный колокол?

В тюрьму пробирался аккуратно выбритый розовый старичок, из тех, что имеют вид вкусный, как сдобные, хорошо подрумяненные пирожки.

Старичок постучал, обитая железом дверь в тюремной стене перед ним открылась.

Миссис Дьюли обернулась к викарию, она дышала коротко, часто:

— Кто… кто это? Кто туда сейчас вошел?

— Ах, этот? Это, дорогая, мастер.

Миссис Дьюли схватила викария за руки выше локтя, вцепилась в него изо всех сил:

— Вы… вы хотите сказать, что это тот, кто будет должен…

Викарий стряхнул ее руки:

— На вас сссмотрят. Я ничего не хочу ссказать. Вы не умеете владеть сссобой…

Миссис Дьюли замолкла… Возле нее сверкнули чьи-то часы:

— Без двух минут половина десятого.

Без двух минут… Чешуя напряглась, замерла, не шевелилась. Бифштексно-румяные посетители боксов и скачек не отрывались от часов. Равнодушно блестели медные трубы Армии Спасения. Румяное, упитанное, торжествующее, выкатывалось солнце. Иней на крыше таял, и тикала капель — как часы, отчетливо отбивала секунды — до половины десятого.

И вот капнуло еще, и последняя капля: половина. Напряженная, стеклянная секунда — и… ничего: колокол молчал.

Сразу зашевелилась чешуя, заурчала, и все громче. Все были оскорблены: и любители бокса и скачек, и сторонники культуры.

Кипели и переливались. Вымахивали руки. Зловеще свивались и развивались кольца, и все еще чего-то ждали, не расходились.

Миссис Дьюли — без пенсне, в сбившейся набок шляпе — опять схватила за руку викария:

— Вы… вы… вы понимаете? Ведь, значит, он… значит, его не… Вы понимаете?

Викарий Дьюли не слышал, он смотрел на часы: было уже без двадцати десять.

Без четверти десять, когда уже больше не на что было надеяться, — тюремный колокол вдруг

запел медленным, медным голосом: капала с неба медная, мерная капель.

Миссис Дьюли закричала странным, не джесмондским голосом:

— Нет, нет, ради Бога, ради Бога! Остановите, оста…

Дальше уж не было слышно: чешуя бешено закрутилась, запестрела платками и криками. Солнце торжествовало, розовое и равнодушное. Трубы Армии Спасения играли тягучий гимн. Облегченно становились на колени: помолиться за душу убийцы.

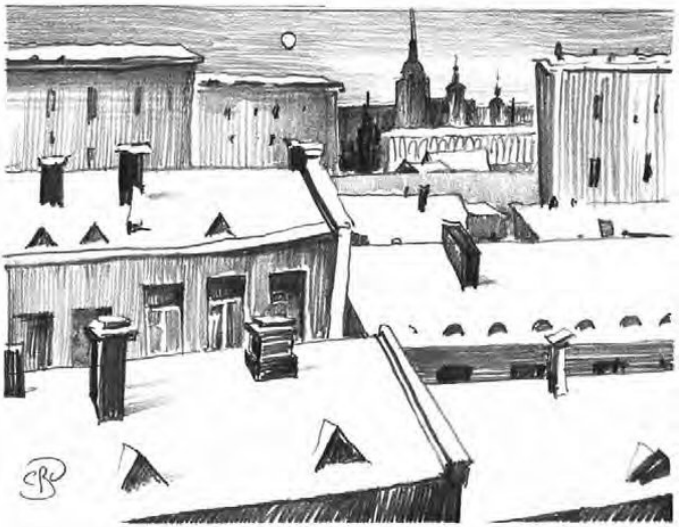
А затем, когда все стихло, викарий Дьюли произнес речь — о необходимости проведения в жизнь «Завета Спасения». Все то, что случилось и замутило тихое течение джесмондской жизни, — не было ли наконец самым убедительным аргументом? Если бы государство насильно вело слабые души единым путем — не пришлось бы прибегать к таким печальным, хотя и справедливым мерам… Спасение приходило бы математически неизбежно, понимаете — математически?

Прокричали cheers в честь викария Дьюли, гордости Джесмонда, и единогласно приняли резолюцию. Надо надеяться, что на этот раз билль о

«принудительном спасении» наконец пройдет.

1917

Рассказы



Ловец человеков

1



Самое прекрасное в жизни — бред, и самый

прекрасный бред — влюбленность. В утреннем, смутном, как влюбленность, тумане — Лондон бредил. Розово-молочный, зажмурясь, Лондон плыл — все равно куда.

Легкие колонны друидских храмов — вчера еще заводские трубы. Воздушно-чугунные дуги виадуков: мосты с неведомого острова на неведомый остров. Выгнутые шеи допотопно-огромных черных лебедей-кранов: сейчас нырнут за добычей на дно. Вспугнутые, выплеснулись к солнцу звонкие золотые буквы: «Роллс-Ройс, авто» — и потухли. Опять — тихим, смутным кругом: кружево затонувших башен, колыхающаяся паутина проволок, медленный хоровод на ходу дремлющих черепах-домов. И неподвижной осью: гигантский каменный фаллос Трафальгарской колонны.

На дне розово-молочного моря плыл по пустым утренним улицам органист Бэйли — все равно куда. Шаркал по асфальту, путался в хлипких, нелепо длинных ногах. Блаженно жмурил глаза; засунув руки в карманы, останавливался перед витринами.

Вот сапоги. Коричневые краги; черные, огром-

ные вотерпруфы[16]; и крошечные лакированные дамские туфли. Великий сапожный мастер, божественный сапожный поэт…

Органист Бэйли молился перед сапожной витриной:

— Благодарю тебя за крошечные туфли… И за трубы, и за мосты, и за Роллс-Ройс, и за туман, и за весну. И пусть больно: и за боль…

На спине сонного слона — первого утреннего автобуса — органист Бэйли мчался в Чизик, домой. Кондукторша, матерински бокастая, как булка (дома куча ребят), добродушно приглядывала за пассажиром: похоже, выпил бедняга. Эка, распустил губы!

Губы, толстые и, должно быть, мягкие, как у жеребенка, блаженно улыбались. Голова с удобными, оттопыренными и по краям завернутыми ушами покачивалась: органист Бэйли плыл.

— Эй, сэр, вам не здесь слезать-то?

Органист удивленно разожмурился. Как: уже слезать?

— Ну, что, выпили, сэр?

Жеребячьи губы раскрылись, органист мотал головой и счастливо смеялся:

---

[16] Примечания: 16
Водонепроницаемые (от *англ.* waterproof).

— Выпил? Дорогая моя женщина: лучше!

По лесенке двинулся с верхушки автобуса вниз. Внизу, в тумане, смущенно жмурились, молочно-розовыми огнями горели вымытые к воскресенью окна Краггсов. Солнце шло вверх.

Органист вернулся к кондукторше, молча показал ей на окна и так же молча — обнял и поцеловал ее мягкими, как у жеребенка, губами. Кондукторша обтерлась рукавом, засмеялась, дернула звонок: что с такого возьмешь?

А органист — нырнул в переулочек, ключом отомкнул тихонько заднюю калитку своего дома, вошел во двор, остановился возле кучи каменного угля и через кирпичный заборчик поглядел наверх: в окно к соседям, Краггсам. В окне — белая занавеска от ветра мерно дышала. Соседи еще спали.

Снявши шляпу, стоял так, пока на занавеске не мелькнула легкая тень. Мелькнула, пророзовела на солнце рука — приподняла край. Органист Бэйли надел шляпу и вошел в дом.

2

Миссис и мистер Краггс завтракали. Все в комнате — металлически сияющее: каминный прибор, красного дерева стулья, белоснежная

скатерть. И может быть, складки скатерти — металлически негнущиеся; и может быть, стулья, если потрогать, металлически-холодные: окрашенный под красное дерево металл.

На однородно-зеленом ковре позади металлического стула мистера Краггса — четыре светлых следа: сюда встанет стул по окончании завтрака. И четыре светлых следа позади стула миссис Краггс.

По воскресеньям мистер Краггс позволял себе к завтраку крабов: крабов мистер Краггс обожал. С кусочками крабовых клешней проглатывая кусочки слов, мистер Краггс читал вслух газету.

— Пароход… ммм… долгое время вверх килем… Стучали в дно снизу… Нет, удивительный краб, прямо удивительный! Опять цеппелины над Кентом, шесть мужчин, одиннадцать… ммм… Одиннадцать — одиннадцать — да: одиннадцать женщин… Для них человек — просто как… как… Лори, вы не хотите кусочек краба?

Но миссис Лори уже кончила свой завтрак, она укладывала ложки. У миссис Лори была превосходная коллекция чайных ложек: подарок Краггса. Серебряные ложки — и каждая была украшена золоченым с эмалью гербом одного из городов Соединенного Королевства. Для каждой

ложечки был свой собственный футлярчик, миссис Лори укладывала ложки в соответствующие футлярчики — и улыбалась: на губах — занавесь легчайшего и все же непрозрачного розового шелка. Вот дернуть за шнур — и сразу же настежь, и видно бы, какая она, за занавесью, настоящая Лори. Но шнур потерялся, и только чуть колышется занавесь ветром вверх и вниз.

Исчезнувший мистер Краггс внезапно вынырнул из-под полу, уставился перед миссис Лори на невидимом пьедестале — такой коротенький чугунный монументик — и протянул наверх картонку:

— Дорогая моя, это — вам.

В картонке были белые и нежно-розовые шелковые комбинации, и что-то невообразимо кружевное, и паутинные чулки. Мистер Краггс был взглядов целомудренных, не переносил наготы, и пристрастие его к кружевным вещам было только естественным следствием целомудренных взглядов.

Миссис Лори все еще не привыкла к великолепию. Миссис Лори порозовела, и быстрее заколыхалась розовая занавесь на губах:

— А-а, вам опять повезло… на бирже — или… где вы там занимаетесь операциями, кто вас знает…

— Угум… — Мистер Краггс сосал трубку и, по обыкновению своему, не подымая чугунных век, улыбался на пьедестале победоносно.

Миссис Лори обследовала нежно-розовое, невообразимо кружевное и паутинное, на одной паре чулок обнаружила распоротый шов и, отложив в сторону, нагнула щеку мистеру Краггсу. Краггс затушил пальцем трубку, сунул в карман и прильнул губами к щеке. Челюсти и губы мистера Краггса мысом выдвинуты вперед — в мировое море; губы сконструированы специально для сосанья.

Мистер Краггс сосал. В окно бил пыльной полосой луч. Все металлически сияло.

3

Наверху, в спальне, миссис Лори еще раз оглядела чулки с распоротым швом; разложила все по соответствующим ящикам комода; старательно, с мылом, вымыла лицо; и вывесила из шкапа новые брюки мистера Краггса: в них он пойдет в церковь.

В окно тянул ветер. Брюки покачивались. Вероятно, на мистере Краггсе — брюки прекрасны и вместе с его телом дадут согласный аккорд. Но так, обособленные в пространстве, — брюки

мистера Краггса были кошмарны.

В окно тянул ветер. Покачиваясь, брюки жили: короткое, обрубленное, кубическое существо, составленное только из ног, брюха и прочего принадлежащего. И вот снимутся, и пойдут вышагивать — между людей и по людям, и расти — и…

Надо закрыть окно. Миссис Лори подошла, высунула на секунду голову, медленно, густо покраснела и сердито сдвинула брови: опять?

На дворе справа, возле кучки каменного угля, опять стоял нелепо-длинный и тонкий — из картона вырезанный — органист Бэйли. Держал шляпу в руках, оттопыренные уши просвечивали на солнце, блаженно улыбался — прямо в лицо солнцу и миссис Лори.

Верхняя половина окна заела, и пока миссис Лори, все сердитее сдвигая брови, нетерпеливо дергала раму — хлябнуло окошко слева, и заквохтал высокий, с переливами голосок:

— Доброе утро, миссис Краггс! Нет, каково, а? Нет, как вам это нравится? Нет, я сейчас забегу к вам — нет, я не могу…

Отношение миссис Фиц-Джеральд ко всему миру было определенно со знаком минус: «нет». Минус начался с тех пор, как пришлось продать

замок в Шотландии и переселиться на Аббатскую улицу. В органиста Бэйли минус вонзался копьем. И как же иначе, когда одна из девяти дочерей миссис Фиц-Джеральд уже давно по вечерам бегала на «приватные уроки» к органисту Бэйли.

Миссис Лори сошла в столовую мраморная, как всегда, и все с той же своей неизменной — легчайшего, непрозрачного шелка — занавесью на губах.

— Краггс, сейчас придет миссис Фиц-Джеральд. Ваши брюки вывешены — наверху. Да, и кстати: этот Бэйли, вы знаете, просто становится невозможен, вечно глазеет в окно спальни.

Чугунный монументик на пьедестале был неподвижен, только из-под опущенных век — лезвия глаз:

— Если вечно так… отчего же вы до сих пор… Впрочем, сегодня, после церкви, я поговорю с ним. О да!

Миссис Лори повернулась задернуть шторы:

— Да, пожалуйста, и посерьезней… Просто больно смотреть: такое солнце, правда?

В дверь уже стучала миссис Фиц-Джеральд. Миссис Фиц-Джеральд была индюшка: на вытянутой шее — голова всегда набок, и всегда — одним глазом вверх, в небо, откуда ежеминутно может

упасть коршун и похитить одну из девяти ее индюшечек.

Миссис Фиц-Джеральд с переливами квохтала об органисте:

— Нет, вы подумайте: в приходе — ни одной молодой и красивой женщины, которая бы не... которая бы... Нет, его бедная жена, это — просто ангел: она запирает от него все деньги и прячет ключ от двери, но он умудряется — через окно... А сейчас — я выглянула в окошко... нет, вы подумайте!

Миссис Фиц-Джеральд навела один глаз в небо, другой — в миссис Лори; миссис Лори вошла в паузу — как в открытую дверь: не постучавшись.

— Я только что просила Краггса поговорить об этом с мистером Бэйли. Будет очень забавно. Приходите посмотреть этот водевиль — после церкви.

Миссис Фиц-Джеральд все так же недоверчиво одним глазом выискивала коршуна в небе:

— О, миссис Лори, вы-то, вы-то, я знаю, совсем не такая, как другие. Я знаю.

Чугунный монументик неподвижно, не подымая век, глядел вверх на миссис Лори: «Не такая — но какая же?»

Бог весть: шнур от занавеси был потерян.

4

Тут, на Аббатской улице, еще был Лондон — и уже не был Лондон. Соседи уже отлично знали соседей; и все знали, конечно, глубокоуважаемого мистера Краггса. Все знали: на бирже — или вообще где-то — мистер Краггс удачно вел операции; имел текущий счет в Лондон-Сити-энд-Мидланд-Бэнк, прекрасную жену и был одним из добровольных апостолов Общества Борьбы с Пороком. Естественно, что шествие мистера Краггса в новых брюках к церкви Сэнт-Джордж было триумфальным шествием.

Каждым шагом делая одолжение тротуару, сплюснутый монументик вышлепывал лапами, на секунду привинчиваясь к одному пьедесталу, к другому, к третьему: тротуар был проинтегрированный — от дома до церкви ряд пьедесталов. Не подымая век, монументик милостиво улыбался, ежесекундно сверкал на солнце цилиндром и совершал шаги, украшенный соседством миссис Лори: так барельефы на пьедестале Ричарда — Львиное сердце скромно, но гармонично украшают Львиное сердце.

И вот наконец уравнение торжественного шествия мистера Краггса решено: наконец —

церковь.

Узкие ущелья в мир — окна. На цветных стеклах — олени, щиты, черепа, драконы. Внизу стекла — зеленые, вверху — оранжевые. От зеленого — по полу полз мягкий дремучий мох. Глохли шаги, все тише, как на дне, — тихо, и Бог знает где — весь мир, краб, щека, распоротый шов в чулке, одноглазая Фиц-Джеральд, ложечки в футлярах, тридцать два года…

Вверху, на хорах, начал играть органист Бэйли. Потихоньку, лукаво над зеленым мхом росло, росло оранжевое солнце. И вот — буйно вверх, прямо над головою, и дышать — только ртом, как в тропиках. Неудержно переплетающиеся травы, судорожно вставшие к солнцу мохнатые стволы. Черно-оранжевые ветви басов, с нежной грубостью, все глубже внутрь — и нет спасения: женщины раскрывались, как раковины, бросало Бога в жар от их молитв. И может быть, только одна миссис Лори Краггс — одна сидела великолепно-мраморная, как всегда.

— Вы не забыли относительно Бэйли? — шепнула миссис Лори мужу, когда кончалось.

— Я? О нет… — Мистер Краггс блеснул лезвием из-под опущенных век.

Одноглазая миссис Фиц-Джеральд тревожно

поглядывала вверх на гипотетического коршуна, собирала под крылья своих девять индюшечек в белых платьях и подымалась на цыпочки, чтобы не потерять в толпе мистера Краггса и не пропустить, как произойдет его встреча с Бэйли.

Снаружи, у дверей церкви, была могила рыцаря Хэга, некогда обезглавленного за папизм, — на камне, в каменных доспехах, лежал рыцарь без головы. И здесь, возле утратившего голову рыцаря, скучились женщины вокруг органиста Бэйли.

— Мистер Бэйли, вы сегодня играли особенно. Я так молилась, так молилась, что…

— Мистер Бэйли, не могли бы вы — мне бы хотелось только…

— Мистер Бэйли, вы знаете, что вы — что вы…

Высоко над их раскрытыми, ожидающими губами покачивалась голова органиста, просвечивающие, с загнутыми краями уши. И еще выше, зажмурясь от себя самого, стремглав неслось солнце — все равно куда.

У органиста были длинные, обезьяньи руки — и все-таки нельзя было обнять их всех сразу. Органист блаженно покачал головой:

— Милые, если бы я мог…

Органист Бэйли задумался о великой Изиде — с

тысячью протянутых рук, с тысячью цветущих сосцов, с чревом — как земля, принимающим все семена…

— А-а, дорогой мой Бэйли! Он — по обыкновению, конечно, окружен… Можно вас на минуту?

Это был Краггс. Он воздвигся на последней ступеньке лестницы, украшенный мраморным соседством миссис Лори, — и ждал.

Бэйли повернулся, как стрелка компаса, сдернул шляпу, путаясь в собственных ногах, подбежал, стиснул руку мистеру Крагтсу и сиял в него глазами — было почти слышно: «Милый Краггс, единственный в мире Краггс, и вас — и вас тоже, обожаемый Краггс…»

Втроем они отошли в сторону, и только миссис Фиц-Джеральд оказалась неприметно сзади, одобрительно подкачивала головой каждому слову Краггса и одним глазом метала минусы-копья в спину Бэйли.

— Послушайте, дорогой мой Бэйли. Мне жена говорила, что вы постоянно портите ей пейзаж из окна ее спальни. Что вы скажете по этому поводу? А?

В голове у Бэйли шумело солнцевое вино, слова слышались плохо. Но когда услышались — Бэйли потух, лоб сморщился, сразу стало видно: масса

лишней кожи на лице, все — как обвислый, купленный в магазине готового платья костюм.

— Миссис Лори? Нет… не может быть… — Губы у Бэйли растерянно шлепали. — Миссис Лори, вы не говорили. Да нет, что я, конечно: вы — нет. Конечно…

Самому стало смешно, что поверил хоть на секунду. Махнул рукой — заулыбался блаженно.

Миссис Лори сдвинула брови. Она медлила. Уже шевельнулись на животе клешни Краггса, и радостно привстала на цыпочках миссис Фиц-Джеральд. Но в самый какой-то последний момент — миссис Лори громко рассмеялась:

— Представьте себе, мистер Бэйли: я говорила. И вы прекрасно знаете: я была, наконец, вынуждена сказать это. Да, вы знаете.

Бэйли заморгал. Опять: обвислый костюм из магазина готового платья. Вдруг обеими руками он нахлобучил шляпу и, не попрощавшись, не слушая больше Краггса, побежал, заплетаясь, по асфальту.

Сыпались вслед ему минусы миссис Фиц-Джеральд, он бежал — и на полушаге, ни с того ни с сего, остановился как вкопанный. Бог знает, что пришло ему в голову и что вспомнилось — но он улыбался настежь, блаженно, радостно махал

Краггсам шляпой.

Краггс пожал плечами:

— Просто — ненормальный…

И двинулся к дому — с одного пьедестала на другой, с другого на третий, по бесконечному ряду пьедесталов.

5

Лондон сбесился от солнца. Лондон мчался.

Прорвал плотину поток цилиндров, белых с громадными полями шляп, нетерпеливо раскрытых губ. Неистовым от весны стадом неслись слоно-автобусы и, пригнув голову, по-собачьи вынюхивали друг дружку. Голосами малиновыми, зелеными и оранжевыми орали плакаты: «Роллс-Ройс», «Вальс — мы вдвоем», «Автоматическое солнце». И везде между мелькающих ног, букв и колес — молниеносные мальчишки в белых воротничках, с экстренным выпуском.

Цилиндры, слоно-автобусы, Роллс-Ройс, автоматическое солнце — выпирали из берегов и, конечно, смыли бы и дома, и статуи полицейских на перекрестках, если бы не было стока вниз, в метрополитен и в подземные дороги — «трубы».

Лифты глотали одну порцию за другой, опускали в жаркое недро, и тут сбесившаяся кровь

Лондона пульсировала и мчалась еще бешеней по бетонным гулким трубам.

Взбесившийся Лондон лился за город, в парки, на траву. Неслись, ехали, шли, в бесчисленных плетеных колясочках везли недавно произведенных младенцев. Миссис Лори сквозь прозрачнейшие стекла окна наблюдала шествие бесчисленных колясочек по асфальту.

В окошко Краггсов встревоженной дробью стучала миссис Фиц-Джеральд:

— Миссис Лори! Послушайте, миссис Лори! Не у вас ли моя Анни? Нет? Ну, так и есть: опять помчалась за город с этим… Нет, вы счастливая, миссис Лори: у вас нет детей…

На мраморном челе миссис Лори было две легчайшие темные прожилки-морщины, что, может быть, только свидетельствовало о подлинности мрамора. А может быть, это были единственные трещины в непорочнейшем мраморе.

— А где мистер Краггс? — обеспокоенно поглядывала вверх одним глазом Фиц-Джеральд.

— Мистер Краггс? Он сказал, ему надо куда-то там по делам этого его общества — Борьбы с Пороком.

— Нет, вы такая счастливая, такая счастливая…

Миссис Лори прошлась по столовой. Ножки одного из металлических стульев стояли вне предназначенных гнезд на ковре. Миссис Лори подвинула стул. Взошла наверх, в спальню, подняла штору, окошко открыто, спальня освежалась. Впрочем, миссис Лори была уверена, что окошко открыто, но почему-то надо было поднять штору, взглянуть.

Миссис Лори снова уселась в столовой и наблюдала шествие бесчисленных колясочек. А мистер Краггс — на лацкане белый крестик Апостола Общества Борьбы с Пороком — мистер Краггс где-то медленно мчался в гулких трубах. Чугунные веки опущены в экстренный выпуск: в три часа цеппелины замечены над Северным морем. Это было совершенно кстати.

«Превосходно, превосходно». Мистер Краггс предвкушал успех: атмосфера была подходящая.

И мистер Краггс решил использовать атмосферу — в Хэмпстэд-парке.

Хэмпстэд-парк до краев был налит шампанским: туман легкий, насквозь прозолоченный острыми искрами. По двое тесно на скамеечках, плечом к плечу, все ближе. Истлевало скучное платье, и из тела в тело струилось солнцевое шампанское. И вот двое на зеленом шелке травы,

прикрытые малиновым зонтиком: видны только ноги и кусочек кружева. В великолепной вселенной под малиновым зонтиком — закрывши глаза, пили сумасшедшее шампанское.

— Экстренный выпуск! В три часа зэппы над Северным морем!

Но под зонтиком — в малиновой вселенной — бессмертны: что за дело, что в другой, отдаленной вселенной будут убивать?

И мимо неслась карусель молниеносных мальчишек: собиратели окурков, продавцы экстренных выпусков, счастья, целующихся свинок, патентованных пилюль для мужчин. И трескучий петрушка, и пыхающие дымом машины на колесах с сосисками и каштанами, и стада цилиндров — гуськом, как неистовые от весны слоно-автобусы…

Пронзительный свист — нестерпимо, кнутом. И еще раз: кнутом. Высунулись головы из-под малинового зонтика, цилиндров, белых громадных шляп: на столе — чугунный монументик, стоял и свистел серьезно.

— Леди и джентльмены! — Мистер Краггс перестал свистеть. — Леди и джентльмены, экстренный выпуск: зэппы над Северным морем. Леди и джентльмены, проверьте себя: готовы ли

вы умереть? Смерть сегодня. Это вы умрете… нет, нет, не ваша соседка, а именно вы, прекрасная леди под малиновым зонтиком. Вы улыбаетесь, ваши зубы сверкают, но знаете ли вы, как улыбается череп? Остановитесь — только на секунду — проверьте себя: все ли вы сделали, что вам надо сделать до смерти? Вы — под малиновым зонтиком!

— Нет еще, они — не всё… — тоненьким голоском пискнул примолкший было петрушка.

Засмеялись. Засмеялась прекрасная леди, закрылась малиновым небом-зонтиком и явно для всех прижала колени к своему Адаму: они были одни в малиновой вселенной, и они были бессмертны, и парк до краев был полон острыми искрами.

Мистер Краггс кружил вокруг малиновой вселенной: из-под зонтика видны были черные дамские туфли и коричневые мужские. Коричневые мужские туфли и шелковые, синие, в коричневых горошках носки — все было явно очень высокого, дорогого сорта. Это заслуживало внимания.

Мистер Краггс гулял, неся впереди, на животе, громадные крабовые клешни и опустив веки. Опустив чугунные веки, мистер Краггс обедал, а

за соседним столиком обедала прекрасная леди под малиновым зонтиком. Она была вся налита сладким янтарным соком солнца: мучительно надо было, чтоб ее отпили хоть немного. Яблоко — в безветренный, душный вечер: уж налилось, прозрачнеет, задыхается — ах, скорее бы отломиться от ветки — и наземь.

Она встала, леди-Яблоко под малиновым зонтиком, и встал ее Адам — все равно, кто он: он только земля. Медленные, отягченные — поднялись на лиловеющий в сумерках холм, перевалили, медленно тонули в землю по ту сторону холма. Головы — один только малиновый зонтик, — и нету.

Мистер Краггс выждал минуту. Все так же что-то пряча под опущенными чугунными веками, взобрался на холм, огляделся — и с неожиданной для монументика крысиной прыткостью юркнул вниз.

Там, внизу, все быстро лохматело, все обрастало фиолетовой ночной шерстью: деревья, люди. Под душными шубами кустов нежные, обросшие звери часто дышали и шептались. Ошерстевший, неслышный, мистер Краггс шнырял по парку громадной, приснившейся крысой, сверкали лезвия — к ночи раскрывшиеся лезвия глаз на шерстя-

ной морде, мистер Краггс запыхался. Малинового зонтика нигде не было.

«Лодка…» — Клешни мистера Краггса сжались и ухватились за последнее: раз или два ему случалось найти в лодке.

Тихий, смоляной пруд. Пара лебедей посредине пронзительно белеет наготой. И вдали, под уютно нависшей ивою, — лодка.

Мистер Краггс быстрее зашлепал по траве лапами. Лебеди все ближе, белее. На цыпочках, осторожно перегнулся через ствол ивы.

Лодка — внизу. Кругло темнел, прикрывая лица, мягкий лохматый зонтик, недавно еще малиновый — в одном конце лодки, а в другом — лебедино белели в темноте ноги.

Мистер Краггс вытер лицо платком, разжал клешни. Счастливо отдыхая, пролежал минуту — и, неслышный, шерстяной, на животе пополз вниз по скользкой глине.

— Добрый вечер, господа! — Возле лодки встал монументик. Веки целомудренно опущены. Улыбались выпершие вперед нос, нижняя челюсть и губы.

Мелькнуло, пропало лебедино-белое. Вскрик. Зонтик выпрыгнул в воду и поплыл. Лохматый зверь выскочил из лодки на Краггса:

— Ч-черт! Какое — какое вы имеете… Да я вас просто — я вас…

Мистер Краггс улыбался, опустив веки. Страшные крабовые клешни разжались, заклещили руки Адама прекрасной леди-Яблоко — и Адам, пыхтя, забился в капкане. Мистер Краггс улыбался.

— Вы — пойдете — со мною — на ближайшую — полицейскую станцию. Вы и ваша дама, — я очень сожалею. Вы объявите там имена — свое и вашей дамы. И мы встретимся потом на суде: мне очень жаль говорить об этом. О, вы скажите леди, чтобы она перестала плакать: за нарушение нравственности в общественном месте — наказание вовсе не такое большое.

— Послушайте… ч-черт! Вы отпустите мои руки? Я вам говорю…

Но мистер Краггс держал крепко. Леди-Яблоко стояла теперь в песке на коленях, прикрывала лицо ладонями и, всхлипывая, несвязно умоляла. Мистер Краггс улыбался.

— Мне, право, очень жаль вас, моя дорогая леди. Вы еще так молоды — и фигурировать на суде…

— О, все что хотите — только не это! Ну хотите — хотите… — Руки леди лебедино белели в лохматой темноте.

— Ну, хорошо: только — ради вас, очаровательная леди. Обещайте, что вы больше ни-ког-да…

— О, вы такой… милосердный… как Бог. Обещаю вам — о, обещаю!

Одной клешней все еще держа обмякшего, убитого Адама, другою — Краггс вытащил свисток и вложил в рот:

— Вот видите: один шаг — и я свистну… — Он отпустил пленника. Оглядел его с шелковых носков до головы, прикинул на глаз — и коротко бросил:

— Пятьдесят гиней.

— Пятьдесят… гиней? — сделал тот шаг на Краггса.

Свисток Краггса заверещал — еще пока чуть слышно, но сейчас… Пленник остановился.

— Ну? У вас чековая книжка с собой? Я вам посвечу, — любезно предложил мистер Краггс, вытащил карманный электрический фонарик.

Пленник, скрипя зубами, писал чек в Лондон-Сити-энд-Мидланд-Бэнк. Леди остолбенелыми глазами плыла за своим зонтиком: зонтик медленно и навеки исчезал в лохматой темноте. Мистер Краггс, держа свисток в зубах, улыбался: два месяца были обеспечены. Пятьдесят гиней! Так везло мистеру Краггсу нечасто.

6

Темно. Дверь в соседнюю комнату прикрыта неплотно. Сквозь дверную щель — по потолку полоса света: ходят с лампой, что-то случилось. Полоса движется все быстрей, и темные стены — все дальше, в бесконечность, и эта комната — Лондон, и тысячи дверей, мечутся лампы, мечутся полосы по потолку. И может быть — все бред…



Что-то случилось. Черное небо над Лондоном — треснуло на кусочки: белые треугольники, квадраты, линии — безмолвный, геометрический бред прожекторов. Куда-то пронеслись стремглав ослепшие слоно-автобусы с потушенными огнями. По асфальту топот запоздалых пар — от-

четливо — лихорадочный пульс — замер. Всюду захлопывались двери, гасли огни. И вот — выметенный мгновенной чумой, опустелый, гулкий, геометрический город: безмолвные купола, пирамиды, окружности, дуги, башни, зубцы.

Секунду тишина вспухала, истончалась, как мыльный пузырь, и — лопнула. Загудели, затопали издали бомбами чугунные ступни. Все выше, до неба, бредовое, обрубленное существо — ноги и брюхо — тупо, слепо вытопывало бомбами по кубическим муравьиным кочкам и муравьям внизу. Цеппелины…

Лифты не успевали глотать: муравьи сыпались вниз по запасным лестницам. Висли на подножках, с грохотом неслись в трубах — все равно куда, вылезали — все равно где. И толпились в бредовом подземном мире с нависшим бетонным небом, перепутанными пещерами, лестницами, солнцами, киосками, автоматами.

— Цеппелины над Лондоном! Экстра-экстренный выпуск! — шныряли механические, заводные мальчишки.

Мистер Краггс несся в вагоне стоя, держась за ремень, и не подымал глаз от экстренного выпуска. Цеппелины и шляпы все прибывали, сдвинули его с пьедестала — вперед — к чьим-то

коленям — колени дрожали. Мистер Краггс взглянул: леди-Яблоко.

— Ах, вот как? И вы здесь? Очень приятно, очень… Прошу извинения: так тесно… — Мистер Краггс снял цилиндр с улыбкой.

Леди-Яблоко была одна. Леди-Яблоко ответила мистеру Краггсу улыбкой, тупо-покорной.

В левом внутреннем кармане мистера Краггса лежал чек на пятьдесят гиней и грел сердце мистера Краггса. Мистер Краггс любезно шутил:

— Мы, как древние христиане, вынуждены спасаться в катакомбах. Не правда ли, мисс, очень забавно?

Мисс должна была смеяться — и не могла. Изо всех сил — и наконец засмеялась, вышло что-то нелепое, неприлично-громкое, на весь вагон. Со всех сторон оборачивались. Мистер Краггс, приподняв цилиндр, торопливо продвигался вперед…

— Гаммерсмис! Поезд нейдет дальше! — кондуктор звякнул дверью, полились из вагона.

Сверху, сквозь колодцы лифтов и лестниц, был слышен глухой чугунный гул. Цилиндры и огромные, наискось надетые, шляпы — остались на платформе, влипли в ослепительно-белые стены, слились с малиновыми и зелеными плакатами, с

неподвижно мчащимися лицами на автомобиле «Роллс-Ройс», с «Автоматическим солнцем». В белых кафельных катакомбах спасалась толпа странных плакатных христиан.

Леди-Яблоко потерянно огляделась, зацепилась глазами за единственную знакомую фигуру — со сложенными на животе клешнями и вышлепывающими лапами — и механически, во сне, вошла в лифт вместе с Краггсом. Лифт понес их наверх, на улицу.

Там, в черном небе, мелькали белые треугольники, линии, неслись с топотом и гулом глухие черепахи-дома, деревья. Леди-Яблоко догнала Краггса:

— Послушайте… Простите… Не можете ли вы меня, ради бога, куда-нибудь… Мне надо было в Лейстер-Сквере, я ничего не понимаю…

Чугунный монументик остановился устойчиво на секунду, века. Из-под опущенных век в темноте — лезвия глаз:

— Право, я очень сожалею. Но я тороплюсь домой. И кроме того… — Мистер Краггс неслышно смеялся, это было просто смешно — только подумать он — и… и… какая-то…

Перпендикулярно над головой, в истончающейся тишине, стрекотал громадный шершень.

Мистер Краггс торопился: Лори была одна. Он быстро вышлепывал лапами по асфальту. Показалось, чек перестал шевелиться в кармане, мистер Краггс приостановился пощупать — и услышал дробные, дрожащие шажки сзади: издали к нему бежала тень, как потерянная, бесхозяйная собачка, робко, униженно.

Стало ясно: эта… эта женщина пойдет за ним до самых дверей, будет стоять всю ночь или сидеть на ступеньках, и вообще — что-то нелепое, как во сне.

Мистер Краггс вытер платком лоб, через плечо покосившись назад, — юркнул в первый темный переулочек: попасть в дом со двора.

Ощупью, по выщербленным в верее кирпичам, мистер Краггс разыскал свою калитку и стукнул. В темном окне спальни неясно пробелело лицо — это было явно лицо миссис Лори. Миссис Лори размахнулась и что-то бросила из окна. Что бы это все значило?

Мистер Краггс долго стучал, стучал все громче — на всю Аббатскую улицу, — но калитка не открывалась. Мистер Краггс обсуждал положение и старался вытащить из головы хоть что-нибудь удобопонятное, как вдруг топнули совсем рядом, тут, чугунные ступни, задребезжали верешки

стекол, свалился цилиндр мистера Краггса, и, ловя цилиндр, монументик упал на асфальт.

7

По воскресеньям, когда мистера Краггса не было дома, миссис Лори принимала у себя мать и сестру.

В сумерках — они приходили из Уайт-Чэпеля, стучали тихонько в заднюю калитку и через кухню шли в столовую. В металлической столовой они садились на краешек стула, в шляпах пили чай, съедали по одному кусочку кекса.

— Ну, пожалуйста, милые, берите: у меня в буфете — другой такой же, целый… — Миссис Лори торжествующе открывала буфет.

— Нет, спасибо. Право же… — Гостьи глотали слюну и, сидя на краешке, одним ухом вслушивались за окошко, чтобы не прозевать знакомого вышлепыванья лап и вовремя исчезнуть в кухню. Но слышался только шорох по асфальту бесчисленных плетеных колясочек.

— Счастливая вы, Лори… — вздыхали гостьи, любуясь. — Помнишь, как ты, бывало, с нами на рынке… А теперь…

Мрамор миссис Лори розовел: это так нужно — извне получить подтверждение, что ты —

счастливая…

Втроем шли в спальню. Миссис Лори зажигала свет, сияли хрустальные подвески, блестели глаза. На кровати, на стульях — невообразимо кружевное, и белое, и паутинное.

— Ну, Лори, пожалуйста. В белом вы, должно быть, прямо — королева.

Миссис Лори раздевалась за ширмой. Вышла — в черных чулках и в туфлях и в тончайшем белом: теплый мрамор миссис Лори чуть-чуть розовел сквозь белое, переливались, розовея, хрустальные подвески, и быстро колыхалась розовая занавесь на губах миссис Лори: вот-вот раздунется ветром.

— Счастливая вы, Лори… — вздыхали гостьи, любуясь.

Внизу кто-то стучал в дверь. У всех трех — одно: Краггс.

— Господи, уж темно, давно пора домой, — вскочили гостьи.

Миссис Лори наспех накинула утренний белый халат, проводила мать и сестру через черный ход и открыла дверь.

Но это был не Краггс: в дверях стоял со свертком беловоротничковый мальчишка и будто наивно так — шмурыгал носом, но один мышиный глаз

хитро прищурен.

— Вам, мадам, — подал он сверток.

В свертке, как и прошлое воскресенье, был букет чайных роз, с оттопыренными, отогнутыми по краям лепестками.

Миссис Лори вспыхнула.

— Отдайте назад, — сердито ткнула она букет мальчишке.

Мальчишка прищурил глаз еще больше:

— Ну-у, куда же: магазин не примет, деньги уплочены.

Миссис Лори побежала с букетом в спальню. Розы были очень спелые, лепестки сыпались по лестнице, миссис Лори растерянно оглядывалась. Сунула букет под кружевной ворох на столе и, собирая по пути лепестки со ступеней, пошла вниз. Протянула три пенса мальчишке, стараясь глядеть вверх — мимо понимающе-прищуренного мышиного глаза.

Там, вверху, было черное мозаичное небо — из белых ползающих треугольников и квадратов.

— Ну, да, конечно: зэппы летят, — весело ответил мальчишка поднятым бровям миссис Лори. — То и гляди, начнут. Спасибо, мадам… — и нырнул в темноту.

Миссис Лори спустила жалюзи в столовой и

— вся в металлическом сиянье — торопилась уложить знаменитые ложки, каждую в соответствующий футлярчик: надо было скорей, пока еще не начали. На шестой ложечке, с тремя замками, — герб города Ньюкастля — ухнуло глухо. Ложечка с тремя замками осталась лежать на столе, рядом с пустым футляром.

Тупые чугунные ступни с грохотом вытопывали — по домам, по людям — все ближе. Еще шаг — и мир миссис Лори рухнет: Краггс, ложечки, невообразимо кружевное…

Жить — еще пять минут. И надо — самое главное.

«Букет… Самое главное — выкинуть букет…» — очень торопилась сказать себе миссис Лори.

В спальне — выхватила букет из-под кружевной груды.

«Ну да, во двор. К нему же во двор, чтобы он…»

Она высунулась в окно, размахнулась. Пронеслось совсем близко бредовое геометрическое небо — и черная, вырезанная из качающегося картона фигура на соседнем дворе. Миссис Лори со злостью бросила прямо в лицо ему букет и услышала — может быть, в бреду — такой смеш-

ной, детский, хлюпающий плач.

Топнуло тут, рядом; задребезжали верешки стекол; валилось; рушился мир миссис Лори, ложечки, кружевное.

— Бэйли! Бэйли! — Разрушенная миссис Лори стремглав летела по лестнице вниз во двор.

Мелькнуло бредовое небо. Мелькнула под забором черная, нелепо тонкая фигура. И нежные, как у жеребенка, губы раздвинули занавесь на губах миссис Лори. Жить еще минуту.

На асфальте, усеянном угольной пылью, жили минуту, век, в бессмертной малиновой вселенной. В калитку стучали, стучали. Но в далекой малиновой вселенной не было слышно.

Электрические лампы потухли. Запинаясь лапами в лохматой темноте и раздавливая верешки стекол, мистер Крагтс долго бродил по комнатам и звал:

— Лори! Да где же вы, Лори?

Чугунные ступни, ухая, уходили к югу, затихали. Мистер Краггс нашел наконец свечку, побежал наверх, в спальню. И почти следом за ним на пороге явилась миссис Лори.

— Господи! Где вы были? — повернулся на пьедестале мистер Краггс. — Цилиндр… понимаете, сбило цилиндр… — Мистер Краггс поднял свечу

и раскрыл рот: белый утренний халат миссис Лори — расстегнут, и тончайшее белое под ним — изорвано и все в угольной пыли. На ресницах — слезы, а губы…

Занавеси не было.

— Что с вами? Вы… вы не ранены, Лори?

— Да… То есть нет. О нет! — засмеялась миссис Лори. — Я только… Выйдите на минутку, я сейчас переоденусь и спущусь в столовую. Кажется, уже все кончилось.

Миссис Лори переоделась, тщательно собрала лепестки с полу, уложила их в конвертик, конвертик — в шкатулку. Чугунные ступни затихли где-то на юге. Все кончилось.

1918

Дракон



Люто замороженный, Петербург горел и бредил. Было ясно: невидимые за туманной занавесью, поскрипывая, пошаркивая, на цыпочках бредут вон желтые и красные колонны, шпили и седые решетки. Горячечное, небывалое, ледяное солнце в тумане — слева, справа, вверху, внизу

— голубь над загоревшимся домом. Из бредового, туманного мира выныривали в земной мир драконо-люди, изрыгали туман, слышимый в туманном мире как слова, но здесь — белые, круглые дымки; выныривали и тонули в тумане. И со скрежетом неслись в неизвестное вон из земного мира трамваи.

На трамвайной площадке временно существовал дракон с винтовкой, несся в неизвестное. Картуз налезал на нос и, конечно, проглотил бы голову дракона, если б не уши: на оттопыренных ушах картуз засел. Шинель болталась до полу; рукава свисали; носки сапог загибались — пустые. И дыра в тумане: рот.

Это было уже в соскочившем, несущемся мире, и здесь изрыгаемый драконом лютый туман был видим и слышим:

— …Веду его: морда интеллигентная — просто глядеть противно. И еще разговаривает, стервь, а? Разговаривает!

— Ну и что же — довел?

— Довел: без пересадки — в Царствие Небесное. Штычком.

Дыра в тумане заросла: был только пустой картуз, пустые сапоги, пустая шинель. Скрежетал и несся вон из мира трамвай.

И вдруг — из пустых рукавов — из глубины — выросли красные, драконьи лапы. Пустая шинель присела к полу — и в лапах серенькое, холодное, материализованное из лютого тумана.

— Мать ты моя! Воробьеныш замерз, а? Ну скажи ты на милость!

Дракон сбил назад картуз — и в тумане два глаза — две щелочки из бредового в человечий мир.

Дракон из всех сил дул ртом в красные лапы, и это были явно слова воробьенышу, но их — в бредовом мире — не было слышно. Скрежетал трамвай.

— Стервь этакая: будто трепыхнулся, а? Нет еще? А ведь отойдет, ей-бо… Ну ска-жи ты!

Изо всех сил дунул. Винтовка валялась на полу. И в предписанный судьбою момент, в предписанной точке пространства серый воробьеныш дрыгнул, еще дрыгнул — и спорхнул с красных драконьих лап в неизвестное.

Дракон оскалил до ушей туманно-полыхающую пасть. Медленно картузом захлопнулись щелочки в человечий мир. Картуз осел на оттопыренных ушах. Проводник в Царствие Небесное поднял винтовку.

Скрежетал зубами и несся в неизвестное, вон из человеческого мира, трамвай.

‹1918›

Мамай



По вечерам и по ночам — домов в Петербурге больше нет: есть шестиэтажные каменные корабли. Одиноким шестиэтажным миром несется корабль по каменным волнам среди других одиноких шестиэтажных миров; огнями бесчисленных кают сверкает корабль в разбун-

товавшийся каменный океан улиц. И конечно, в каютах не жильцы: там — пассажиры. По-корабельному просто все незнакомо-знакомы друг с другом, все — граждане осажденной ночным океаном шестиэтажной республики.

Пассажиры каменного корабля № 40 по вечерам неслись в той части петербургского океана, что обозначена на карте под именем Лахтинской улицы. Осип, бывший швейцар, а ныне — гражданин Малафеев, стоял у парадного трапа и сквозь очки глядел туда, во тьму: изредка волнами еще прибивало одного, другого. Мокрых, засыпанных снегом, вытаскивал их из тьмы гражданин Малафеев и, передвигая очки на носу — регулировал для каждого уровень почтения: бассейн, откуда изливалось почтение, сложным механизмом был связан с очками.

Вот — очки на кончике носа, как у строгого педагога: это — Петру Петровичу Мамаю.

— Вас, Петр Петрович, супруга дожидают обедать. Сюда приходили, очень расстроенные. Как же это вы поздно так?

Затем очки плотно, оборонительно уселись в седле: тот, носатый из двадцать пятого — на автомобиле. С носатым — очень затруднительно: «господином» его нельзя, «товарищем» — будто

неловко. Как бы это так, чтобы оно…

— А, господин-товарищ Мыльник! Погодка-то, господин-товарищ Мыльник… затруднительная…

И наконец — очки наверх, на лоб: на борт корабля вступал Елисей Елисеич.

— Ну, слава Богу! Благополучно? В шубе-то вы не боитесь — снимут? Позвольте — обтряхну…

Елисей Елисеич — капитан корабля: уполномоченный дома. И Елисей Елисеич — один из тех сумрачных Атласов, что, согнувшись, страдальчески сморщившись, семьдесят лет несут по Миллионной карниз Эрмитажа.

Сегодня карниз был явно еще тяжелее, чем всегда. Елисей Елисеич задыхался:

— По всем квартирам… Скорее… На собрание… В клуб…

— Батюшки! Елисей Елисеич, или опять что… затруднительное?

Но ответа не нужно: только взглянуть на страдальчески сморщенный лоб, на придавленные тяжестью плечи. И гражданин Малафеев, виртуозно управляя очками, побежал по квартирам. Набатный его стук у двери — был как труба архангела: замерзали объятия, неподвижными пушечными дымками застывали ссоры, на пути

ко рту останавливалась ложка с супом.

Суп ел Петр Петрович Мамай. Или точнее: его строжайше кормила супруга. Восседая на кресле величественно, милостиво, многогрудо, буддоподобно, — она кормила земного человечка созданным ею супом:

— Ну, скорей же, Петенька, суп остынет. Сколько раз говорить: я не люблю, когда за обедом с книгой…

— Ну, Аленька, — ну, я сейчас — ну, сейчас… Ведь шестое издание! Ты понимаешь: «Душенька» Богдановича — шестое издание! В двенадцатом году при французах все целиком сгорело, и все думали — уцелело только три экземпляра… А вот — четвертый: понимаешь? Я на Загородном вчера нашел…

Мамай 1917 года — завоевывал книги. Десятилетним вихрастым мальчиком он учил закон Божий, радовался перьям, и его кормила мать; сорокалетним лысеньким мальчиком — он служил в страховом обществе, радовался книгам, и его кормила супруга.

Ложка супу — жертвоприношение Будде — и снова земной человечек суетно забыл о провидении в обручальном кольце — и нежно гладил, ощупывал каждую букву. «В точности против

первого издания… С одобрения Цензурнаго Комитета»… Ну, до чего приятное, до чего умильное *т* на трех толстеньких ножках…

— Ну, Петенька, да что это? Кричу-кричу, а ты со своей книгой… Оглох, что ли: стучат.

Петр Петрович — со всех ног в переднюю. В дверях — очки на кончике носа:

— Елисей Елисеич велели — чтоб на собрание. Скорее.

— Ну вот, только за книгу сядешь… Ну что еще такое? — У лысенького мальчика в голосе слезы.

— Не могу знать. А только чтоб скорее… — Дверь каюты захлопнулась, очки понеслись дальше…

На корабле было явно неблагополучно: быть может, потерян курс; быть может, где-нибудь в днище — невидимая пробоина, и жуткий океан улиц уже грозит хлынуть внутрь. Где-то вверху, и вправо, и влево — тревожно, дробно стучат в двери кают; где-то на полутемных площадках — потушенные, вполголоса разговоры; и топот быстро сбегающих по ступенькам подошв: вниз, в кают-компанию, в домовый клуб.

Там — оштукатуренное небо, все в табачных грозовых тучах. Душная калориферная тишина, чуть-чуть чей-то шепот. Елисей Елисеич позвонил в колокольчик, согнулся, наморщился

— слышно было в тишине, как хрустнули плечи, — поднял карниз невидимого Эрмитажа и обрушил на головы, вниз:

— Господа. По достоверным сведениям — сегодня ночью обыски.

Гул, грохот стульев; чьи-то выстреленные головы, пальцы перстнями, бородавки, бантики, баки. И на согнувшегося Атласа — ливень из табачных туч:

— Нет, позвольте! Мы обязаны…

— Как? И бумажные деньги?

— Елисей Елисеич, я предлагаю, чтобы ворота…

— В книги, самое верное — в книги…

Елисей Елисеич, согнувшись, каменно выдерживал ливень. И Осипу, не поворачивая головы (быть может, она и не могла повернуться):

— Осип, кто нынче на дворе в ночной смене?

Осипов палец медленно, среди тишины, прокладывал путь по расписанию на стене: палец двигал не буквы, а тяжелые мамаевские шкафы с книгами.

— Нынче М: гражданин Мамай, гражданин Малафеев.

— Ну вот. Возьмите револьверы — и в случае, если без ордера…

Каменный корабль № 40 несся по Лахтинской

улице сквозь шторм. Качало, свистело, секло снегом в сверкающие окна кают, и где-то невидимая пробоина, и неизвестно: пробьется ли корабль сквозь ночь к утренней пристани — или пойдет ко дну. В быстро пустеющей кают-компании пассажиры цеплялись за каменно-неподвижного капитана:

— Елисей Елисеич, а если в карманы? Ведь не будут же…

— Елисей Елисеич, а если я повешу в уборной, как пипифакс, а?

Пассажиры юркали из каюты в каюту и в каютах вели себя необычайно: лежа на полу, шарили рукою под шкафом; святотатственно заглядывали внутрь гипсовой головы Льва Толстого; вынимали из рамы пятьдесят лет на стене безмятежно улыбавшуюся бабушку.

Земной человечек Мамай — стоял лицом к лицу с Буддой и прятал глаза от всевидящего, пронизывающего трепетом ока. Руки у него были совершенно чужие, ненужные: куцые пингвиньи крылышки. Руки ему мешали уже сорок лет, и если бы не мешали сейчас — может, ему очень просто было бы сказать то, что надо сказать, — и так страшно, так немыслимо…

— Не понимаю: ты-то чего струсил? Даже нос

побелел! Нам-то что? Какие такие тысячи у нас?

Бог знает, если бы у Мамая 1300 какого-то года были бы тоже чужие руки, и такая же тайна, и такая же супруга — может быть, он поступил бы так же, как Мамай 1917 года: где-то среди грозной тишины в уголку заскребла мышь — и туда со всех ног глазами кинулся Мамай 1917 года и, забившись в мышиную норь, продрожал:

— У меня… то есть — у нас… Че… четыре тысячи двести…

— Что-о? У тебя-а? Откуда?

— Я… я понемногу все время… Я боялся у тебя каждый раз…

— Что-о? Значит, крал? Значит, меня обманывал? А я-то, несчастная, — я-то думала: уж мой Петенька… Несчастная!

— Я — для книг…

— Знаю я эти книги в юбках! Молчи!

Десятилетнего Мамая мать секла только один раз в жизни: когда у только что заведенного самовара он отвернул кран — вода вытекла, все распаялось — кран печально повис. И теперь второй раз в жизни чувствовал Мамай: голова зажата у матери под мышкой, спущены штаны — и…

И вдруг мальчишечьим хитрым нюхом Мамай

учуял, как заставить забыть печально повисший кран — четыре тысячи двести. Жалостным голосом:

— Мне нынче дежурить во дворе до четырех утра. С револьвером. И Елисей Елисеич сказал, если придут без ордера…

Мгновенно — вместо молниеносного Будды — многогрудая, сердобольная мать.

— Господи! Да что они — все с ума посошли? Это все Елисей Елисеич. Ты смотри у меня — и в самом деле не вздумай…

— Не-ет, я только так, в кармане. Разве я могу? Я и муху-то…

И правда: если Мамаю попадала муха в стакан — всегда возьмет ее осторожно, обдует и пустит — лети! Нет, это не страшно. А вот четыре тысячи двести…

И снова — Будда:

— Ну что мне за наказание с тобой! Ну куда ты теперь денешь эти твои краденые — нет уж, молчи, пожалуйста — краденые, да…

Книги; калоши в передней; пипифакс; самоварная труба; ватная подкладка у Мамаевой шапки; ковер с голубым рыцарем на стене в спальне; полураскрытый и еще мокрый от снега зонтик; небрежно брошенный на столе конверт

с наклеенной маркой и четко написанным адресом воображаемому товарищу Гольдебаеву… Нет, опасно… И наконец, около полночи решено все построить на тончайшем психологическом расчете: будут искать где угодно — только не на пороге, а у порога шатается вот этот квадратик паркета. Кинжальчиком для разрезывания книг искусно поднят квадратик. Краденые четыре тысячи («Нет, уж пожалуйста — пожалуйста, молчи!») завернуты в вощеную от бисквитов бумагу (под порогом может быть сыро) — и четыре тысячи погребены под квадратиком.

Корабль № 40 — весь как струна, на цыпочках, шепотом. Окна лихорадочно сверкают в темный океан улиц, и в пятом, во втором, в третьем этаже отодвигается штора, в сверкающем окне — темная тень. Нет, ни зги. Впрочем, ведь там на дворе — двое, и когда начнется — они дадут знать…

Третий час. На дворе тишина. Вокруг фонаря над воротами — белые мухи: без конца, без числа — падали, вились роем, падали, обжигались, падали вниз.

Внизу, с очками на кончике носа, философствовал гражданин Малафеев:

— Я — человек тихий, натурливый, мне затруднительно в этакой во злобе жить. Дай, думаю, в

Осташков к себе съезжу. Приезжаю — международное положение — ну прямо невозможное: все друг на дружку — чисто волки. А я так не могу: я человек тихий…

В руках у тихого человека — револьвер, с шестью спрессованными в патронах смертями.

— А как же вы, Осип, на японской: убивали?

— Ну, на войне! На войне — известно.

— Ну а как же штыком-то?

— Да как-как… Оно вроде как в арбуз: сперва туго идет — корка, а потом — ничего, очень свободно.

У Мамая от арбуза — мороз по спине.

— А я бы… Вот хоть бы меня самого сейчас — ни за что!

— Погодите! Приспичит — так и вы…

Тихо. Белые мухи вокруг фонаря. Вдруг издали — длинным кнутом винтовочный выстрел, и опять тихо, мухи. Слава богу: четыре часа, нынче уже не придут. Сейчас смена — и к себе в каюту, спать…

В мамаевской спальне на стене — голубой клетчатый рыцарь замахнулся голубым мечом и застыл: перед глазами у рыцаря совершалось человеческое жертвоприношение.

На белых полотняных облаках покоилась гос-

пожа Мамай — всеобъемлющая, многогрудая, буддоподобная. Вид ее говорил: сегодня она кончила сотворение мира и признала, что все — добро зело, даже и этот маленький человечек, несмотря на четыре тысячи двести. Маленький человечек обреченно стоял возле кровати, иззябший, с покрасневшим носиком, куцые, чужие, пингвиньи крылышки-руки.

— Ну иди уж, иди…

Голубой рыцарь зажмурил глаза: так ясно, до жути — вот сейчас перекрестится человечек, вытянет вперед руки — и как в воду с головою — бултых!

Корабль № 40 благополучно пронесся сквозь шторм и пристал к утренней пристани. Пассажиры торопливо вытаскивали деловые портфели, корзиночки для провизии и мимо Осиповых очков спешили на берег: корабль у пристани — только до вечера, а там — опять в океан.

Согнувшись, Елисей Елисеич пронес мимо Осипа карниз невидимого Эрмитажа — и обрушил на Осипа сверху:

— Уж нынче ночью — обыск наверное. Так пусть все и знают.

Но до ночи — еще жить целый день. И в странном, незнакомом городе — *Петрограде* — расте-

рянно бродили пассажиры. Так чем-то похоже — и так непохоже — на *Петербург*, откуда отплыли уже почти год и куда едва ли когда-нибудь вернутся. Странные, замерзшие за ночь каменно-снежные волны: горы и ямы. Воины из какого-то неизвестного племени — в странных лохмотьях, оружие на веревочках за плечами. Чужеземный обычай — ходить в гости с ночевкой: на улицах ночью — вальтер-скоттовские роб-рои. И вот тут на Загородном — выжженные в снегу капельки крови… Нет, не Петербург!

По незнакомому Загородному потерянно бродил Мамай. Пингвиньи крылышки мешали; голова висела, как кран у распаявшегося самовара; на левом стоптанном каблуке — снежный globus hystericus, мучителен каждый шаг.

И вдруг вздернулась голова, ноги загарцевали двадцатипятилетне, на щеках — маки: из окна улыбалась Мамаю — …

— Эй, зёва, с дороги! — навстречу, напролом краснорожие перли с огромными торбами.

Мамай отскочил, не отрывая глаз от окна, и чуть только проперли — снова к окну: оттуда ему улыбалась — …

«Да, ради этой – и украдешь, и обма-

нешь, и все».

Из окна улыбалась, раскинувшись соблазнительно, сладострастно — екатерининских времен книга: «Описательное изображение прекрасностей Санкт-Питербурха». И небрежным движением, с женским лукавством, давала заглянуть внутрь — туда, в теплую ложбинку между двух упруго изогнутых, голубовато-мраморных страниц.

Мамай был двадцатипятилетне влюблен. Каждый день ходил на Загородный под окно и молча, глазами, пел серенады. Не спал по ночам — и хитрил сам с собой: будто оттого не спит, что под полом где-то работает мышь. Уходил по утрам — и всякое утро тот самый паркетный квадратик на пороге колол сладким гвоздем: под квадратиком погребено было Мамаево счастье, так близко, так далеко. Теперь, когда все открылось про четыре тысячи двести, — теперь как же?

На четвертый день, как трепыхающегося воробья — зажав сердце в кулак, Мамай вошел в ту самую дверь на Загородном. За прилавком — седобородый, кустобровый Черномор, в плену у которого обитала *она*. В Мамае воскрес его воинственный предок: Мамай храбро двинулся на

Черномора.

— А, господин Мамай! Давненько, давненько… У меня для вас кой-что отложено.

Зажав воробья еще крепче, Мамай перелистывал, притворно-любовно поглаживал книги, но жил спиною: за спиной в витрине улыбалась *она*. Выбрав пожелтевший 1835 года «Телескоп», долго торговался Мамай — и безнадежно махнул рукой. Потом, лисьими кругами рыская по полкам, добрался до окна — и так, будто между прочим:

— Ну а эта сколько?

Ёк — воробей выпорхнул — держи! держи! Черномор програбил пальцами бороду:

— Да что же — для почину… с вас полтораста.

— Гм… Пожалуй… (Ура! Колокола! Пушки!) — Что же, пожалуй… Завтра принесу деньги и заберу.

Теперь надо через самое страшное: квадратик возле порога. Ночь Мамай пекся на угольях: нужно, нельзя, можно, немыслимо, можно, нельзя, нужно…

Всеведущее, милостивое, грозное — провидение в обручальном кольце пило чай.

— Ну кушай же, Петенька. Ну что ты такой какой-то… Не спал опять?

— Да. Мы… мыши… не знаю.

— Брось платок, не крути! Что это такое, в самом деле!

— Я… я не кручу…

И вот наконец выпит стакан: не стакан — бездонная, сорокаведерная бочка. Будда на кухне принимала жертвоприношение от кухарки. Мамай в кабинете один.

Мамай тикнул, как часы, — перед тем как пробить двенадцать. Глотнул воздуху, прислушался, на цыпочках — к письменному столу: там кинжальчик для книг. Потом в лихорадке гномиком скорчился на пороге, на лысине — ледяная роса, запустил кинжальчик под квадрат, ковырнул — и… отчаянный вопль!

На вопль Будда пригремела из кухни — и у ног увидала: тыквенная лысинка, ниже — скорченный гномик с кинжальчиком, и еще ниже — мельчайшая бумажная труха.

— Четыре тысячи — мыши… Вон-вон она! Вон!

Жестокий, беспощадный, как Мамай 1300 какого-то года, Мамай 1917 года воспрянул с карачек — и с мечом в угол у двери: в угол забилась вышарахнувшая из-под квадратика мышь. И мечом кровожадно Мамай прогвоздил врага. Арбуз: одну секунду туго — корка, потом легко — мякоть, и стоп: квадратик паркета, конец.

1920

Пещера



Ледники, мамонты, пустыни. Ночные, черные, чем-то похожие на дома, скалы; в скалах пещеры. И неизвестно, кто трубит ночью на каменной тропинке между скал и, вынюхивая тропинку, раздувает белую снежную пыль; может быть, серохоботый мамонт; может быть, ветер; а мо-

жет быть — ветер и есть ледяной рев какого-то мамонтейшего мамонта. Одно ясно: зима. И надо покрепче стиснуть зубы, чтоб не стучали; и надо щепать дерево каменным топором; и надо всякую ночь переносить свой костер из пещеры в пещеру, все глубже; и надо все больше навертывать на себя косматых звериных шкур.

Между скал, где века назад был Петербург, ночами бродил серохоботый мамонт. И завернутые в шкуры, в пальто, в одеяла, в лохмотья — пещерные люди отступали из пещеры в пещеру. На Покров Мартин Мартиныч и Маша заколотили кабинет; на Казанскую выбрались из столовой и забились в спальне. Дальше отступать было некуда; тут надо было выдержать осаду — или умереть.

В пещерной петербургской спальне было так же, как недавно в ноевом ковчеге: потопно перепутанные чистые и нечистые твари. Красного дерева письменный стол; книги; каменно-вековые гончарного вида лепешки; Скрябин, опус 74; утюг; пять любовно, добела вымытых картошек; никелированные решетки кроватей; топор; шифоньер; дрова. И в центре всей этой вселенной — бог, коротконогий, ржаво-рыжий, приземистый, жадный пещерный бог: чугунная печка.

Бог могуче гудел. В темной пещере — великое огненное чудо. Люди — Мартин Мартиныч и Маша — благоговейно, молча, благодарно простирали к нему руки. На один час — в пещере весна; на один час — скидывались звериные шкуры, когти, клыки, и сквозь обледеневшую мозговую корку пробивались зеленые стебельки — мысли.

— Март, а ты забыл, что ведь завтра… Ну, уж я вижу: забыл!

В октябре, когда листья уже пожолкли, пожухли, сникли — бывают синеглазые дни; запрокинуть голову в такой день, чтоб не видеть земли, — и можно поверить: еще радость, еще лето. Так и с Машей: если вот закрыть глаза и только слушать ее — можно поверить, что она прежняя и сейчас засмеется, встанет с постели, обнимет, и час тому назад ножом по стеклу — это не ее голос, совсем не она…

— Ай, Март, Март! Как всё… Раньше ты не забывал. Двадцать девятое: Марии, мой праздник…

Чугунный бог еще гудел. Света, как всегда, не было: будет только в десять. Колыхались лохматые, темные своды пещеры. Мартин Мартиныч — на корточках, узлом — туже! еще туже! — запрокинув голову, все еще смотрит в октябрьское небо, чтобы не увидеть пожолклые, сникшие

губы. А Маша:

— Понимаешь, Март, — если бы завтра затопить с самого утра, чтобы весь день было, как сейчас! А? Ну, сколько у нас? Ну с полсажени еще есть в кабинете?

До полярного кабинета Маша давным-давно не могла добраться и не знала, что там уже… Туже узел, еще туже!

— Полсажени? Больше! Я думаю, там…

Вдруг — свет: ровно десять. И не кончив, зажмурился Мартин Мартиныч, отвернулся: при свете — труднее, чем в темноте. И при свете ясно видно: лицо у него скомканное, глиняное (теперь у многих глиняные лица: назад — к Адаму). А Маша:

— И знаешь, Март, я бы попробовала — может, я встану… если ты затопишь с утра.

— Ну, Маша, конечно же… Такой день… Ну конечно — с утра.

Пещерный бог затихал, съеживался, затих, чуть потрескивает. Слышно: внизу, у Обертышевых, каменным топором щепают коряги от барки — каменным топором колют Мартина Мартиныча на куски. Кусок Мартина Мартиныча глиняно улыбался Маше и молол на кофейной мельнице сушеную картофельную шелуху для лепешек — и кусок Мартина Мартиныча, как с воли залетев-

шая в комнату птица, бестолково, слепо тукался в потолок, в стекла, в стены:

«Где бы дров – где бы дров – где бы дров».

Мартин Мартиныч надел пальто, сверху подпоясался кожаным поясом (у пещерных людей — миф, что от этого теплее), в углу у шифоньера громыхнул ведром.

— Ты куда, Март?

— Я сейчас. За водой вниз.

На темной, обледенелой от водяных сплесков лестнице постоял Мартин Мартиныч, покачался, вздохнул и, кандально позвякивая ведеркой, спустился вниз, к Обертышевым: у них еще шла вода. Дверь открыл сам Обертышев, в перетянутом веревкой пальто, давно не бритый, лицо — заросший каким-то рыжим, насквозь пропыленным бурьяном пустырь. Сквозь бурьян — желтые каменные зубы, и между камней — мгновенный ящеричный хвостик — улыбка.

— А, Мартин Мартиныч! Что, за водичкой? Пожалуйте, пожалуйте, пожалуйте.

В узенькой клетке между наружной и внутренней дверью с ведром не повернуться — в клетке обертышевские дрова. Глиняный Мартин

Мартиныч боком больно стукнулся о дрова — в глине глубокая вмятина. И еще глубже: в темном коридоре об угол комода.

Через столовую. В столовой — обертышевская самка и трое обертышат; самка торопливо спрятала под салфеткой миску: пришел человек из другой пещеры — и бог знает, вдруг кинется схватит.

В кухне, отвернув кран, каменнозубо улыбался Обертышев:

— Ну что же: как жена? Как жена? Как жена?

— Да что, Алексей Иваныч, все то же. Плохо. И вот завтра — именины, а у меня топить нечем.

— А вы, Мартин Мартиныч, стульчиками, шкафчиками… Книги тоже: книги отлично горят, отлично, отлично…

— Да ведь вы же знаете: там вся мебель, все — чужое, один только рояль…

— Так, так, так… Прискорбно, прискорбно!

Слышно в кухне: вспархивает, шуршит крыльями залетевшая птица, вправо, влево — и вдруг отчаянно, с маху в стену всей грудью:

— Алексей Иваныч, я хотел… Алексей Иваныч, нельзя ли у вас хоть пять-шесть полен…

Желтые каменные зубы сквозь бурьян, желтые зубы — из глаз, весь Обертышев обрастал зубами,

все длиннее зубы.

— Что вы, Мартин Мартиныч, что вы, что вы! У нас у самих… Сами знаете, как теперь все, сами знаете, сами знаете…

Туже узел! Туже — еще туже! Закрутил себя Мартин Мартиныч, поднял ведро — и через кухню, через темный коридор, через столовую. На пороге столовой Обертышев сунул мгновенную, ящерично-юркую руку:

— Ну, всего… Только дверь, Мартин Мартиныч, не забудьте прихлопнуть, не забудьте. Обе двери, обе, обе — не натопишься!

На темной обледенелой площадке Мартин Мартиныч поставил ведро, обернулся, плотно прихлопнул первую дверь. Прислушался, услыхал только сухую костяную дрожь в себе и свое трясущееся — пунктирное, точечками — дыхание. В узенькой клетке между двух дверей протянул руку, нащупал — полено, и еще, и еще… Нет! Скорей выпихнул себя на площадку, притворил дверь. Теперь только прихлопнуть поплотнее, чтобы щелкнул замок…

И вот — нет силы. Нет силы прихлопнуть Машино «завтра». И на черте, отмеченной чуть приметным пунктирным дыханием, схватились насмерть два Мартина Мартиныча: тот,

давний, со Скрябиным, какой знал: нельзя, — и новый, пещерный, какой знал: нужно. Пещерный, скрипя зубами, подмял, придушил — и Мартин Мартиныч, ломая ногти, открыл дверь, запустил руку в дрова… полено, четвертое, пятое, под пальто, за пояс, в ведро — хлопнул дверью и вверх — огромными, звериными скачками. Посередине лестницы, на какой-то обледенелой ступеньке, — вдруг пристыл, вжался в стену: внизу снова щелкнула дверь — и пропыленный обертышевский голос:

— Кто — там? Кто там? Кто там?

— Это я, Алексей Иваныч. Я… я дверь забыл… Я хотел… Я вернулся — дверь поплотнее…

— Вы? Гм… Как же это вы так? Надо аккуратнее, надо аккуратнее. Теперь всё крадут, сами знаете, сами знаете. Как же это вы так?

Двадцать девятое. С утра — низкое, дырявое, ватное небо, и сквозь дыры несет льдом. Но пещерный бог набил брюхо с самого утра, милостиво загудел — и пусть там дыры, пусть обросший зубами Обертышев считает поленья — пусть, все равно: только бы сегодня; «завтра» — непонятно в пещере; только через века будут знать «завтра», «послезавтра».

Маша встала и, покачиваясь от невидимого

ветра, причесалась по-старому: на уши, посередине пробор. И это было — как последний, болтающийся на голом дереве, жухлый лист. Из среднего ящика письменного стола Мартин Мартиныч вытащил бумаги, письма, термометр, какой-то синий флакончик (торопливо сунул его обратно — чтобы не видела Маша) — и, наконец, из самого дальнего угла черную лакированную коробочку: там, на дне, был еще настоящий — да, да! самый настоящий чай! Пили настоящий чай. Мартин Мартиныч, запрокинув голову, слушал такой похожий на прежний голос:

— Март, а помнишь: моя синенькая комната, и пианино в чехле, и на пианино — деревянный конек — пепельница, и я играла, а ты подошел сзади…

Да, в тот вечер была сотворена вселенная, и удивительная, мудрая морда луны, и соловьиная трель звонков в коридоре.

— А помнишь, Март: открыто окно, зеленое небо — и снизу, из другого мира, — шарманщик?

Шарманщик, чудесный шарманщик — где ты?

— А на набережной… Помнишь? Ветки еще голые, вода румяная, и мимо плывет последняя синяя льдина, похожая на гроб. И только смешно, от гроба, потому что ведь мы — никогда не умрем.

Помнишь?

Внизу начали колоть каменным топором. Вдруг перестали, какая-то беготня, крик. И расколотый надвое, Мартин Мартиныч одной половиной видел бессмертного шарманщика, бессмертного деревянного конька, бессмертную льдину, а другой — пунктирно дыша — пересчитывал вместе с Обертышевым поленья дров. Вот уж Обертышев сосчитал, вот надевает пальто, весь обросший зубами — свирепо хлопает дверью, и…

— Погоди, Маша, кажется — кажется, у нас стучат.

Нет. Никого. Пока еще никого. Еще можно дышать, еще можно запрокинуть голову, слушать голос — такой похожий на тот, прежний.

Сумерки. Двадцать девятое октября состарилось. Пристальные мутные, старушечьи глаза — и все ежится, сморщивается, горбится под пристальным взглядом. Оседает сводами потолок, приплюснулись кресла, письменный стол, Мартин Мартиныч, кровати, и на кровати — совсем плоская, бумажная Маша.

В сумерках пришел Селихов, домовый председатель. Когда-то он был шестипудовый — теперь уже вытек наполовину, болтался в пиджачной скорлупе, как орех в погремушке. Но еще по-ста-

рому погромыхивал смехом.

— Ну-с, Мартин Мартиныч, во-первых — во-вторых, супругу вашу — с тезоименитством. Как же, как же! Мне Обертышев говорил…

Мартина Мартиныча выстрелило из кресла, пронесся, заторопился — говорить, что-нибудь говорить…

— Чаю… я сейчас — я сию минуту… У нас сегодня — настоящий. Понимаете: настоящий! Я его только что…

— Чаю? Я, знаете ли, предпочел бы шампанского. Нету? Да что вы! Гра-гра-гра! А мы, знаете, с приятелем третьего дня из гофманских гнали спирт. Потеха! Налакался… «Я, — говорит, — Зиновьев: на колени!» Потеха! А оттуда домой иду — на Марсовом поле навстречу мне человек в одном жилете, ей-богу! «Что это вы?» — говорю. — «Да ничего, — говорит. — Вот раздели сейчас, домой бегу на Васильевский». Потеха!

Приплюснутая, бумажная, смеялась на кровати Маша. Всего себя завязав в тугой узел, все громче смеялся Мартин Мартиныч — чтобы подбросить в Селихова дров, чтобы он только не перестал, чтобы только не перестал, чтобы о чем-нибудь еще…

Селихов переставал, чуть пофыркивая, затих. В

пиджачной скорлупе болтнулся вправо и влево; встал.

— Ну-с, именинница, ручку. Чик! Как, вы не знаете? По-ихнему, честь имею кланяться — ч. и. к. Потеха!

Громыхал в коридоре в передней. Последняя секунда: сейчас уйдет, или — …

Пол чуть-чуть покачивался, покруживался у Мартина Мартиныча под ногами. Глиняно улыбаясь, Мартин Мартиныч придерживался за косяк. Селихов пыхтел, заколачивая ноги в огромные боты.

В ботах, в шубе, мамонтоподобный — выпрямился, отдышался, потом молча взял Мартина Мартиныча под руку, молча открыл дверь в полярный кабинет, молча сел на диван.

Пол в кабинете — льдина; льдина чуть слышно треснула, оторвалась от берега — и понесла, понесла, закружила Мартина Мартиныча, и оттуда — с диванного, далекого берега — Селихова еле слыхать.

— Во-первых — во-вторых, сударь мой, должен вам сказать, я бы этого Обертышева, как гниду, ей-богу… Но сами понимаете: раз он официально заявляет, раз говорит — завтра пойду в уголовное… Этакая гнида! Я вам одно могу посоветовать:

сегодня же, сейчас же к нему — и заткните ему глотку этими самыми поленьями.

Льдина — все быстрее. Крошечный, сплюснутый, чуть видный — так, щепочка — Мартин Мартиныч ответил — себе, и не о поленьях… поленья — что! — нет, о другом:

— Хорошо. Сегодня же. Сейчас же.

— Ну вот и отлично, вот и отлично! Это — такая гнида, такая гнида, я вам скажу…

В пещере еще темно. Глиняный, холодный, слепой — Мартин Мартиныч тупо натыкался на потопно перепутанные в пещере предметы. Вздрогнул: голос, похожий на Машин, на прежний…

— О чем вы там с Селиховым? Что? Карточки? А я, Март, все лежала и думала: собраться бы с духом — и куда-нибудь, чтоб солнце… Ах, как ты гремишь! Ну как нарочно. Ведь ты же знаешь — я не могу, я не могу, не могу!

Ножом по стеклу. Впрочем — теперь все равно. Механические руки и ноги. Поднимать и опускать их — нужно какими-то цепями, лебедкой, как корабельные стрелы, и вертеть лебедку — одного человека мало: надо троих. Через силу натягивая цепи, Мартин Мартиныч поставил разогреваться чайник, кастрюльку, подбросил

последние обертышевские поленья.

— Ты слышишь, что я тебе говорю? Что ж ты молчишь? Ты слышишь?

Это, конечно, не Маша, нет, не ее голос. Все медленней двигался Мартин Мартиныч, ноги увязали в зыбучем песке, все тяжелее вертеть лебедку. Вдруг цепь сорвалась с какого-то блока, стрела-рука — ухнула вниз, нелепо задела чайник, кастрюльку — загремело на пол, пещерный бог змеино шипел. И оттуда, с далекого берега, с кровати — чужой, пронзительный голос:

— Ты нарочно! Уходи! Сейчас же! И никого мне — ничего, ничего не надо, не надо! Уходи!

Двадцать девятое октября умерло, и умер бессмертный шарманщик, и льдины на румяной от заката воде, и Маша. И это хорошо. И нужно, чтоб не было невероятного «завтра», и Обертышева, и Селихова, и Маши, и его — Мартина Мартиныча, чтобы умерло все.

Механический, далекий Мартин Мартиныч еще делал что-то. Может быть, снова разжигал печку, и подбирал с полу кастрюльку, и кипятил чайник; и может быть, что-нибудь говорила Маша — не слышал: только тупо ноющие вмятины на глине от каких-то слов и от углов шифоньера, стульев, письменного стола.

Мартин Мартиныч медленно вытаскивал из письменного стола связки писем, термометр, сургуч, коробочку с чаем, снова — письма. И наконец, откуда-то, с самого со дна, темно-синий флакончик.

Десять: дали свет. Голый, жесткий, простой, холодный — как пещерная жизнь и смерть — электрический свет. И такой простой — рядом с утюгом, 74-м опусом, лепешками — синий флакончик.

Чугунный бог милостиво загудел, пожирая пергаментно-желтую, голубоватую, белую бумагу писем. Тихонько напомнил о себе чайник, постучал крышкой. Маша обернулась:

— Скипел чай? Март, милый, дай мне — …

Увидела. Секунда, насквозь пронизанная ясным, голым, жестоким электрическим светом: скорченный перед печкой Мартин Мартиныч; на письмах — румяный, как вода на закате, отблеск; и там — синий флакончик.

— Март! Ты… ты хочешь…



Тихо. Равнодушно пожирая бессмертные, горькие, нежные, желтые, белые, голубые слова — тихонько мурлыкал чугунный бог. И Маша — так же просто, как просила чаю:

— Март, милый! Март — дай это мне!

Мартин Мартиныч улыбнулся издалека:

— Но ведь ты же знаешь, Маша, там — только на одного.

— Март, ведь меня все равно уже нет. Ведь это уже не я — ведь все равно я скоро… Март, ты же понимаешь — Март, пожалей меня… Март!

Ах, тот самый — тот самый голос… И если запрокинуть голову вверх…

— Я, Маша, тебя обманул: у нас в кабинете — ни полена. И я пошел к Обертышеву, и там между дверей… Я украл — понимаешь? И Селихов мне… Я должен сейчас отнести назад — а я все сжег — я все сжег — все! Я не о поленьях, поленья — что! — ты же понимаешь?

Равнодушно задремывает чугунный бог. Потухая, чуть вздрагивают своды пещеры, и чуть вздрагивают дома, скалы, мамонты, Маша.

— Март, если ты меня еще любишь… Ну, Март, ну вспомни! Март, милый, дай мне!

Бессмертный деревянный конек, шарманщик, льдина. И этот голос… Мартин Мартиныч медленно встал с колен. Медленно, с трудом ворочая лебедку, взял со стола синий флакончик и подал Маше.

Она сбросила одеяло, села на постели румяная, быстрая, бессмертная — как тогда вода на закате, схватила флакончик, засмеялась.

— Ну вот видишь: недаром я лежала и думала — уехать отсюда. Зажги еще лампу — ту, на столе. Так. Теперь еще что-нибудь в печку — я хочу, чтобы огонь…

Мартин Мартиныч, не глядя, выгреб какие-то бумаги из стола, кинул в печь.

— Теперь… Иди погуляй немного. Там, кажется, луна — *моя* луна: помнишь? Не забудь — возьми ключ, а то захлопнешь, а открыть — …

Нет, там луны не было. Низкие, темные глухие облака — своды, и все — одна громадная, тихая пещера. Узкие, бесконечные проходы между стен; и похожие на дома темные, обледенелые скалы; и в скалах — глубокие, багрово освещенные дыры: там, в дырах, возле огня — на корточках люди. Легкий ледяной сквознячок сдувает из-под ног белую пыль, и никому не слышная — по белой пыли, по глыбам, по пещерам, по людям на корточках — огромная, ровная поступь какого-то мамонтейшего мамонта.

1920

Русь



Бор — дремучий, кондовый, с берлогами медвежьими, крепким грибным и смоляным духом, с седыми лохматыми мхами. Видал и железные шеломы княжьих дружин, и куколи скитников старой, настоящей веры, и рваные шапки Степановой вольницы, и озябшие султаны Напо-

леоновых французишек. И — мимо, как будто и не было; и снова — синие зимние дни, шорох снеговых ломтей — сверху по сучьям вниз, ядреный морозный треск, дятел долбит; желтые летние дни, восковые свечки в корявых зеленых руках, прозрачные медовые слезы по заскорузлым крепким стволам, кукушки считают годы.

Но вот в духоте вздулись тучи, багровой трещиной расселось небо, капнуло огнем — и закурился вековой бор, а к утру уж кругом гудят красные языки, шип, свист, треск, вой, полнеба в дыму, солнце в крови еле видно. И что человечки с лопатами, канавками, ведрами? Нету бора, съело огнем: пни, пепел, зола. Может, распашут тут неоглядные нивы, выколосится небывалая какая-нибудь пшеница, и бритые арканзасцы будут прикидывать на ладони тяжелые, как золото, зерна; может, вырастет город — звонкий, бегучий, каменный, хрустальный, железный — и со всего света, через моря и горы будут, жужжа, слетаться сюда крылатые люди. Но не будет уже бора, синей зимней тишины и золотой летней, и только сказочники, с пестрым узорочьем присловий, расскажут о бывалом, о волках, о медведях, о важных зеленошубых столетних дедах, о Руси, расскажут для нас, кто десять лет — сто лет — на-

зад еще видел все это своими глазами, и для тех, крылатых, что через сто лет придут слушать и дивиться всему этому, как сказке.

Не Петровским аршином отмеренные проспекты — нет: то Петербург, Россия. А тут — Русь, узкие улички — вверх да вниз, чтоб было где зимой ребятам с гиком кататься на ледяшках, — переулки, тупики, палисадники, заборы, заборы. Замоскворечье со старинными, из дуба резными названьями: с Зацепой, Ордынкою, Балчугом, Шаболовкой, Бабьегородом; подмосковная Коломна с кремлевскими железными воротами, через какие князь Дмитрий, благословясь, вышел на Куликово поле; «Владимиров» Ржев с князь Дмитриевской и князь Федоровской стороной, может, и по сей день еще расшибающими друг дружке носы в знаменитых кулачных боях; над зеркальною Волгою — Нижний с разливанной Макарьевской, с пароходными гонками, со стерлядями, с трактирами; и все поволжские Ярославли, Романовы, Кинешмы, Пучежи — с городским садом, дощатыми тротуарами, с бокастыми, приземистыми, вкусными, как просфоры, пятиглавыми церквами; и все черноземные Ельцы, Лебедяни — с конскими ярмарками, цыганами, лошадьми, маклаками, номерами для

приезжающих, странниками, прозорливцами.

Это — Русь, и тут они водились недавно — тут, как в огороженной Беловежской пуще, они еще водятся: «всех-давишь» — медведи-купцы, живые самовары-трактирщики, продувные ярославские офени, хитроглазые казанские «князья». И надо всеми — красавица, настоящая красавица русская, не какая-нибудь питерская вертунья оса, а — как Волга: вальяжная, медленная, широкая, полногрудая, и как на Волге: свернешь от стрежня к берегу, в тень — и, глядь, омут…

В городе Кустодиеве (есть даже Каинск — неужто Кустодиева нету?) прогуляйтесь — и увидите такую красавицу, Дарью — Дарью Ивановну. Кто ж родителей ее не знавал: старого мучного рода, кержацких кровей, — жить бы им да жить и по сей день, если бы не поехали Масленицей однажды кататься. Лошади были — не лошади, тигры, да и что греха таить — шампанского лошадям для лихости по бутылке подлили в пойло. И угодили сани с седоками и кучером — прямо в весеннюю прорубь. Добрый конец!

С той поры жила Дарья у тетки Фелицаты, игуменьи, — и спела, наливалась, как на ветке пунцовый анис.

Рядом по монастырскому саду идут из церкви:

Фелицата — с четками, вся в клобук и мантию от мира закована, и Дарья — круглая, крупитчатая, белая. На солнце пчелы гудят, и пахнет — не то медом, не то яблоком, не то Дарьей.

— Ну что ж, Дарья, замуж-то не откладывай. Яблоко вовремя надо снимать, а то птица налетит — расклюет, долго ли до греха!

Была когда-то в миру Фелицата, кликали ее Катей, Катюшенькой — и знает она, и помнит.

Ездят женихи к Дарье — да какие: тузы! Сазыкина взять — богатей первейший, из кустодиевских — Вахрамееву одному уступит. Отец его из Сибири, говорят, во время оно в мороженых осетрах два пуда ассигнаций вывез, и не совсем будто тут ладно было, — ну, да ведь деньги — не меченые. Не речист, правда, Сазыкин и не первой уж молодости и чем-то на Емельяна Пугачева сдает — да зато делец, каких поискать.

Ездит и сам Вахрамеев, градской голова, — по другой жене вдовец: будто к Фелицате ездит (еще Катей ее знал), да все больше с Дарьюшкой шутит. Как расправит свою — уже сивую — бороду да сядет вот так, ноги расставив, руками в колени упершись, перстнем поблескивая, да пойдет рассказывать — краснобаек у него всегда карманы полны — ну, тут только за бока держись…

А тетка торопит Дарью — чует, недолго уж жить самой:

— Ты, Дарья, — чего тут думать: к такому делу ум — как к балыку сахар. Ты билетики с именами сделай — да вот сюда, под иконы, к Заступнице на полочку. Что вынется — тому и быть.

Вынула Дарья билетик с Вахрамеевым — и камень с сердца: тот-то, Сазыкин, темный человек, Бог с ним. А Вахрамеев — веселый, и отца ее знал — будет теперь ей вместо отца.

Как сказала Фелицата Сазыкину, какое от Заступницы вышло решение, — ничего, промолчал Сазыкин, в блюдце с вареньем глядя. Только вытащил из варенья муху — поползла, повизгивая, муха — долго глядел, как ползла.

А наутро узнали: тысячного своего рысака — запалил в ту ночь Сазыкин.

И зажила Дарья в вахрамеевских двухэтажных палатах, что рядом с управской пожарной каланчой. Как пересаженная яблоня: привезут яблоню из Липецка — из кожинских знаменитых питомников, — погрустит месяц, свернутся в трубочку листья, а садовник кругом ходит, поливает, окапывает — и, глядишь, привыкла, налилась — и уж снова цветет, пахнет.

Как за особенной какой-нибудь яблоней — Зо-

лотым Наливом — ходит Вахрамеев за Дарьей. Заложит пару в ковровые сани — из-под копыт метель, ветер — и в лавку: показать «молодцам» молодую жену. Молодцы ковром стелются — ходи по ним, Дарьюшка! А покажется Вахрамееву, чей-нибудь цыганский уголь-глаз искрой бросит в нее — только поднимет Вахрамеев плеткой правую бровь — и поникнет цыганский глаз.

Ярмарка: на ярмарку с Дарьей. Крещенский мороз, в шубах — голубого снегового меху — деревья, на шестах полощутся флаги: балаганы, лотки, ржаные расписные архангельские козули, писк глиняных свистулек, радужные воздушные шары у ярославца на сниске, с музыкой крутится карусель. И может, Дарье не надо фыркающих белым паром вахрамеевских рысаков, а вот сесть бы на эту лихо загнувшую голову деревянную лошадь — и за кого-то держаться — и чтоб ветром раздувало платье, ледком обжигало колени, а из плеча в плечо — как искра…

По субботам — в баню, как ходили родители, деды. Выйдут пешком, такой был у Вахрамеева обычай, а наискосок, из своего дому, Сазыкин — тоже в баню. Вахрамеев ему через улицу — какие-нибудь свои прибаутки:

— Каково тебя Бог перевертывает? В баню? Ну

— смыть с себя художества, намыть хорошества!

Сазыкин молчит, а глаза как у Пугача, и борода смоляная пугачевская.

А в бане уж готов, с сухим паром — свой, «вахрамеевский», номер, и к нему особенный, «вахрамеевский», подъезд, и особенное казанское мыло, и особенные — майской березы — шелковые веники. И там, сбросив с себя шубу и шали и платье, там Дарья — атласная, пышная, розовая, белая, круглая — не из морской пены, из жарких банных облаков — с веником банным выйдет русская Венера, там — крякнет Вахрамеев, мотнет головой, зажмурит глаза…

И уж ждет, как всегда, у подъезда лихач Пантелей — сизый от мороза курнофеечка-нос, зубы как кипень, веселый разбойничий глаз, — наотлет шапку:

— С малиновым вас паром! Пожалте!

Дома — с картинами, серебряными ендовами, часами, со всякой редкостью под стеклянным колпаком — парадные покои, пристальные синие окна с морозной расцветкой, ступеньки — и приземистая спальня, поблескивающие венцы на благословенных иконах, чьи-то темные, с небывалой тоской на дне, глаза, двухспальный пуховый ковчег…

Так неспешно идет жизнь — и всю жизнь, как крепкий строевой лес, сидят на одном месте, корневищами ушедши глубоко в землю. Дни, вечера, ночи, праздники, будни.

В будни с утра — Вахрамеев у себя в лавке, в рядах. Чайники из трактира и румяные калачи, и от Сазыкина — пятифунтовая банка с икрой. В длиннополых сюртуках, в шубах, бутылками сапоги, волосы по-родительски стрижены «в скобку» или «под дубинку» — за чаем поигрывают миллионами, перекидывают пшеницу из Саратова в Питер, из Ростова в Нью-Йорк, и хитро, издаля, лисьими кругами — норовят на копейку объехать приятеля, клетчатыми платками вытирают лоб, божатся и клянутся.

— Да он, не побожившись, и сам себе-то не верит! — про этакого божеряку ввернет Вахрамеев — и тот сдался, замолк. Краснословье в торговле — не последнее дело.

Но и за делом Вахрамеев не забудет о Дарье. Глядь — у притолоки стоит перед ней из вахрамеевской лавки молодец — с кульком яблоков-крымок, орехов — грецких, американских, кедровых, волошских, фундуков:

— Хозяин вам велел передать.

И мелькает Дашеньке искрой цыганский уголь-

глаз — и, не подымая ресниц, скажет: спасибо. А потом, забывши про закушенное яблоко, долго глядит в окно на синие тени от дерева — и вот на тугой груди прошуршал тугой в клеточку шелк — вздохнула.

И зима, зима. От снега — все мягкое: дома — с белыми седыми бровями над окнами; круглый собачий лай; на солнце — розовый дым из труб; где-то вдали — крик мальчишек с салазками. А в праздник, когда загудят колокола во всех сорока церквах, — от колокольного гуда как бархатом выстланы все небо и земля. И тут в шубке с соболями, в пестрых нерехтских рукавичках выйти по синей снеговой целине — так, чтобы от каждого шага остались следы на всю жизнь — выйти, стать под косматой от снега колдуньей березой, глотнуть крепкого воздуху, и зарумянятся от мороза — а может, и еще от чего — щеки, и еще молодо на душе, и есть, есть что-то такое впереди — ждет скоро…

Пост. Желтым маслом политые колеи. Не позимнему крикучие стаи галок в небе. В один жалобный колокол медленно поют пятиглавые Николы, Введенья и Спасы. Старинные, дедовские кушанья: щи со снетками, кисель овсяный — с суслом, с сытой, пироги косые со щучьими

телесы, присол из живых щук, огнива белужья в ухе, жаворонки из булочной на горчичном масле. И Пасха, солнце, звон — будто самая кровь звенит весь день.

На Пасху, по обычаю, все вахрамеевские «молодцы» — к хозяину с поздравлением, христосоваться с хозяином и хозяйкой. На цыпочках, поскрипывая новыми сапогами, по одному — вытянув трубочкой губы — прикладываются к Дарье, как к двунадесятой иконе, получают из ее рук пунцовое с золотым Х. В. яйцо.

И вдруг один — а может быть, только показалось? — один, безбородый и глаза цыганские — уголья, губы сухие — дрожат, губами приложился на одну самую песчинную секундочку дольше, чем все, и будто не икона ему Дашенька, не икона, а…

Сердце… нет, не сердце выскочило из рук: алое, как сердце, пасхальное яйцо — и покатилось к чьим-то ногам.

У Вахрамеева — правая бровь плеткой — молодцу:

— Эка, брат, руки-то у тебя — грабли! Чем голову набил?

Одна какая-то ночь — и из скорлупы вышел апрель, первая пыль, тепло. И как зимою ученики

по красному флагу на каланче знают, что мороз — двадцать градусов и нету ученья, — так тут знают все, что тепло: сундучник Петров, вместе с товаром, вылез из своей лавки на улицу. Расставлены перед дверями узорочно кованные, писанные розами сундуки, и на табурете, подставив лысую голову солнцу — как подставляют ведро под дождевой желоб, — сам И. С. Петров с газетой.

— Ну, что новенького? Что там из города-столицы пишут?

И сундучник — на нос очки и, глядя поверх очков, — внушительно:

— Да вот в Москве на Трубе кожаного болвана поставили.

— Какого такого болвана?

— А такого: его, значит, по морде бьют — а он воет, чем ни сильнее бьют — он громче. Для поощрения, значит, атлетической силы и испытания, да.

И так от него двадцать лет все торговые ряды узнают о московских болванах, о кометах и войнах — обо всем, что творится там, далеко, куда бегут, жужжа на ветру, телеграфные провода, куда торопятся, хлопая плицами по воде, пароходы…

Пароходы, облака, месяцы, дни, птицы — мимо.

А тут жизнь — как на якоре — качается пристанью, и люди — как крепкий строевой лес, глубоко корневищами ушедший в землю.

Но ведь говорят старые люди, будто раз в году, когда в мае новый месяц уродится и ночь темна, — раз в году даже всем деревьям, цветам и травам, всем зеленым душам — дозволено ходить, чтобы к утру опять вернуться на место. И на белых, нагих, налитых весенним соком ногах, еще со следами пахучей, сдобной земли — всей толпой бредут они в темную ночь — и такое начинается, что…

Жара. Дни желтые — тяжелой той желтью, что бывает у яблок, уже спелых и готовых упасть — чуть только качни, погляди, дунь. Из старого вахрамеевского сада липы и сирень перевесились через забор всей грудью — так в душные вечера, смяв о подоконник пышное тело, выглядывают из окон ярославские, рязанские, замоскворецкие красавицы.

Уже неделя, как все тузы из города укатили на ярмарку. В просторных покоях — Дарья одна. Солнечный квадрат неслышно скользит по кафельной печке — сломался на плинтусе — ползет по вощеному полу. За обоями в деревянной стене вдруг тихонько затикает что-то — медленней,

медленней — и замрет: будто завелось в дереве какое-то сердце. И все хочется пить квас со льдом — сохнут губы, — или неможется? — или не то: теснит в груди платье. А вечером в спальне скинет платье, задумается, поплывет в зеркале — и скорее: потушить свечу — потушить запылавшие щеки.

Наутро — под окном казанский «князь», в ватной шапке горшком, лопоухий, глаза вострые — как сквозь замочную скважину.

— Купи, барина, шали шелковые хороши — купи, кавалер любить будет. Ай, хороши! — причмокнет, подкинет шаль на руке. И ухмыляется, будто сквозь замочную скважину все подглядел, все знает.

Опустила Дарья глаза — рассердилась на себя, что опустила. Вышла на крылечко и сердито купила, что попалось, — кружевной носовой платочек. Постояла, поглядела вслед «князю», поглядела на отбившееся от стада облако — вот такие же у ней были когда-то легкие и пухлые девичьи мысли. И уже повернулась домой — вдруг сзади у садового забора шорох, скрип по дощатому тротуару, и из-за угла цыганский угольный глаз:

— Дарья Ивановна…

Остановилась.

— Даша (– тихо)… Дашенька (– сухим, как песок, шепотом)… Ночью — в сад… придешь?

… Остановилась, чтобы оборвать дерзеца, чтобы сразу охоту отбить. И Бог весть почему — не выговорилось, пересмягли губы. Так, молча, спиной к нему повернувшись, дослушала все до конца — только шелк шуршал на тугой груди.

А ночью вышла в сад — темною майскою ночью, когда уродился новый месяц, и все деревья, травы, цветы — с нагими белеющими в темноте ногами, налитыми весенним соком, — шуршали, шептали, шелестели…

Утро. Из розового золота кресты над синими куполами, розовые камни, оконные стекла, заборы, вода. И все — как вчера. Не было ничего.

И, как всегда, — веселый, шутейный, с краснобайками со своими, с сундуком, полным гостинцев, — приехал Вахрамеев. Раскрыл Дарье сундук, вынула она гостинцы, поглядела, положила назад, сидит неулыбой.

— Ты что, Дарья? Или муху с квасом невзначай проглотила?

— Так. Сон нынче ночью привиделся.

А был сон в руку. День ли, два ли прошли, а только пообедал Вахрамеев, после обеда лег почивать — да так и не встал. Будто стряпуха за обедом

накормила его вместе со сморчками грибом-самоплясом, от-того-де и кончился. Говорили и другое — ну, да мало ли кто что скажет. Одно известно: отошел по христиански, и последнее, что Дарье сказал: «Не выходи, — говорит, — за Сазыкина. Он мне в Макарьеве муку подмоченную всучил».

Погубила Сазыкина мука: не за Сазыкина вышла молодая вахрамеевская вдова, а за другого — с угольным цыганским глазом. Был слух: загулял Сазыкин с тоски. Был слух: велел зашить себя, пьяный, в медвежью шкуру и вышел во двор — во дворе псы цепные спущены — чтобы рвали его псы, чтобы не слышно, как тоска рвет сердце. А потом канул в Сибирь.

Так камень бултыхнет в водяную дремь, все взбаламутит, круги; вот разбежались — только легкие морщины, как по углам глаз от улыбки — и снова гладь.

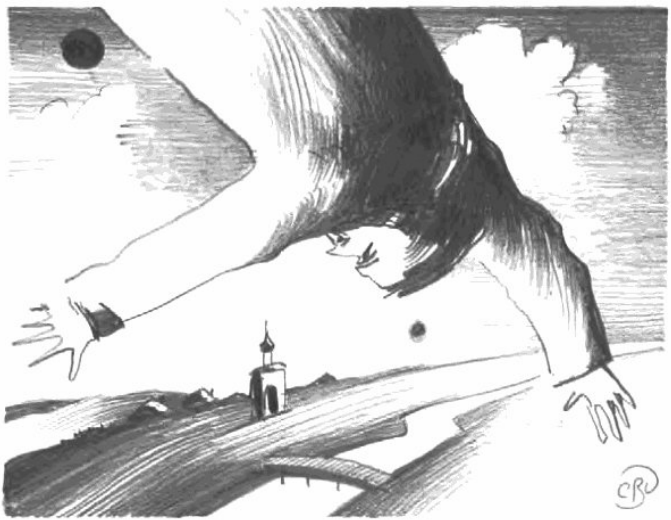
Разбежались круги — и опять жизнь мирная, тихая, как бормотание бьющих о берег струй. За прилавком щелкают счеты, и ловкие руки, мелькая шпулькой, отмеривают аршин за аршином. Опершись о расписной сундук, с газетой, на солнце печется, как тыква, тыквенно-лысый сундучник И. С. Петров. Все в белом, мечутся половые в трактирах — только, как дым за паровозом,

вьются следом за ними концы вышитого ручника да кисти от пояса. В конуре своей изограф Акимыч — трактирный завсегдатай — торопливо малюет на вывеске окорока и колбасы, чтобы в положенный час сесть с графинчиком в положенном уголке — и лить слезы о пропитой жизни.

А вечером — в синих прорезах сорока колоколен качнутся разом все колокола, и над городом, над рощами, над водой, над полями, над странниками на дорогах, над богачами и пропойцами, над грешными по-человечьи и по-травяному безгрешными — над всеми расстелется колокольный медный бархат, и все умягчится, затихнет, осядет — как в летний вечер пыль от теплой росы.

1923

Рассказ о самом главном



Мир: куст сирени — вечный, огромный, необъятный. В этом мире я: желто-розовый червь Rhopalocera с рогом на хвосте. Сегодня — мне умереть в куколку, тело изорвано болью, выгнуто мостом — тугим, вздрагивающим. И если бы я умел кричать — если бы я умел! — все услыхали

бы. Я — нем.

Еще мир: зеркало реки, прозрачный — из железа и синего неба — мост, туго выгнувший спину; выстрелы, облака. По ту сторону моста — орловские, советские мужики в глиняных рубахах; по эту сторону — неприятель: пестрые келбуйские мужики. И это я — орловский и келбуйский, я — стреляю в себя, задыхаясь, мчусь через мост, с моста падаю вниз — руки крыльями — кричу…

И еще мир — над Землею, над сиренью, океанами, Rhopalocera, облаками, выстрелами: над Землею, навстречу ей, из бесконечностей мчится еще невидимая темная звезда. Там, на звезде, — чуть освещенные красным развалины стен, галерей, машин, три замерзших — тесно друг к другу — трупа, мое голое ледяное тело. И самое главное: чтобы скорее — удар о Землю, грохот, чтобы все это сожглось дотла вместе со мной, и дотла все стены и машины на Земле, и в багровом пламени — новые, огненные я, и потом в белом теплом тумане — еще новые, цветоподобные, тонким стеблем привязанные к новой Земле, а когда созреют эти человечьи цветы — …

Над Землею — мыслями — облака. Одни — в выси, радостные, легкие, сквозь розовеющие, как летнее девичье платье; другие — внизу, тяжелые,

медленные, литые, синие. От них тень быстрым, темным крылом — по воде, по глиняным рубахам, по лицам, по листьям. В тени — отчаянней мечется Rhopalocera головой вправо и влево, и в тени чаще стрельба: солнце не мешает, удобнее целиться.

Миры пересеклись, и червь Rhopalocera вошел в мир Куковерова, Тали, мой, ваш — на Духов день (25 мая) в келбуйском лесу. В лесу поляна, до краев налитая крепчайшим, зеленым, процеженным сквозь листья солнечным соком; посреди поляны огромный сиреневый куст, ветви согнуты тяжестью цветов; и под кустом, по пояс в земле — каменная баба с желтой тысячелетней улыбкой. Сюда придут сейчас к Куковерову пятеро келбуйских мужиков, чтобы сказать ему, когда они начинают: послезавтра, завтра, может быть — даже сегодня. Но пока еще пять минут Тале и Куковерову быть здесь вдвоем.

У Куковерова нет спичек, и он ловит солнце лупой — закурить. Молча растет на папироске седой, чуть курчавый пепел, и как пепел — у Куковерова волосы, а под пеплом…

Чтобы не смотреть на нестерпимые эти изгибы в уголках Талиных губ, Куковеров смотрит на каменную бабу. Но там — тоже губы, улыбка, ты-

сячелетняя. И он опять поворачивается к Тале:

— Вот — когда-то эти губы мазали человечьей кровью. В такой же день.

— А вы все теперь разве не мажете?

— Да. Но не только чужой — и своей тоже, своей кровью. И знаете — может быть…

И в себе — очень тихо: что, может быть, это случится уже завтра-послезавтра, и надо скорее взять как можно больше неба, и вот этот куст сирени, и роющего лапками в цветах шмеля, и еще — еще одно…

Пальцы у него чуть дрожат (один палец — прокуренный, желтый от табаку), с папиросы сваливается седой, чуть курчавый пепел.

— Вам, Таля, восемнадцать лет, а мне… Это, может быть, смешно, что я… ведь я вас знаю всего неделю. А впрочем… Вам никогда не приходило в голову, что теперь Земля вертится в сто раз быстрее, и все часы — и все в сто раз, и только поэтому никто не замечает? И вот, понимаете, какой-то день — или минута… Да, довольно минуты, чтобы вдруг понять, что другой человек для вас…

Густые, пригнутые вниз тяжестью цветов сиреневые ветки. Под ними — вышитая кое-где солнцем тень, в тени — Таля. Ее густые, пригнутые вниз тяжестью каких-то цветов ресницы.

У Куковерова уже нет слов, и неизвестно почему — нужно согнуть, сломать сиреневую ветку. Ветка вздрагивает — и вниз летит желтошелковый Rhopalocera прямо на Талины колени, в теплую ложбину ее пропитанного солнцем и телом платья. Там свивается мучительно-тугим кольцом — и если бы, если бы крикнуть, что ведь завтра — надо умереть!

Куковеров молчит. Таля:

— Ну, что же вы? Дальше! Ну?

Согнутые тяжестью цветов ресницы; одна какая-то точка в уголку ее губ. Спичек нет. Куковеров зажигает папиросу лупой, пальцы дрожат, дрожит нестерпимая для глаза точка сгущенного солнца. И — да, это именно так: уголок губ — там, как сквозь лупу, вся она, все ее девичье, женское — то самое, что…

— Дальше? Вы хотите, чтобы я сказал, что дальше?

Голос — не куковеровский, темный, из-под наваленного вороха. Таля поднимает ресницы — и вот захваченное врасплох его лицо, синие — настежь, вслух обо всем — глаза, пропаханные тюрьмою морщины, волосы как пепел, палец, желтый от табаку.

Это — миг. И Таля — снова у себя, в тени ресниц,

сирени, нагибается, нагибается еще ниже, тихонько поглаживает шелковую спинку Rhopalocera и говорит ему одно какое-то слово, неслышно.

Но Куковерову кажется, что он услышал, — и у него вдруг так больно толкнулось сердце, будто там не сердце, а живой ребенок. И когда Куковеров вслух вдохнул в себя лес, небо, шмеля, солнце: «Хорошо… все-таки!» — Таля понимает, что он понял, и тоже как живой ребенок — в ней сердце.

А наверх, Куковерову — слова, потому что сейчас нельзя молчать:

— Я их очень… Я, когда была маленькая, — выводила из них бабочек. Одна вывелась у нас зимой, на Рождество, окна — во льду, летала-летала…

Куковеров — тихо:

— Вот и я тоже…

Но что «тоже» — это никогда не будет сказано: к каменной бабе, к богу, некогда вскормленному человечьей кровью, подходят по-медвежьи — на босых пятках — пятеро. Таля быстро поднимается из тени, идет через солнце — в белом, сквозь розовеющем платье, уносит с собою отпечатанные где-то в глубине куковеровские глаза и на ладони Rhopalocera, которому завтра умереть.

Пятеро мужиков — один лешачьего, сосенного

росту, голова как на шесте — вваливаются все разом в еще распахнутого настежь Куковерова и в ответ ему («Ну как же решили, ребята?») — все разом:

— Готово! Председатель Филимошка — уж под замком, на съезжей. Хватит, побаловали советские!

Это — зажжен фитиль, и бежит искра к пороховой бочке: может быть, фитиль длиною в часы, может быть — в дни, но с каждой минутой все ближе искра — и вот грохнет полымем, дымом, кусками человечьих сердец, моего сердца.

… И в тот же Духов день — в городе, где белая, неоседающая пыль, камень, жестяные облака, железные красные с золотыми буквами вывески и железные люди. Там, на краю, на горбатой улице куры щиплют пахнущую редькой веничную траву — куры, взъерошенные и изъеденные вшами, как люди. И там за голубыми некогда ставнями заткнуты березки — вчера, на Троицу, перед обедней, заткнула мать Дорды. От ее старинного шелкового шашмура на голове, от ее грибного старушечьего запаха, от березок со свернувшимися на солнце в трубочку листьями — внутри у Дорды что-то полощется секунду, как на ветру спасенный солнцем березовый лист. Но

только — секунду.

Вынул из кобуры револьвер, и сам — револьвер, в черной, кожаной — или даже, может быть, металлической — кобуре, заряженные глаза. Он говорит матери, вкладывая патроны в обойму:

— Что, опять в церковь ходила? Эх, старая! А туда же: «Я все понимаю, я — я…»

— А что же, милый: с Христом все трудящие были — пастухи, волхвы и ангелы. Да. Против этого не скажешь.

— Как, как — трудящие… ангелы?

Сквозь железные фланцы трубы вдруг прорвет вода, брызнет вверх, в стороны, радуются ребята: так сейчас из Дорды — смех, и никак не попадает патрон в обойму. Но торопятся взрослые отогнать ребят и скорее заткнуть воду, и вот уже Дорда снова в кобуре — кожаной или, может быть, металлической, патрон щелкнул и стал на место.

Мать — с сердцем:

— Ты это что в праздник-то взгойчился? Куда заряжаешься?

— А в Келбуе мужики бунтуют, вот куда. Побаловали, хватит!

Под шашмуром — морщины. Коричневые губы чуть заметно шевелятся — берестой на огне, но вслух нельзя, и только подолом кофты вытерты

нос, глаза. И глазами — материнскими глазами всего его запомнить, уложить в себя его темную стриженую голову, вот эту жилку на виске — чтобы в тот день, когда принесут его — …

Губы у него сжаты (сейчас, всегда), вход замурован, выбелен: стена. Вдруг странно открывается рот, не там, где казалось, а гораздо выше — верхняя губа очень короткая. И слова:

— Ты бы лучше чего в дорогу мне собрала, чем так-то.

Согнувшись, она шмыгает, чуть шаркают стоптанные башмаки. В тишине я слышу… вы знаете этот смешной человеческий звук — носом, когда нельзя, чтоб было видно, когда слезы нужно глотать?

И может быть, прав Куковеров — все мчится в сто раз торопливей, проходит минута, не больше — и вот уже Дорда лежит в окопе. В окопе — влажная глина, под локтем у Дорды ямка, заряженными глазами сквозь бинокль он смотрит на мост, на келбуйские избы (ставни у них тоже голубые). В синем воздухе — «фииеааоу» — свист, пение, падает — глохнет — бульк: пуля. Все ниже в синем небе ястреб, и вот уже видно: на безруких плечах вправо и влево ворочается острая голова с нацеленными глазами. Глаза

нацелены на Дорду, на орловских — сердитых, добродушных, мохнатых, как шмели, — на мясо: там, сзади окопа, лежит один — только сейчас был я, а теперь — просто мясо, и породистые, зелено-бронзовые мухи ползают по руке, по глазам, сосут в уголку губ.

И около Дорды — рябой, животом на глине, добродушно щелкая затвором, ворчит:

— Рази это война? На войне, бывало, кэ-эк хлобыстнет — голова костромская, кишки новгородские — разбирай… Вот это вот так! А это рази война?

Глиняная рубаха у него застегнута неверно — одна петля пропущена, — и сквозь видна желтая с шмелиным волосом грудь. И может быть — он, может быть — другой такой же, говорит, медленно прожевывая ржаной кус:

— Я тут в прошлом годе менял: за фунт гвоздей — два петуха, вот это вот так! Товарищ Дорда, хлеба не хошь?

Но Дорда не слышит: стал на колени, слушает свое сердце — раз, два и три — как звон часов ночью, в бессонницу. Откуда-то: «С Христом все трудящие, пастухи, волхвы и ангелы» — черный шелковый шашмур. И Дорда командует резко, револьверно:

— Ну — через мост! По одному бе-го-о-ом… ас!

В синем воздухе: «фииеааоу» — и коршун. Я, каждый я, знаю: это мне — коршун, мухи, мучительно-тугим кольцом сгибается тело. Потом вместо я — мы, и у всех у нас одно, самое главное, единственное в жизни: чтобы через мост — и согнуть, сломать тех — прочь с дороги, с земли — чтобы не мешали… Чему? Да счастью, конечно.

Где-то в коршуньей выси, между землею и небом — мост к счастью, доски и рельсы, Дорда, глиняные рубахи. Сквозь железные кружева — секундные куски сини, желтых соломенных крыш, серой речной ряби внизу. И последнее: а ведь падать отсюда вниз — высоко, долго, без конца лететь.

Дорда еще не знает, еще две-три минуты не будет знать, упадет он или нет. А на темной звезде уже знают: сегодня — последнее.

Там ночь. На Земле — день, а там, на звезде, — ночь, в черном небе — две огромные, зеленовато-ледяные луны над пустынями и скалами, от скал — синие зубчатые тени. Тысячелетняя тишина, луны все выше, и вот внизу уже тускло поблескивает стекло стен, галерей лестниц, куполов, зал — все зеленоватое, прозрачное — из замороженного света двух лун. Тишина.

Лунный свет ярче, и, как во сне, когда все сразу — вырезанно, мгновенно, четко — как во сне видно: четверо. У колонны один… нет, одна, высокая, неподвижно, мраморно ждет; только что поднята плита — еще покачивается цепь над люком; и двое лежат на полу, вцепившись в края люка так, что побелели ногти; в стороне стоит мальчик — глубокие слепые впадины глаз, слушающая голова — набок, по-птичьи.

И сквозь стиснутые зубы — трудный шепот, но каждое слово отчетливо — как во сне, когда я живу внутри, в каждом.

Шепот у колонны (женщина, высокая, сдвинуты брови, глубокая расселина между бровей):

— Ну что же — теперь поверили мне?

Шепот над люком (двое, мужчина и другая женщина, губы дрожат):

— Да… (громко, отчаянно): Нет! Последняя? Нет!

Последняя бутыль воздуха. Здесь, на звезде, воздуха уже давно нет, он — как драгоценнейшее голубое вино — в стеклянных бутылях, веками. И вот последняя бутыль, и четверо последних — племя, нация, народ. Одна, высокая — она стоит сейчас у колонны, и у ней сдвинуты болью брови, — когда-то была мать всем троим. Когда

это было — сто или тысячу кругов назад — это все равно: теперь — последний круг, и мужчина уже не сын ей, а муж, и другая женщина — не дочь, а другая женщина.

Ярче ледяной свет, и сейчас во всем мире только одно: поднятая вверх рука и чуть поблескивающая голубая бутыль, пальцы сжимают ее так, что побелели ногти… не пролить ни одной капли, каждая капля — минута моей жизни, я — мужчина, я — силен, мне — жить. Вытянув шею, мальчик щупает пустоту, спотыкается, вцепился мне в руку… прочь, урод!

Но там, у колонны, сдвинуты брови, оттуда — один удар глазами — как плетью, мужчина, спрятавшись в исподлобье, дает глотнуть слепому. Потом — три, с закрытыми глазами, запрокинутые головы — впивают, впитывают, дышат, и розовеют мраморы, звенят сердца — жить! жить!

Без одежды — как статуи. У одной женщины, младшей, когда она пьет, под мышкой видны расплавленные медные волосы. Быть может, случайно мужчина прикасается плечом к ее плечу — нет, не случайно, это уже было и раньше, но теперь, когда все равно и ничего не страшно — теперь он прижимается крепче, еще крепче

— и из тела в тело улыбка, улыбаются плечи, колени, бедра, груди, губы, и нет завтра, ничего нет — только сейчас.

Старшая, Мать, — смотрит; все темнее, все глубже у нее расселина между бровей. Подошла, в ладонях сжимает лицо его, мужа, насильно входит в его глаза — по скользким ступеням вниз, на самое дно. Там, на дне, она видит…

Пусть: только последний раз впитать в себя это лицо, стиснуть так, чтобы на розовом — белые следы пальцев. И потом ее слова — обыкновенные, простые, но каждое нужно вырвать из себя с мясом:

— Я… я останусь здесь. Вы вдвоем принесете воды. Идите.

Ушли. Она стоит у колонны, одна, мраморная, мрамор от ног подымается все выше. Закрытыми глазами она видит то, что теперь происходит внизу, где колодец. Там чаши поставлены на пол, мужчина касается рукой чуть жестких медных волос женщины, проводит по ее груди, по коленям — на одном колене у нее маленький белый шрам: ты помнишь? — ты упала, была кровь… ты хочешь… сейчас?

Лунный полдень. Тяжелые ледяные глыбы света. Мальчик неподвижно, по-птичьи, слепыми

глазами смотрит вверх, зовет Мать: воды! Но она не слышит, потому что дверь открылась — и входят те двое. У женщины — губы влажны, на одном колене белый шрам, и выше, на ноге — красная полоса: след крови. Они без одежд, как статуи, все голо, просто, последне.

Взявши за руку слепого, Мать медленно ступает — им навстречу, медленная, мраморная, как судьба:

— Теперь — пора. За мной, не отставайте.

— Куда?

— Я знаю. Там, в нижних залах, мы еще найдем немного, чтобы дышать. И там…

— Что — там?

Молчит. По лицу у ней — облака: нависшие, литые — в глубокой трещине между бровей, легкие, розовеющие — в последней улыбке.

И — внизу, на Земле, где сейчас — день, где литые, синие и легкие, алые облака, и летучими косыми парусами весенний дождь, и снова солнце — тысячи солнц на согнутых солнечной каплей травинках. Если прав Куковеров и все в сто раз быстрее, так это — в тот же самый бесконечный, вихрем несущийся день, и это — недели назад. Еще целые недели жить тому, кто сейчас мясом для ястреба лежит на желтой глине, и еще

Rhopalocera не знает, что ему завтра умереть в черную куколку, и не знает Дорда, и в Келбуе мужики еще не арестовали Филимошку, и он даже пока еще просто Филимошка-голяк, а не председатель Филимон Егорыч.

Изба, заткнутые тряпками дыры в дырах окон, — и черные дыры выбитых зубов во рту у Филимошки, он пыхает цигаркой, прислонился к косяку, ждет. Там, на дороге, загребая босыми ногами пыль, идет Филимошкина баба; на руках у нее ребенок — взяла чужого, у соседки: когда с ребенком на руках, Филимошка ее не бьет. Но нынче он — особенный, нынче и так не бил бы.

— Ну, баба, живо: на сход со мной пойдешь. Бумага из города получена — и чтоб бабы все тоже. Нынче, брат, строго.

Перед крыльцом съезжей — спины, от ветра вздутые пузырями рубахи, выдубленные солнцем голенища шей, галдеж, гомон. И вдруг на крыльце — батюшки! — Филимошка. Ты куда? тебе что?

— Товарищи, тише. Нынче — строго. Время зря терять нечего — секретаря мне выбирайте.

Над спинами, над головами чубарая голова будто поднята на шесте над всеми — тот самый, лешачьего роста, мужик, и лешачий голос:

— Это, стало быть, к колесу покупай телегу? А

председателя — не надо?

Филимошка:

— Председатель — я! — Грудь колесом, одну ногу вперед выставил, стоит, как буква Я.

— А почему же это ты, скажи, пожалуйста?

— А потому сказано в бумаге: беднейшего. А кто бедней меня — ну, выходи? Ну!

Голова на шесте вертится, скребут руки в затылках: по бумаге — оно будто действительно так, потому беднее Филимошки никого нету.

И Филимошка — председатель Филимон Егорыч, он уже не в избе — он в мельниковом с голландскими печами доме, у него весь Келбуй — вот тут, в кулаке — только сок брызжет: за все свои выбитые зубы, за все дыры, за тридцать голодных годов, за все сразу.

Косые паруса дождей, облака, солнце, ночи, дни — или час, секунда. И Духов день: на пороге, в шашмуре, согнув козырьком руку — глядит мать вслед Дорде, а в Келбуе на съезжей — под замком связанный Филимошка, белоголовые ребята липнут носами к окнам, у дверей крепко стоит мохнатый мужик с винтовкой. Фитиль подожжен, искра бежит к пороховой бочке, и Куковерову кажется — он начинен порохом: это страшно, это хорошо, и только надо все скорее,

скорее, чтобы в часы втиснуть годы — чтобы все успеть…

На спинах — вздутые ветром пузыри рубах. Лицом ко мне, к вам — на крыльце говорит Куковеров, волосы — пепел, чуть курчавый, а слова… Но главное разве в словах? Если у вас сегодня вдруг ожило и, как живой ребенок, толкнулось сердце — вы бьете в сердце, как в колокол, и в ответ гудит в каждом, и вами создано все: все эти мохнатые, ребячеглазые лица, и врезанная в небо ветка сирени над забором, и литая туча с девичьей розоватой оторочкой, и грудью в тучу — тревожная ласточка.

Сквозь все это, издали — будто он на колокольне, а головы, руки, шеи внизу — Куковеров слышит:

— Правильно твое! Побаловали над нами, будя! Не маленькие!

Солнце — под гору. В дверях позванивают в жестяные стенки дойников струи молока, коровы опрокидывают дойники, брыкая задней ногой, — и будто это-то вот и есть последнее: бабы начинают выть в голос, слезы теплые, молоко теплое. А на крыльце съезжей — мохнатый гул, из рук в руки — берданки, медвежьи двустволки, вынутые из тайников. Как белоголовый маль-

чишка везет деревянную на катушках лошадь, каждую минуту оглядываясь — не наглядится, так лешачьего роста мужик на веревочке тянет за собой по пыли пулемет. И в ответ восторженному: «Федька-то, а? Слушь, это у тебя откуда же?» — хитро прижмуривает глаз:

— А это еще в семнадцатом году — у солдат выменял. За два пуда — шинель — и вот это самое в привесок…

Когда уже сумерки, все стеклянное и неслышно, накрест перешвыриваются над улицей летучие мыши — Куковеров входит в палисадник. Там сейчас — почти черные листья сирени и белое до боли платье Тали, ее лица не видно, нагнулась:

— Хотите посмотреть? Я его принесла сюда из лесу… нет, здесь он, здесь, ниже.

Он — Rhopalocera, съеженный, неподвижный мир, готовый умереть завтра. И от этого завтра, от того, что было утром в лесу, от чуть слышной дрожи в голосе у Тали — так вдруг настежь у Куковерова сердце, что нечем дышать, и — смешно, нелепо! — на глазах у него слезы, он молча нагибается, щеку трогает чуть прохладная, в росе, гроздь сирени.

Потом Куковеров рядом с Талей в избе, у окна. Сквозь окно — туча, все ближе, ласточки

— грудью в тучу. На столе самовар, пахнет смородиновым чаем. Хозяйка, Бараниха, у двери — сейчас уйдет. И может быть, жутко, что она уйдет, и тогда останутся вдвоем, может быть, чтобы задержать ее — говорит Таля:

— Нет, постой, а ты еще расскажи, как тебя тогда Филимошка-то… Ну?

— Ох ты, мой дитенок приятный! Да ты не забыла, а? Ну, как же: пришел кур отбирать — такое тут меня взяло! «Ах ты, говорю, мать пресвятая»… И пошла его чесать. А он обиделся: «Лишаю, говорит, тебя голосу на три дня — чтобы три дня у меня пикнуть не смела!» И что же бы ты думал: ведь три дня как немая ходила — вот стервец какой! Ну — пейте с Богом, пейте…

Хлопнула дверью — и вдвоем, и уже нельзя смеяться, все — тончайше-стеклянное, и если хоть слово… Где-то на улице — за тысячи верст голос: «Васи-лей! Ва-си-лей!» — и от этого еще стеклянней, и оба знают, что сейчас — …

Таля:

— У вас папироса… У вас — никогда спичек… хотите, я вам…

Но встать, чтобы пойти принести спичек, она не может, остается сидеть. И будто вот это и есть последнее, через край — больше нет сил. Глотая

воздух ступенями, кусками, Куковеров берет в свои ладони ее лицо — мир тихонько, блаженно кружится, покачивается, и в нем навсегда отпечатаны девичьи губы, чуть холодные, как сирень в сумерках.

И тотчас же — стук в окошко, приплюснутый к стеклу нос:

— Эй, Иваныч, Куковеров — ты тут?

И когда окно открыто, слышен с чуть приметным веселым ознобом голос:

— Ну, брат, пошла потеха: советские на нас едут. Пойдем.

Мост из синего неба и стали; свист: «фиieаоуу». И еще. Чок в железо, и мягко — в мясо. Мешком человек присел на низкие перильца моста, мчатся мимо, кричит им глазами: «Это же я, это я!» — они мчатся. Не спеша — человек навзничь и головой вниз. Лететь долго, и, может быть, еще как-нибудь… может быть, нужно только вот так расправить крыльями руки — …

Всплеск, брызги, радуга на секунду.

У Дорды: «Это — не я, это — еще не я. Надо скорее!»

Но мост — длиною в целую жизнь, в пятьдесят лет, сжатых в страшно тугие секунды, и навстречу стрекот пулемета — оттуда, с келбуйской

стороны. Остановиться сейчас на мосту — так же, как застопорить с маху стоверстный поезд. И все же Дорда останавливается. Он со злостью говорит себе: «Ага, ты — так: „Это не я…“ С-сволочь!» — останавливает себя с маху, стоит, стиснув зубы, мчатся мимо. Чок! Еще!.. Вон — тот рябой, в пыху, рот разинут — может быть, кричит — да, кричит Дорде:

— Что? Ай чмокнула? Нет?

Потная, рябая, мохнатая улыбка. Заряженный ею Дорда опять бежит, и вдруг почему-то от рябого вспоминается мать: руку козырьком к глазам, на пороге (это на миг). Потом несущиеся синие куски — небо сквозь решетку моста. Так уже было однажды — небо и решетка… когда? И как мать — на одну тугую секунду — отчетливо: камера, свод, окно, Дорда на табуретке у окна вместе с другим — голова у этого другого седая, пепел — и от этого Дорде еще больше…

Рев: «Ур-ра-а!» — конец моста, все исчезает, как на экране, когда зажжен свет — и только самое главное: согнуть, сломить тех. Поперек какое-то бревно — через бревно, ур-ра! — как бревно, плашмя глиняная рубаха, с нелепой медленностью, прикрывающая затылок руками — через нее, ура! — вниз по щебяной насыпи — градом,

таранами, бревнами, бурей…

Внизу буря вдруг стихает: в кустах бересклета, сирени — неизвестно почему, без команды — ложатся в тени. Дорда минуту стоит, еще весь — пружина, глаза заряжены — сейчас из них посыплются пули в тех, кто лег без команды.

У самых ног — рябой, захватив двумя пальцами край глиняного рукава, вытирает лоб; снизу вверх — потная, рябая, с лукавинкой, улыбка. «За фунт гвоздей — два петуха» — это твердо, заповедь, и тут ничего не поделаешь. Дорда срывает гроздь сирени в росе, быстро обкусывает горькие цветки, в руке — револьвер. Рябой говорит снизу вверх — Дорде:

— Нешто пойти к ним потолковать? Чего так-то, зря! Все-таки православные. И как у них там что, взглянем… пригодится. А, товарищ Дорда?

— Хорошо. Все равно. Ну — идите вдвоем. Постойте.

Дорда быстро пишет в записной книжке буквы, — прямые, высокие, острые. Из кармана штанов рябой вынул платок (когда-то белый), в нем хлеб. Ссыпал крошки на руку и горстью — в рот, хлеб падает обратно в карман. Привязывает платок к штыку, сдувая нижней губой надоедно липнущую муху. На листке из записной книжки

буквы уже стоят цепью, в затылок:

«Немедля сдать оружие. Освободить арестованных.

Выдать зачинщиков – не менее пяти».

Подпись: Дорда.

И вот двое идут, над кустами треплется на ветру платок, когда-то белый; выше темнеет в синеве коршун, ворочая в безруких плечах головой; и еще выше — пока еще невидная, темная над Землею звезда.

Там, сквозь голубой лед стекла, как на дне, видны какие-то неподвижные фигуры: где-то одиноко на ступенях — будто с разбегу; где-то снопами крепко обнявшихся тел. Спят. Может быть, спят: неизвестно.

И четверо идущих по пустым, гулким, голым залам. Впереди — она, высокая, прямая, мраморная, и со слушающей, по-птичьи наклоненной головой мальчик — дрожит, жмется к ее ноге. Сине-ледяные своды потолков нависают все ниже, все тяжелее. Она идет не останавливаясь. Вот теперь на ходу оглянулась назад, через плечо — и мне видно: брови у нее черно и крепко стиснуты. Она одна знает то, чего не знают трое других, она

живет давно, всегда, она знает — и она решила. Что это, еще пока неясно, это как далекий запах гари, как зверь чует над собой черную дырочку дула — и все же от этого никуда не убежать, это с каждым шагом все ближе.

Ступени вниз, на ступенях — человек ничком; правая рука, будто с разбегу, брошена ладонью вверх: спит? На неслышных, пружинных, как у зверя, ногах мужчина крадется… скачок — схватил поперек тела, поднял — и сейчас же бросил. Тело катится вниз по ступеням, ладонь взмахивает и падает с деревянным стуком — раз и еще раз. Это тело холодное, другое, чем я, и ничего не может мне сделать — я, мужчина, это знаю, и все-таки почему-то надо, чтобы скорее опять рядом живое плечо — она, молодая, теплая, недавняя, моя — тогда дрожь стихает, я могу открыть дверь, я открываю, я — мужчина.

За дверью — блеск колес, спиц: машины — круглые, многоногие, коленчатые, как пауки, — мертвые тела машин. И такие же неподвижные, холодные человеческие тела, сцепившиеся в тугой судороге, друг на друге — как мужчина и женщина. В руках — стынущие в ледяном свете ножи.

— Я не хочу дальше — мы не хотим, мы не

пойдем!

Но она, высокая, впереди, она, кто тысячу кругов назад была Мать, — идет не останавливаясь, и я, мужчина, иду покорно за ней. Люди, машины, немые толпы книг, где-то на стенах изображения — лица, золото, красное — тысячелетия с неслышным, оглушительным ревом мчатся сквозь меня — и больше нет сил.

Вечер. Огромные луны пригнулись к полу, тени длинны. Четыре раздавленных последним каменным сном тела. Часы, минуты — все равно.

И — движение: приподнимается на локте младшая из женщин, лицом — сюда, ко мне, к вам. Глаза у ней зеленые и светят в полумраке, как разрезанная веслом морская вода, и, как вода, — густые ледяные лучи. Она кладет руку на грудь мужчине, он вздрагивает, отвечает ее глазам: «Да, сейчас», куда-то ползет на четвереньках. Вдруг остановился, голову — в плечи, по-черепашьи. Нет: показалось… Мать спит, спит крепко. Вперед!

Он возвращается. Навстречу зеленым глазам женщины поднята вверх, блестит — бутыль. Две запрокинутых головы, пьют, тела розовеют. Груди у женщины теплы, остры и сладки, она — пахнет, она — шепчет мне. И напряженными

мускулами, кожей, губами, телом — я знаю, это так, это справедливо: мне жить — мне и ей, и там есть еще на дне бутыли воздух — это мне, ей и больше никому — больше никто не должен жить.

Взять нож… Но он крепко зажат в чьих-то пальцах, и пальцы ледяные — мужчина отдергивает руку. Верхняя губа его (с чуть заметной ложбинкой) дрожит, он оглядывается и видит: за каждым его движением — пристальные зеленые глаза. Зажмурившись, вздрагивая, он вытаскивает из мертвых пальцев нож; с ножом ползет — годы, целую жизнь.

Длинная, птичья, согнутая набок шея, слепой спит ничком, носом в ладони. Надо целиться вот сюда, справа, где на шее столбиком жила. У мужчины поднята рука, в руке — стынущее в ледяном свете лезвие ножа, и сейчас на темной звезде — в тысячный, в миллиардный, в последний раз прольется чья-то кровь ради — …

… Над Землей солнце мечется в последней тоске, облака набухают кровью все гуще, течет алыми струйками вниз по золоченым шпицам, по белым стенам, по зеркальным окнам дворцов, и красные капли — здесь, на зелени луговых майских трав.

Луг — перед Келбуем. На лугу — сумрачные срубы овинов, узкие бойницы-окна под самой крышей: это — терема, городище. Такие городища — еще вчера, позавчера древляне выдвигали в зеленую степь навстречу дружинам Олега, сыпали из бойниц стрелы, лили смолу.

И древлянское вече: круг — мохнатый, топоры, винтовки, чья-то голова — над всеми, как на шесте, и голова Куковерова — как пепел, чуть курчавый. Перед Куковеровым — двое оттуда, от советских: один серый, всякий, тысячный, муравей, у другого красная, рябая улыбка, белая тряпочка на штыке, письмо. И подпись на письме Куковерову надо прочитать еще раз — еще — и повернуть вот так, к свету:

— Дорда? Дорда… Погодите-ка: а из себя он какой будет? — По лицу у Куковерова морщины, облака, темные, светлые.

— Он-то? Да таконькой вот — небольшой, гвоздочком. А глаза… ух!

— Бритый? Ну, конечно, ну да: он! — и на одну тугую секунду перед Куковеровым: синий кусок неба сквозь решетку, табурет у окна, на табурете…

Над овином, ворочая в безруких плечах головой — коршун, все ниже. Там, внизу, на чуть

сбрызнутых красной росой травах лежит человек, еще недавно был человек, я: теперь ничком, будто с разбегу, правая рука брошена ладонью вверх, желтые мозоли. И рядом — я, орловский, с платком на штыке, рябой; и я, келбуйский, с пулеметом, голова на шесте; мы оба смотрим на себя мертвого — там, на травах.

— Да протри, протри полтинники-то свои, погляди, рябая твоя морда: хорошо, а? Трое ребят у мужика осталось да баба брюхатая. Сук-кины дети!

— Ты вот с своим пулеметом — не сукин сын! Наших-то на мосту сколько сверзли? Туда же — разговаривает! Молчал бы! Мы, по крайности, за нашу власть, да, а вы за кого?

— За вла-асть! Тебя бы носом ткнуть в Филимошку в нашего — как кота в дерьмо, так небось бы…

— А ну — ткни? Я, брат, тебя ткну-у! — с белым платком штык — наперевес, ощетиненными глазами — по кругу, с сердитым шмелиным гудом круг смыкается теснее, ближе, топоры. У древлян был обычай: пригнуть два дерева, к верхушкам привязать за ноги вниз головой — и потом отпустить деревья…

В руках Куковерова вздрагивает папироса,

письмо Дорды… бритый, да-да, конечно. Что же — встретимся, да, вспомним, как вместе…

Зачем-то вынул часы: не глядя, начинает заводить их, все туже, туже — раз! — пружина лопнула, стрелки, жужжа, кружатся сумасшедше, все быстрее — или, может быть, это внутри, в Куковерове.

Когда часы останавливаются, он прячет их в карман, встает, собирает в горсть все глаза, натягивает их, как вожжи, говорит:

— Так вот — письмо. Предлагают нам сдаться, выдать пятерых, самых главных, и все оружие, арестованного нами освободить. Вот. Решайте, как знаете.

Круг, вече. В середине, в траве — тело ничком. Гудят зеленые мухи, тишина. Потом — голос, из-за спин:

— Толковали: у нас пулемет-пулемет. А они вон мост-то за милую душу пересигнули. Да. Ежели эдак пойдет…

Молчат. Куковеров крепче натягивает вожжи:

— Дело ваше. Ключи от съезжей у кого? У тебя, Сидор? Стало быть, пойди, выпусти Филимошку, пусть идет сюда, и скажи ему…

На дыбы:

— Филимошку? Не-ет! К чертовой матери! В

шею их! Чтоб Филимошка опять? Не-ет!

Куковеров вдруг чувствует, что устал, что хочется сесть, садится, рвет письмо. Рябой скидывает свой глиняный блин-картуз, сморкается в него, снова надел — крепко, по самые уши.

— Та-ак, значить. Ну, до свиданья вам. А только зря вы, ребята. Там что-что, а все-таки — православные…

От городища по древлянской степи медленно идут двое. Один — всякий, тысячный, муравей; у другого — рябое лицо, на штыке — белая тряпочка. Коршун невысоко: видно, как на безруких плечах вправо и влево ворочает головой. Сквозь бинокль — заряженными глазами Дорда глядит навстречу.

И когда на идущих уже веет из кустов зеленой сыростью, сиренью, махоркой — почти неслышный выстрел из овина, с келбуйской стороны. Рябой, пригнувшись, заячьими петлями — в кусты, а тот — серый, тысячный, муравей — покачавшись немного, валится навзничь, и уже никто никогда не узнает, как было его имя.

Дорда вскакивает — он этого ждал, может быть, даже хотел. Вскакивает, весь заряженный, револьверный, пули из глаз — в одного, в другого, в каждого из тысячных.

— Что? Видели? Может, хотите — еще пошлем?

Чей-то мохнатый кряк; тишина. Так подрубленное дерево, падая, крякнет — корявыми лапами зацепилось, секунда тишины — и вдруг рухнуло. Крик, кулаки, зубы, бороды, мат — залпом. Кусты трещат, с ревом прет стоголовый медведь, рты разинуты, — но никто не слышит, кровь на траве, — но это все равно: через камень, через бревно, через человека, через себя. Только бы добежать, а там по двое, по трое, крепко обнявшись — как мужчина и женщина — как уже было где-то…

С длинным птичьим криком, кружась, падает солнце — и взойдет только завтра, а может быть, и не взойдет. На крыльце съезжей прочно, привинченно стоит Дорда — в кобуре кожаной или даже металлической; револьвер стиснут в руке так, что белеют ногти. Рядом — Филимошка, выпячена грудь, одну ногу вперед: как буква Я. И среди штыков Куковеров, без шляпы, вздрагивает папиросой, улыбкой. Из-за забора напротив — чуть слышный запах сирени.

— Этого — под караул, до рассвета… — Дорда глядит куда-то поверх седых, как пепел, и как пепел — чуть курчавых волос. — А этих пятерых — сейчас.

И эти пятеро — на лугу, возле древлянских

сумрачных теремов. Зеленое в красных рубцах небо, в тугой судороге изогнувшийся мост, над рекой — пар, в последний раз. Невысоко, неслышно накрест перешвыриваются летучие мыши. И навсегда врезанные в стеклянное небо пять темных спин, пять голов — одна, как на шесте, над всеми.

— Эй, ты, длинный! На коленки бы стал, что ли. А то — кому в башку, а тебе в сиденье? Неладно выйдет.

Это говорит рябой, в глиняной рубахе, говорит добродушно-просто. Там, впереди, — длинный становится на колени. Пять темных фигур, врезанных в зеленое застывшее небо…

От поднятой с ножом руки — синяя, литая тень на шее, на спине у слепого. Быть может, он чувствует холод тени — вздрогнул, приподнялся, поджав ноги, садится спиной ко мне, к вам, голову чуть-чуть набок, по-птичьи, шарит около себя — где же Мать? — сейчас слепые пальцы коснутся ее плеча, она проснется.

Сверху сверкает нож — вот сюда, справа, где возле уха столбиком жила. И тонкая шея вянет, он, не крикнув, клонится вниз, лицом в колени, согнувшись, сидит, неподвижный: я, мужчина, смотрю на него — широко, кругло.

Теперь вытереть холодные капли пота на лбу — левой рукой: правая забрызгана. И теперь еще только один шаг… Дрожа, крепче стиснуть нож, и только один шаг — к той, кто когда-то была Мать, а сейчас… а сейчас…

Глаза: навстречу — ее глаза. Она лежит, готовая, на спине, не двигаясь, но у нее открыты глаза, и нельзя — когда человек человеку в глаза, надо скорее забиться в исподлобье — в самый дальний угол, и оттуда…

Две ледяные луны качаются совсем на краю, сейчас оборвутся вниз. У нее, у Матери, — губы свиты в тугое кольцо — как умирающий в куколку Rhopalocera. Она, лежа, запрокидывает голову назад — темная тень вот здесь, в ямке внизу шеи. Трудный, глухой голос:

— Ну, что же? Вот — вот здесь, вот сюда! — Она показывает рукой на свою шею.

Нож звенит на пол. Тогда она поднимается, мраморно, медленно. Тень от нее растет все огромней, переламывается на стене — в купол — еще выше. Она смотрит издалека, сверху, на застывшие в последнем взмахе машины, на неподвижные, когда-то убившие друг друга тела, на это, тоненькое, неподвижно уткнувшееся лицом в колени — оно уже сливается с другими,

с тысячами других, чуть темнея на зеленоватом ледяном небе.

Она подходит к мальчику, приподнимает его голову, целует еще теплый рот, голова у него опять падает на колени. И подходит к другому, к мужчине: у него дрожат скулы, ноздри, верхняя губа с чуть заметной ложбинкой, он — человек. Так же подняла бы его голову и поцеловала бы эти — еще пока живые и теплые — губы, но только проводит рукою по его лицу. И теперь скорее, скорее — чтобы хватило сил кончить… Если б не быть человеком — если б не знать жалости к человеку!

Открыта дверь в последний зал. Две пристальных, диких луны, положивших морды на пол. Какой-то огромный с делениями круг на полу. Да, это произойдет здесь.

Она вступает в круг. Секунду стоит неподвижно, мраморная, как судьба; теперь нагнулась, и сейчас — …

Луна — земная, наша, горькая — потому что одна в небе, всегда одна, и некому, не с кем: только через невесомые воздушные льды, через тысячи тысяч верст тянуться к таким же одиноким на земле и слушать длинные песьи вои.

Таля — в палисаднике, одна, никого. Сейчас

под луной почти черны железные листья сирени; ветви сирени согнулись от тяжести цветов: цвести — тяжело, и самое главное — цвести. Таля сгибается — лицом в холодные цветы, лицо у ней мокрое, и мокрая сирень в росе. Там — еще ниже, на железном, чуть согнутом и связанном паутиною листке — окукленное, мертвое тельце Rhopalocera. От этого неподвижного тельца, как от крошечного камня в воде, быстрые, дрожащие круги бегут все шире, все огромней; глаза у Тали стоят, открытые настежь, как двери в доме, где мертвый, и она в первый раз ясно, вся, видит: другое тоже неподвижное тело, согнутые пальцы — один желтый от папиросного дыма. И это немыслимо, невероятно — и что-то надо, что-то надо скорее, больше нельзя стоять так и слушать длинные песьи вои.

В избе. Хозяйка, взгромоздившись на табурет, зажигает перед образом лампадку, ее поднятые вверх руки — в красном вспыхивают, потухают. Самый простой избяной запах — печеного хлеба, но от этого… от этого…

— Тимофевна, милая, я не могу… ну вот — как же, ну как же? Вот завтра — трава и солнце, и все кругом возьмут хлеб и будут есть — а он? а он?

— Что ж, дитенок, живы-здоровы будем — все,

Бог даст, помрем. И ты помрешь — ты что же думаешь? А час раньше, час позже — все едино.

Но, может быть, прав Куковеров, одно и то же — минута и год, и иногда час — это вся жизнь. Белая, в вздрагивающем красном свете видна Таля на лавке; глаза стоят все так же — широко распахнутые настежь; руки между колен. Минута, час, год.

Встает, быстро, в лихорадке — перед зеркалом. Тяжелые, согнутые тяжестью цветов ресницы и тень. Вытереть лицо чем-нибудь мокрым — полотенцем, чтобы не видно было следов; теперь пальто…

— Да ты что — ай спятила? Да тебя на улице сейчас зацапают — и поминай как звали!

— А может, я и хочу — чтоб сцапали?

Белая под луною пыль. Над забором — черная, острая ветка в небе. От наваленной камнями тишины воют собаки. Знакомое крылечко: столбики с перехватом, на ступенях часовой, винтовка между колен, сидит так же, как вчера сидел тот, келбуйский, — и, может быть, он дремлет? Таля делает еще один шаг.

Часовой вскочил, глаза разинуты, как рот — орет ртом, вытаращенными глазами:

— Куды, куды прешь? Кэ-эк вот чучкну по баш-

ке прикладом, так… Приказа не знаешь — дома сидеть?

Но в руках у нее ничего нет, чуть пригнула голову, загородилась пустыми руками. Рябое под глиняным картузом лицо — разглаживается, затихло. Не спуская глаз — а вдруг… мало ли что? — часовой стучит в окошко, темным крестом вырезан переплет рамы в красном свете, и, должно быть, там сейчас…

Выходит на крыльцо другой в глиняной рубахе — тысячный, муравей, винтовка. Часовой говорит ему:

— Вот что: постой пока тут, а я эту — к начальству представлю.

Собаки, луна, пыль. С выгона — полынный, горький ветер, сохнут губы.

— Эх, кобели-то развылись… Скучают… Ты… тебя как зовут-то?

— Наталья.

— Во-от, черт! У меня жена — Наталья, ну, скажжи ты, пожалуйста! Эй, эй, под ноги-то гляди: корова наложила — ножки измажешь… Тут у них коровищи — ух! Тут за фунт гвоздей… Места — вообще! Ты что же — соль, что ли, сюда привезла менять или материю?

— Нет, я тут приехала ребят учить — в учи-

лище.

— Господи! Так ты ему — прямо: так и так, ребят, мол, учу. Ничего не будет, право слово. Ты — не бойсь, хоть он и…

— Я не боюсь.

И вот дверь открыта, дыхание — стиснутое, сквозь какую-то тончайшую щелочку между зубов. В раме — в колеблющемся круге свечи — навсегда это лицо, заряженные глаза, острия скул и губы: нет губ, нет розовой полосы — нет и не будет никогда слов.

Молча, глазами. Потом вдруг у него разрез рта — не там, а гораздо выше, и верхняя губа очень короткая. Слова:

— Приказ знали?

— Знала.

— Так зачем же?

— Чтоб меня привели к вам.

Свеча, нагорая, трещит, от скул — тени. На столе, на бумагах — револьвер, и два дула — глаза.

— Оружие есть?

Дыхание — сквозь тончайшую щель; стиснутое: «Нет». Он встает из-за стола, на свечке огонь колеблется; минуту — молча. Потом привычно, легко он проводит руками по ее телу, чуть сжимая здесь, на бедрах, — где может быть в складках

оружие… Тале кажется, что рука у него вздрагивает — или это ее дрожь? — у ней сухие губы, и игла сквозь все на один миг: «*Это*? С ним?» И отвечает себе: «Да, и это, и всё — только бы…»

Не поднимая ресниц, согнутых тяжестью цветов, — спотыкаясь, облизывая сухие губы:

— Я — не то… вы напрасно. Я — потому, что у вас… Я знаю: вы хотите его завтра утром…

— Кого — его?

— Куковерова. Я — я не могу, чтобы он… И я вам — все, всю себя — что хотите! — я буду вам всю жизнь… Я его люблю, понимаете?

Тишина. Свеча, нагорая, трещит. Теперь на лице у него ясно виден разрез губ, верхняя, очень короткая, и в ней легкая дрожь — может быть, тени от свечки.

— Я его — тоже люблю.

Громадные — настежь глаза у Тали:

— Вы?

— Да, я. Мы с ним год сидели вместе в тюрьме. Вдвоем жили. Это не забывается.

— Так, значит, вы… вы его не…

— Завтра я его расстреляю. Не я — ну, это все равно.

Задыхаясь в нагаре, качается свеча, пол, стены. Тале надо опереться руками о стол, нагнуться

ниже глазами в глаза, глаза у нее — крылатые, настежь.

Дорда встает — крепко, весь в кобуре; берет револьвер со стола, с бумаг.

— Я сейчас иду к нему. Вы будете ждать меня здесь.

И еще раз его голос — издали, из-за дверей, часовому:

— Останешься тут с ней, пока я не вернусь.

Тишина. Фитиль — черным крючком, как ястребиный клюв. Сверху — потолок, тысячепудовый, и дальше — небо, пустыни, льды, темная звезда.

Оцепеневшие в последнем взмахе машины и люди, и немые толпы книг, и века — с неслышным, оглушительным ревом: все это, чтобы в конце выбросить сюда, на голый берег, троих последних людей на звезде.

Голый, пустой зал — только огромный, с какими-то делениями, круг на полу и, пока еще неподвижная, черная стрелка. Это — просто, в этом нет ничего, и все-таки — как зверь, дрожа, чует черную дырочку дула — так и они.

Они двое — сюда лицом. Свет лун — снизу и сзади, их лица в тени, на зеленоватом, застывшем небе вырезаны два темных профиля: мужчина — исподлобья, прижатый к груди подбородок,

узлы мускулов пониже плеча; и молодая женщина — острия ресниц, губы, только что сказавшие что-то и еще не закрытые.

Теперь та, старшая, кто тысячу кругов назад была Мать, нагнулась. На стрелке — ее рука, мраморная, и мрамор от руки поднимается все выше, и кажется — никогда не сдвинуть с места руки. Брови, зубы, всю себя — еще крепче! — чтобы хрустнуло! Движение; стрелка начинает медленно, со скрипом ползти по кругу.

Это — просто, в этом нет ничего. Я, мужчина, знаю. Прижмись ко мне, чтоб твое плечо… не бойся, только не надо туда смотреть. Стрелка ползет со скрипом, вот над какой-то цифрой — да, здесь… Остановилась. Это — все.

Она, Мать, — стоит, прямая, высокая. По лицу у ней — облака вихрем — обо всем сразу: о мертвом уже мальчике, о них, о себе, о тысячелетиях, об этой — последней — секунде и о том, что произойдет сейчас.

Натягиваясь все больше, тончайший секундный волосок обрывается, где-то внизу огромный, круглый гул. Все вздрагивает; нелепо подпрыгнув и в последний раз сверкнув — проваливаются две луны; в соседнем зале — цепной лязг и звон сорвавшихся машин; сквозь грохот — крик; и

— внезапная тьма, ночь на темной звезде.

Дорда смотрит в широко, сине раскрытые ему глаза, смотрит, как шевелятся у Куковерова губы, смотрит на его палец — сбоку, около ногтя, желтый, прокуренный табаком. Это — человек, живой человек. И вот знать, именно *знать*, что завтра — …

Так: будто бы если Дорда только чуть двинется, вот только карандашом по бумаге, то это случится не завтра, а сейчас, здесь — потому что Куковеров из тончайшего, как папиросная бумага, стекла. И Дорда неподвижен — статуя из темного, кожаного, блестящего металла.

— Дай папиросу… — трудный, сквозь сухие губы голос Куковерова.

С папиросой он нагибается над стеклом жестяной лампочки (спичек нет) — красный язык в стекле вспрыгивает вверх, коптит.

— А помнишь, Дорда, как мы с тобой в камере без табаку сидели? Одна папироса — и я хотел, чтобы ты взял, а ты — чтобы я, а потом прибили ее гвоздиком на стене — как память… как…

На платформе — уже пробил третий звонок, и надо скорее — скорее еще о чем-то и еще о чем-то — обрывки. Куковеров курит жадно, на папиросе растет седой, чуть курчавый пепел, в голове у

него стрелки кружатся сумасшедше.

— А это: мы с тобой — у окна на табурете, небо — и что-то… Да: трамвайные звонки — и это нам казалось, как… как… А сейчас — ты и я… смешно! Я все думал… Вот кружка с водой жестяная — вот, видишь, тут грязь вверху под рубчиком? Понимаешь — вот я смотрел на нее и думал: она завтра будет совершенно такая же… Там, может быть, — совершеннейшая пустота, пустыня, ничего — и, понимаешь, думаю: вдруг увидеть *там* вот эту самую кружку и вот тут на ней грязь — может быть, это такая невероятная радость — такая… Или увидеть: ползет червяк — больше ничего: червяк.

Дорда сидит, крепко подперев голову, рта у него нет, карандашом чертит на бумаге крест — еще больше — не хватает места, надо снять с бумаги револьвер. Но едва касается револьвера — вдруг какая-то мысль. Слышит: раз! два! три! — как часы в бессонницу — сердце. Да, это будет, пожалуй, самое…

Встал; медленно — к окну; остановился. И спиною — вот где-то тут, между лопатками, хочется даже потрогать это место, там сейчас чуть покалывает — спиною Дорда ясно видит: Куковеров взял оставленный на столе револьвер, теперь

поднял. Сквозь окно — небо, пустыни, льды, огромная, синяя звезда, ниже — из крыш чугунной стеной растет туча. Неизвестно почему — на мгновенье: мать на пороге, руку козырьком к глазам… Дорда ждет минуту, еще минуту.

И — ничего. Быстро оборачивается, там Куковеров, нагнувшись над лампой, закуривает новую папиросу. Револьвер лежит на столе, как лежал. В тени, под острой скулой у Дорды вздрагивает какой-то червяк. Дорда идет к столу, берет с бумаги револьвер, на лице — внезапно прорезаны красные губы, но не там, а гораздо выше, верхняя губа очень короткая. И слова:

— Ты — идиот, интеллигент! Я тебе это всегда говорил.

— Помню… — улыбка; пепел — седой, чуть курчавый — скоро осыпется, упадет.

— Я бы взял и выстрелил. Это уж будь покоен. Завтра в тебя выстрелю — не я, ну, это все равно.

— Завтра — да. А сейчас ты…

— Довольно, не мели ерунду! Ты, может быть, воображаешь, что я тебе это нарочно положил? Идиот!

— Ладно. А я, может быть, тебе за эту одну минуту… Слушай: неужели ты не понимаешь, что самое главное…

Сумасшедше кружатся лопнувшие часы, час — секунда. Нет людей, и потому двое — люди, и как после третьего звонка — надо скорее — еще о чем-то и еще о чем-то. На щербатом столе белые трупики папирос, курчавый пепел. У Куковерова морщины возле висков складываются веером, улыбаясь; глаза блестят.

— А знаешь, Дорда? Мне тебя жалко — ну, просто вот… Это, может быть, только сейчас — может быть, завтра я…

Вдруг — это простое, их обоих, завтра: еще не видное, оно где-то катится сейчас огромной световой волной — все ближе. В тени, под острой скулой у Дорды мечется какой-то червяк. Оба молчат, это кажется очень долго. Потом Дорда говорит тихо, глядя вниз, на карандаш:

— Ко мне приходила твоя… не знаю кто. Говорила разную… ну, что тебя любит и там — не помню еще что. Не важно. Я, собственно, поэтому.

Дорда смотрит на крест — на бумаге карандашом — и слышит дыхание Куковерова, медленное, тугое, будто весь воздух для него сразу затвердел кусками. Куковеров молчит.

— Ну? Чего же ты молчишь? Ч-черт!

Дорда вскакивает — к окну; там звезды уже нет, все небо — тучи, чугун. Опять — к столу, где

молчит Куковеров.

— Это, может быть, глупо и нельзя — но все равно: вот хочешь — она придет сюда, к тебе? Я скажу конвойному. Ну? Хочешь?

Воздух — колючими кусками, слов нет. На лице у Куковерова улыбка, облака — светлые и темные: о том, что это — как день или как… — и что невозможно, нестерпимо. И все-таки кивок головой, чуть заметный: да, хочу.

И когда Дорда встает, чтобы уйти, — голос Куковерова, с трудом протиснутый сквозь зубы:

— Оставь мне папирос — у меня нет ни одной. Спасибо. Вообще…

Однажды, давно — последняя папироса была прибита гвоздем на стене. Так было.

… От Дорды, от Куковерова, от людей, от Земли — железной громыхающей занавесью туч еще закрыто завтра — и закрыта мертвая, вдруг вздрогнувшая звезда. Там — все черное, ночь. Эта ночь — минута, вот уже проступает небо. Но оно не из зеленого льда, какое было над звездою вчера, позавчера: оно — вспыхивает красным — как девушка, которая в первый раз увидела, почувствовала — щеки у ней все горячее, и сердце, жужжа кровью, мчится навстречу — чтобы сгореть, сжечь.

Еще одно какое-то деление, волосок, и вместо двух лун, прижавшись носом к стеклу, медленно, огромно поднимается небывалая луна: красное, косматое, рябое, жестокое, веселое, равнодушное, любопытное лицо. Прозрачной кровью багровеют стены, красная полоса на груди у младшей женщины — это похоже на трещину в чаше — и красные рубцы у мужчины на плече.

Ноздри у него дрожат — как у зверя, который чует еще далекий, неясный запах и, ощетинившись, пятится. Не сводя глаз с новой страшной луны, он ступает шаг назад, еще шаг — заслонился ладонью. Вдруг стрелой к двери — скорее отсюда, чтобы не видеть, чтобы…

Но уже нет двери, она завалена снаружи кусками расколотых стен — глыбы, груды, горы стеклянного льда в красных искрах, назад нельзя, только — вперед. Куда?

Я одна — я, Мать, живу тысячу кругов — я одна знаю куда. Я слышу, как со свистом, в сто раз быстрее, мы мчимся навстречу Земле, кружась, — и ради этого все, ради этого обречены мною эти двое последних, мужчина и женщина: они еще живы, еще люди.

И я — человек. Если б не быть человеком, если б… Но вслух нельзя, и я знаю: я сейчас улыбнусь

ему — вот я улыбнулась.

Обеими руками он крепко держит свою бушующую голову, глаза круглы — как у ребенка, как у зверя. Тихо он говорит ей, Матери:

— Что ты сделала? Что это — там, красное?

— Это — Земля. Я повернула к Земле — чтобы мы… Нет, нет, слушай: там, на Земле, — воздух, там — люди, мужчины и женщины, и они все дышат целый день, целую ночь — сколько хотят, и там уже не надо убивать, и там…

Губы у него шевелятся — повторяет за ней слова, как молитву, — на верхней губе у него чуть заметная теплая ложбинка. И уже знать, видеть, как вздернется эта губа в оскаленной последней улыбке, как его зубы…

Вслух:

— И ты… ты будешь дышать — днем, ночью, всегда, сколько хочешь!

Мужчина закрывает глаза — невозможно поверить сразу, сердце стучит; и тотчас открывает, чтобы поверить — чтобы протянуть руки к косматой, прекрасной, страшной Земле — чтобы закричать ей навстречу, как на заре зверь, — чтобы в пьяной радости схватить ту, другую женщину, сжать ее грубо, жестоко, нежно.

Кружась и дрожа, Земля ждет, чтобы ее пронзи-

ли до темных недр — чтобы вырвались нетерпеливые бурлящие багровые лавы — чтобы сгореть, сжечь. Дрожа, она закутывает наготу в тучи, льет дождь, обжигающий, как слезы, — о том, чтобы это скорее, чтобы это — никогда: это ослепительно, это больно.

С крыши — капли о каменный подоконник, и во всем мире двое — Куковеров и Таля — слушают каждую каплю. Лампочка, деревянный стол, на столе — трупики папирос, согнутые тяжестью цветения ресницы опущены вниз — на Куковерова, он на полу, лицом в теплую долину между Талиных колен, где недавно метался червь Rhopalocera… И в тишине — капли; от капли до капли — века.

Куковеров поднимает лицо, закрытые глаза, улыбку:

— Капли — вы слышите? До чего огромна кажется капля — или, может быть, не то, но вы понимаете? Я знаю: я их буду слышать всегда — всю свою…

Он хотел сказать: «всю свою жизнь» — и споткнулся. Улыбка белеет, он стоит на коленях молча, потирает лоб вот здесь, над правою бровью, — один палец на руке желтый от табаку.

Внутри, в Тале, как живой ребенок, поворачива-

ется сердце с такой болью, что хочется крикнуть и всю себя — что-то, самое невозможное, самое трудное — только, чтобы ему этот час или два…

Куковеров сине, удивленно открывает глаза — потому что вдруг слышит ее смех.

— Слушайте — ну до чего же я глупая! Ведь я же забыла вам самое главное… Я сейчас с ним говорила — с Дордой, он говорит, что завтра… что вообще вас не… Я не помню… я торопилась — он сказал, что вас перевезут в город — он устроит, чтобы…

Глаза у Куковерова — круглые, как у ребенка, — все синее, все шире.

— Но… но он мне — совсем другое — только что… Мы с ним здесь…

— Нет, нет! Потому что я просила, может быть… Я не знаю — он сказал, я же вам говорю!

Папиросу. Спичек нет — красный язык в лампе дрожит и вытягивается вверх. В голове у Куковерова, жужжа, сумасшедше несется, как в часах с лопнувшей пружинкой; выскочившие из клетки слова — друг через друга:

— Да, да, ведь мы когда-то с Дордой вместе… Ему это очень… Вот это вот его папиросы — понимаете? И если… И потом мы бы с вами куда-нибудь… Это очень просто: фамилию можно… Смешно —

откуда это? Фамилия была — Пупынин, Пантелей — понимаете? И человек подал прошение, чтобы переменить на «Робеспьер» — Пантелей Робеспьер! Именно, именно: Пантелей Робеспьер!

Тале нужно засмеяться вместе с Куковеровым, потому что если она не засмеется… Одна пустая, страшная, без дыхания секунда, потом смех — кусками, комьями — совершенно сухими, тотчас же рассыпающимися в пыль. Куковеров — опять что-то такое об этом — как они вместе с ней будут… Будут? И больше уже нет сил, Таля кричит:

— Замолчите! Не надо! Я не могу!

Тишина. Капли о камень. Куковеров на коленях, его голова у Тали в руках — вот так, обеими руками, крепко сжать эту голову и не дыша смотреть, еще, еще — чтобы запомнить его на всю жизнь.



В Куковерове навеки — до завтра — отпечатываются чуть холодные, как сирень в сумерках, девичьи губы. И когда он потом целует сквозь шелк, Таля, кружась и дрожа — дрожат и холодеют руки, — всю себя, что-то самое немыслимое — быстро расстегивает платье, вынимает левую

грудь — так вынула бы ее для ребенка — дает Куковерову:

— Вот… хочешь так?

Капли — за тысячу верст. Горячей щекой, губами — Куковеров слышит всю ее — и ее спутанные, соскочившие слова:

— Когда он обыскивал меня — мне показалось… Я подумала, что я могла бы и это — да, могла! Я хочу, чтобы ты — ты… Я хочу, чтобы ты оставил во мне себя, чтобы… Нет-нет-нет, это совсем не потому, что я думаю, что завтра… нет! Я же говорю: он сказал мне — я же говорю! Но разве нужно, чтобы всю жизнь вместе есть и ходить гулять? Ведь самое главное, чтобы…

Капли о камень, огромные в тишине. И огромно, легко, как Земля, — Куковеров вдруг понимает все. И понимает: да, так, это нужно; и понимает: смерти нет.

Идет к двери, прислушивается, накидывает крючок. Запоминается навеки — до завтра: под крючком на дереве полукруг — это прочертил крючок, качаясь часы, годы, века. И еще: окно уже побледнело, черный крест рамы, тучи, какой-то громадный, далекий, круглый гул все ближе.

Сквозь миллионоверстные воздушные льды, кружась все неистовей, со свистом мчится звез-

да — чтобы сгореть, сжечь — все ближе. И там — трое последних. Освещенные новым, красным, последним светом — они, не считая, жадно пьют оставшийся воздух, пьянеют, дышат так, как здесь, на звезде, дышали люди давно — тысячи кругов назад. О, один раз в жизни — не думая, без счету — телом, ртом, грудью!

Мужчина и женщина обнялись тесно: двое — одно. И та, старшая, Мать — над ними, над всем. В красное зарево неба врезан ее профиль, брови и губы крепко сжаты, она мраморна, как судьба, чуть согнуты под какой-то тяжестью плечи, стоит, ждет. И вот — пол под ногами вздымается, как живое тело, залитые красным, прорезываются трещины в тысячелетних стенах, звон стеклянных брызг — …

Тишина. В пустынях острые зубчатые тени опрокинутых скал. Зажженные алыми искрами ледяные глыбы стекла, под ними — как сквозь лед на дне — темные груды машин, книг, тел, три мгновенно замерзших, тесно друг к другу, трупа.

В тишине — капли о камень, от капли до капли — века, секунды. В какую-то назначенную секунду — вдруг рушатся тучи вниз, на ослепительно белом — переплет рамы черным крестом, молнии — столбами, сверху — камни, грохот, огонь.

Из ворочающихся, как медведи, встающих на дыбы изб — выскакивают келбуйские, орловские, и все бегут куда-то, падают в горячие трещины. Земля раскрывает свои недра все шире — еще — всю себя — чтобы зачать, чтобы в багровом свете — новые, огненные существа, и потом в белом теплом тумане еще новые, цветоподобные, только тонким стеблем привязанные к новой Земле, а когда созреют эти человечьи цветы — …

1923